

Том 33, № 1 2021

Социология ВЛАСТИ

Капитализм в XXI веке



SOCIOLOGY OF POWER

[Sociologiâ vlasti]

Vol. 33. N^o 1 (2021)

CAPITALISM IN THE 21ST CENTURY

PUBLISHER: THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Социология ВЛАСТИ

Издается с 1989 года
Выходит четыре раза в год

Том 33 № 1 2021

Редколлегия журнала:

К.соц.н. Вахштайн В. С. (*главный редактор*), к.соц.н. Смолькин А. А. (*зам. главного редактора*), к.соц.н. Эпштейн В. А. (*зам. главного редактора*), Напреенко И. В. (*научный редактор*), Степанцов П. М. (*научный редактор*), Кловайт Н. (*редактор англоязычных материалов*)

Научный совет:

Анкерсмит Ф. Р. (Нидерланды)
Мау В. А. (РАНХиГС, Москва)
Михель Д. В. (СГТУ, Саратов)
Моррис Дж. (Орхусский университет, Дания)
Сафронов П. А. (НИУ ВШЭ, Москва)
Соколов М. М. (Европейский Университет, СПб)
Сперо Э. (Массачусетский технологический институт, США)
Столярова О. Е. (ИФ РАН, Москва)
Титков А. С. (РАНХиГС, Москва)
Утехин И. В. (Европейский Университет, СПб)
Филиппов А. Ф. (НИУ ВШЭ, Москва)
Фруммин И. Д. (НИУ ВШЭ, Москва)
Хиггс П. (Университетский Колледж Лондона, Великобритания)
Чалаков И. (Университет Пловдива, Болгария)
Шеховцов А. (Университет Вены, Австрия)

Дизайн Трушина Е. В.
Корректурa Архипова Н. Л.
Верстка Меерсон А. В.

Адрес редакции:

119545, г. Москва, пр. Вернадского, 84, корпус 9, комн. 2503
<http://socofpower.ranepa.ru>
soc.of.power@gmail.com

Отпечатано в типографии ИД «Дело»

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77 — 47715 от 23.09.2011

Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий
ВАК России

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования
и экспертного отбора

ISSN 2074-0492

СОЦИОЛОГИЯ
ВЛАСТИ
ТОМ 33
№ 1 (2021)

ABOUT THE JOURNAL

Sociology of Power [Sociologiâ vlasti]

Vol. 33. #1, 2021

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Published since 1989

Quarterly edition

Editorial board:

Vakhshtayn V. S. (editor-in-chief), Smol'kin A. A. (deputy editor-in-chief), Epshtein V. A. (deputy editor-in-chief), Napreenko I. V. (scientific editor), Stepan'tsov P. M. (scientific editor), Klowait N. (editor of the English content)

Academic board:

Ankersmit F. R. (Netherlands)
Higgs P. (University College London, UK)
Filippov A. F. (NRU — HSE, Moscow, Russia)
Frumin I. D. (NRU — HSE, Moscow, Russia)
Mau V. A. (RANEPA, Moscow, Russia)
Mikhel D. V. (SSTU, Saratov, Russia)
Morris J. (Aarhus University, Denmark)
Safronov P. A. (NRU — HSE, Moscow, Russia)
Shekhovtsov A. (University of Vienna, Austria)
Sokolov M. M. (EU, St. Petersburg, Russia)
Spero E. (MIT, USA)
Stolyarova O. E. (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
Tchalakov I. (University of Plovdiv, Bulgaria)
Titkov A. S. (RANEPA, Moscow, Russia)
Utekhin I. V. (EU, St. Petersburg, Russia)

Design Trushina E. V.

Proofreading Arkhipova N. L.

Layout Meyerson A. V.

Editorial address:

119 545, Moscow, pr. Vernadskogo, 84
building 9, office 2503

<http://socofpower.ranepa.ru>

soc.of.power@gmail.com

Printed at "Delo" printing house

Содержание

Слово редактора-составителя

АЛЕКСАНДР В. ПАВЛОВ. Проблема легитимации капитализма
в XXI веке

6

Статьи. Теория и исследования

- 11 ДМИТРИЙ А. МАЗОРЕНКО. Своевременность позднего капитализма: почему постмодернизм остается главным языком описания нашей эпохи?
- 39 АЛЕКСАНДР В. ПАВЛОВ. Что нового в новом капитализме?
- 64 JEFFREY T. NEALON. Biopolitics, Marxism and Piketty's Capital in the Twenty-First Century
- 84 ФЕДОР В. НИКОЛАИ, ИГОРЬ И. КОБЫЛИН. «Выиграть время», или темпоральные (за)стенки неолиберального капитализма
- 103 ВАДИМ Г. КВАЧЕВ. Тайна формы самой по себе: возвращение проблемы стоимости
- 125 ДМИТРИЙ М. ЖИХАРЕВИЧ. Элементы прагматической теории капитализма
- 169 АЛИНА Ю. КОНТАРЕВА. Платформы как рынки, архитектуры, экосистемы: обзор основных подходов к изучению интернет-компаний
- 193 JEREMY MORRIS. From Prefix Capitalism to Neoliberal Economism: Russia as a Laboratory in Capitalist Realism

Обзоры и рецензии

- 222 ВАСИЛИСА В. ШПОТЬ. Коммуникативный капитализм Джоди Дин: эволюция одной социальной теории
- 240 АРТЕМ В. МОРОЗОВ. Пробовали перезагрузить? Рецензия на книгу: Срничек Н., Уильямс А. (2019) Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда, М.: Strelka Press
- 251 ЭДУАРД Е. САФРОНОВ. (Не) Наши цифровые товары. Рецензия на книгу: Перзановски А., Шульц Д. (2019) Конец владения: личная собственность в цифровой эпохе. пер. с англ. Е. Лебедевой, М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС

Table of Contents

Contributing Editor's Foreword

-
- 6 ALEXANDER VL. PAVLOV. The Problem of Legitimizing Capitalism in the 21st Century

Articles. Theory & Investigations

-
- 11 DMITRIY A. MAZORENKO. Just-in-time Late Capitalism: Why Does Postmodernism Still Remain a Sociocultural Dominant of Our Time?
-
- 39 ALEXANDER VL. PAVLOV. What is New in New Capitalism?
-
- 64 JEFFREY T. NEALON. Biopolitics, Marxism and Piketty's *Capital in the Twenty-First Century*
-
- 84 FEODOR V. NIKOLAI, IGOR I. KOBYLIN. "Buying Time" or the Temporal Walls of Neoliberal Capitalism
-
- 103 VADIM G. KVACHEV. Mystery of the Form Itself: the Return of the Value Problem
-
- 125 DMITRII M. ZHIKHAREVICH. Elements of a Pragmatic Theory of Capitalism
-
- 169 ALINA YU. KONTAREVA. Platforms as Markets, Architectures, and Ecosystems: A Review of the Dominant Approaches in the Platform Literature
-
- 193 JEREMY MORRIS. From Prefix Capitalism to Neoliberal Economism: Russia as a Laboratory in Capitalist Realism

Reviews

-
- 222 VASILISA V. SHPOT. Jody Dean's Communicative Capitalism: The Evolution of a Social Theory
-
- 240 ARTEM V. MOROZOV. Have you tried restarting? Book Review: Snichek N., Williams A. (2019) *Inventing the Future. Post-capitalism and a world without labor*, Moscow: Strelka Press
-
- 251 EDUARD E. SAFRONOV. (Not) Our digital products. Book Review: Perzanowski A., Schultz J. (2019) *The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy*, Moscow: Delo.

Слово редактора-составителя

АЛЕКСАНДР В. ПАВЛОВ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт философии РАН, Москва, Россия

ORCID: 0000-0001-5449-1050

Проблема легитимации капитализма в XXI веке

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-6-11

6

Классические концепции социальной теории перестали адекватно объяснять то, что называется «капитализмом» в XXI столетии. Проблема заключается не только в том, что некоторые теории могли устареть, и потому появилась потребность в новых, но и в том, что сам капитализм меняется, и аналитикам требуется заново объяснять или же изобличать механизмы его работы. Экономический социолог Вольфганг Штрик [2019: 52] не так давно заметил: «Капитализм не является естественным состоянием, как хотелось бы постулировать в экономической теории и идеологии. Он представляет собой обусловленный временем, нуждающийся в институционализации и легитимации общественный строй: его конкретные формы меняются в зависимости от времени и места и в принципе в любой момент могут стать предметом новых переговоров и подвергнуться риску разрушения». Кажется, сегодня мы находимся на том этапе теоретической дискуссии, когда относи-

Павлов Александр Владимирович — доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт философии РАН, Москва, Россия. Научные интересы: социальная теория, марксизм, исследования культуры. E-mail: apavlov@hse.ru
Alexander V. Pavlov — DSc in Philosophy, Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, Higher School of Economics; Leading Researcher, RAS Institute of Philosophy, Moscow, Russia. Research interests: social theory, Marxism, cultural studies. E-mail: apavlov@hse.ru

тельно описания капитализма ведутся «новые переговоры». Что мы можем сказать об этих переговорах?

Одна из самых обсуждаемых концепций последнего времени — «надзорный капитализм» Шошаны Зубофф [Zuboff 2019] — активизировала в числе прочего дискуссии о том, как капитализм функционирует в цифровом пространстве¹. Иногда ее аргументы звучат вполне убедительно, если бы не одно но: существует множество других концепций «цифрового капитализма» (если использовать данный термин как «зонтичный» [Афанасов 2020: 117]). Например, вычислительный капитализм, капитализм больших данных, коммуникативный капитализм, платформенный капитализм и т.д. В итоге мы имеем целый универсум социальных и социально-экономических теорий, вступающих друг с другом в неявный диалог, а иногда и в открытую полемику. Что в этой ситуации нам делать как исследователям? Выбрать одну концепцию, учитывать их все, не выбирать ни одной? Зачем вообще столько терминов, казалось бы, описывающих одно и то же явление?

Если все это новые виды капитализма или хотя бы один, но все-таки новый, то куда девались прежние капитализмы? Поздний капитализм (Эрнест Мандель и все его последователи), технокapитализм (Дуглас Келлнер), клевый капитализм (Джим МакГиган), культурный капитализм (Джереми Рифкин) и т.д.? Это не говоря уже о собственно финансовом капитализме. Иными словами, получается, что капитализм как бы один, а все эти концепции лишь объясняют его отдельные стороны или являются ярлыками для обозначения нового этапа развития капитализма? Если капитализм един и всего лишь находится на очередном этапе развития, то когда капитализм вообще начинается? Если это неверно, то когда начинается *новый* капитализм? С цифровизацией? Некоторые полагают, что это так, но насколько убедительны аргументы в пользу этой позиции? К сожалению, на эти вопросы, как и на все предыдущие, нет ответа: не существует ни одной концепции капитализма, которая удовлетворяла хотя бы большинство исследователей, равно как и определения капитализма вообще.

Про капитализм пишут не только и даже не столько экономисты. Некоторые авторы пишут про капитализм в контексте истории политической мысли. Про капитализм пишут журналисты, философы, исторические социологи, социологи-практики, социальные психологи, культурологи и т.д. И даже когда речь идет про капитализм в рамках одной научной дисциплины, никакого единства во мнении хотя бы о масштабе явления у ученых нет. Все это по-

1 На русском критический анализ концепции см. [Сафронов 2021].

звolyет предполагать, что такой вещи, как капитализм, нет. То есть капитализм не существует в нескольких отношениях. Во-первых, поскольку мы имеем слово, у которого множество значений, то, вероятно, это слово в конечном счете не значит ничего. Во-вторых, мало кто будет спорить, что это обобщающее понятие. Его регулярно используют для описания национальной модели экономики, эпохи или меняющейся тенденции в обществе и т.д. Иногда, используя этот обобщающий термин, ученые добавляют к слову «капитализм» какую-нибудь приставку, чтобы создать добавленную стоимость к слову, которое имеет слишком много смыслов. В-третьих, кажется, многие ученые согласились, что общие понятия социальной науки не всегда отображают объективную реальность, но работают лишь в качестве репрезентации или языка описания этой реальности. То есть они не «естественные», но являются конструктом, как и многие другие обобщающие слова.

8

Поскольку с помощью слова «капитализм» (а не «капитал») уже более ста лет на разные лады объясняют стремительно меняющийся мир, в котором мы живем, кажется, что этим словом обозначают наличествующее положение вещей или же общественный строй, нуждающийся в институционализации и легитимации. Вместе с тем социолог Фрэнк Уэбстер, отмечая, что такие обобщающие понятия, как капитализм, постмодернизм или информационное общество, обычно мало что значат и часто даже мешают, тем не менее сказал: «И все же, несмотря на необходимые поправки, мало кто из нас согласится полностью отказаться от этих и подобных понятий. Причина очевидна: да, они слишком общи, нуждаются в уточнениях, ведут к заблуждениям, но при всем том они служат инструментом для определения и понимания основных элементов мира, в котором мы живем и формируемся как личности. Стремление осмыслить основные черты различных обществ и событий, видимо, неизбежно подталкивает нас к тому, чтобы принять эти обобщающие понятия» [2004: 6]. Слово «капитализм» помогает нам — в критическом ключе или нет — рассуждать о мире, в котором мы живем.

Показательный момент: одной из главных интриг рассматриваемой в номере темы является то, что исследователи так и не могут понять, что же такое сегодня капитализм. Он принимает новые формы, прорастает через все новые явления, что и иллюстрирует упомянутый спор о терминах. Детальному раскрытию этого сюжета посвящено начало номера. Дмитрий Мазоренко описывает множество концепций капитализма, показывая, что постмодернизм, с помощью которого рассуждали о позднем капитализме в 1980-х, остается главным языком описания нашей эпохи. Автор использует термин «своевременный поздний капитализм», отсылая читателей к концепции философа Джеффри Нилона о постпостмодернизме как

культурной логике своевременного капитализма. Для нас большая честь, что Джеффри Нилон представил для настоящего номера оригинальную статью, в которой дополняет теорию Томаса Пикетти о капитале в XXI столетии «фукольдианскими» концептами Антонио Негри. Как и Дмитрий Мазоренко, в своей статье я обращаюсь к дискуссиям в социальной теории конца 1980-х годов, чтобы показать начало концептуальных изменений в описании работы капитализма. Я прихожу к выводу, что сегодняшние многочисленные концепции актуального капитализма в эвристическом плане уступают концепциям капитала конца 1980-х годов, в частности, тезису Дэвида Харви о «гибком накоплении».

Федор Николаи и Игорь Кобылин предлагают неожиданный взгляд на соотношение понятий «неолиберализм» и «государство всеобщего благосостояния». С их точки зрения, эти понятия не противостоят друг другу, но, сосуществуя, являются двумя «режимами» в темпоральной и функциональной плоскостях актуального капитализма. Вадим Квачев возвращает в дискуссии о капитализме вопрос о стоимости, превращая его в потенциальный инструмент критики современного капитализма.

Дмитрий Жихаревич осуществляет обзор историко-социологической и экономико-социологической литературы, посвященной капитализму. Обсуждая расхождения между прагматическим (исторически обусловленный набор практик) и доминирующим в социологии атрибутивным (как совокупность институтов) подходами в понимании капитализма, Жихаревич показывает преимущества прагматического подхода. Конечно, исследователи не могли обойти вниманием цифровой капитализм. Алина Контарева описывает принципы работы интернет-платформ, выделяя три исследовательских подхода: подход стратегического управления, экономический подход и инженерно-технологический подход. Джереми Моррис на обширном эмпирическом материале описывает Россию как «лабораторию «капиталистического реализма»», опираясь на концепцию Марка Фишера.

В разделе «Обзоры и рецензии» Василиса Шпоть исследует эволюцию концепции коммуникативного капитализма философа и левой активистки Джоди Дин, отмечая, что ее работы со временем становятся менее аналитическими и все более активистскими. Артем Морозов философски препарировывает концепцию посткапитализма Ника Срничека и Алекса Уильямса. Можно сказать, что это приквел к теперь уже его диалогии, посвященной критике социальной теории Ника Срничека. Эдуард Сафронов рассуждает о книге Д. Шульца и А. Перзановски «Конец владения: личная собственность в цифровой эпохе», не так давно вышедшей на русском языке и раскрывающей нам новые горизонты правовых аспектов цифровизации.

Библиография / References

Афанасов Н.Б. (2020) Российский цивилизационный проект перед лицом цифрового капитализма. *Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность»*, 5 (2): 116-123.

— Afanasov N.B. (2020) Russian Civilizational Project Facing Digital Capitalism. *Omsk Scientific Bulletin. Series Society. History. Modernity*, 5 (2): 116-123. — in Russ.

Морозов А.В. (2019) Навигация по акселерационизму: от некапитализма к посткапитализму через платформы (рецензия на книгу: Срничек Н. Капитализм платформ). *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 1 (2): 226-242.

— Morozov A.V. (2019) Navigating Accelerationism: From Non-capitalism to Postcapitalism via Platforms. *Galactica Media: Journal of Media Studies*. (Book Review: Srnicek N. Platform Capitalism), 1 (2): 226-242. — in Russ.

Сафронов Э.Е. (2021) Трансформации капитализма в XXI веке: концепция «надзорного капитализма» Шошаны Зубофф. *Социологические исследования*, 4: 165-172.

— Safronov E.E. (2021) Capitalism Transformations in the 21st Century: The Concept of “Surveillance Capitalism” by Shoshana Zuboff. *Sociological research*, 4: 165-172. — in Russ.

10 Уэбстер Ф. (2004) *Теории информационного общества*, М.: Аспект Пресс.

— Webster F. (2004) *Theories of the Information Society*, Moscow: Aspect Press. — in Russ.

Штрик В. (2019) *Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма. Цикл лекций в рамках Франкфуртских чтений памяти Адорно*, М.: ИД ВШЭ.

— Streeck W. (2019) *Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism*, N.Y.: Public Affairs.

Рекомендация для цитирования:

Павлов А.В. (2021) Проблема легитимации капитализма в XXI веке. *Социология власти*, 33 (1): 6-11.

For citations:

Pavlov A.V. (2021) The Problem of Legitimizing Capitalism in the 21st Century. *Sociology of Power*, 33 (1): 6-11.

Поступило в редакцию: 29.03.2021; принято в печать: 30.03.2021

Received: 29.03.2021; Accepted for publication: 30.03.2021

Статьи. Теория и исследования

ДМИТРИЙ А. МАЗОРЕНКО

Независимый исследователь, Алматы, Казахстан

ORCID: 0000-0001-5129-6014

Своевременность позднего капитализма: почему постмодернизм остается главным языком описания нашей эпохи?

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-11-38

11

Резюме:

В статье предпринята попытка восстановить позиции темпоральной концепции постмодернизма, описывающей нашу эпоху как капиталистическую. В конце XX столетия постмодернизм (в версии философа Фредрика Джеймисона) был не только ведущим языком описания социокультурной ситуации «вечного настоящего», но также и состояния «позднего капитализма» (Эрнест Мандель), характеризующего нашу эру с социально-экономической точки зрения. Однако в начале 2000-х годов социальные теоретики и философы стали заявлять об исчерпаниии эвристического потенциала постмодерна как теории, объясняющей наше время. Вместе с тем под сомнение была поставлена практика осмысления современности через оптику капитализма, поскольку она ограничена только экономическими коннотациями. Но часть ученых продолжила делать капитализм ядром своих исследований современности. В результате появилось множество альтернативных постмодерну социальных теорий капитализма: глобализация, гипермодернизм, коммуникативный капитализм, метамодернизм, посткапитализм, надзорный капитализм, клевый капитализм, капиталоцен и многие другие. Автор подвергает сомнению утрату объяснительной силы постмодерна. В пользу актуальности постмодерна говорит как возврат Джеймисона к этой темпоральной категории, так и неспособность со-

Мазоренко Дмитрий Алексеевич — независимый исследователь, Алматы, Казахстан. Научные интересы: социальная теория, культурные исследования, политическая теория. E-mail: d.mazorenko@gmail.com

циальных теоретиков капитализма сойти с теоретического фундамента Джеймисона. Что касается альтернативных способов дескрипции капитализма, то они, скорее, подтверждают релевантность разработки Джеймисона, чем противопоставляют себя ей. Среди рассмотренных автором современных подходов к темпорализации капитализма есть только две концепции, которые говорят о вступлении этой общественной формации в четвертую фазу. Но одна из них — «капиталоцен» — фиксирует приближение новой стадии развития, тогда как другая — «метамодернизм» — не может аргументировать, с чем связан очередной сдвиг. Это позволяет утверждать, что постмодернизм/поздний капитализм остается операциональной теоретической рамкой для анализа нынешнего капитализма и современности как таковой. А новые темпоральные схемы капитализма лишь расширяют и усиливают его категориальный аппарат.

Ключевые слова: социальная теория, темпоральность капитализма, поздний капитализм, постмодерн, капитализм после постмодерна, социальные теории капитализма

Dmitriy A. Mazorenko¹

Independent researcher, Almaty, Kazakhstan

12

Just-in-time Late Capitalism: Why Does Postmodernism Still Remain a Sociocultural Dominant of Our Time?

Abstract:

The article attempts to recover the position of the temporal concept of postmodernism that describes our epoch as capitalist. At the end of the 20th century, postmodernism (in Fredric Jameson's interpretation) was not only the leading way to comprehend the social and cultural tendencies of the 'eternal present', but also a condition of 'late capitalism' (as per Ernest Mandel), characterizing our era from the socio-economical standpoint. However, at the beginning of the new millennium, philosophers and social theorists started to assert the exhaustion of postmodernism's heuristic potential as a theory meant to describe our time. Along with that, doubt was cast on all the attempts to understand modernity through the lens of capitalism. However, there was a group of scientists who continued to treat capitalism as a core aspect of modernity. As a result, many other social theories of capitalism, the alternative to postmodernism, have emerged: globalization, hypermodernism, communicative capitalism, metamodernism, postcapitalism, supervisory capitalism, cool capitalism, the capitalocene, and many more. The following analysis challenges the assertion that postmodernism has lost its explicative capacities. There are two pieces of evidence for the applicability of postmodernism. The first is that Jameson

¹ Dmitriy A. Mazorenko — independent researcher. He focuses on social theory, cultural studies, and political theory. Almaty, Kazakhstan. E-mail: d.mazorenko@gmail.com

himself turned back to elaborating this temporal category, and the second is that other social theoreticians couldn't overcome Jameson's theoretical basis. All these opposite temporal perspectives on capitalism, as we found it, enhance the relevance of postmodernism, rather than refute this concept. Among all the contemporary approaches to the temporalization of capitalism covered by the author, there are only two concepts that speak of this social formation entering the fourth phase. But capitalocene — being one of them — supposes that the fourth stage has not yet begun, while metamodernism has nothing to suggest regarding the reasons for the epochal shift. This allows us to declare that postmodernism/late capitalism is still a viable scheme for the temporal comprehension of the state of current capitalism and modernity per se, while the new temporal schemes of capitalism are only expanding and reinforcing the terminological apparatus of postmodernism/late capitalism

Keywords: social theory, temporality of capitalism, late capitalism, postmodernism, capitalism after postmodernism, social theories of capitalism

Введение

К концу XX века многие социальные теоретики перестали считать капитализм доминантной силой общественных преобразований [Павлов 2018]. Социолог Йоран Терборн [2021: 173] критиковал сведение анализа современности к истории капитализма за то, что она не позволяет выявить все разнообразие семантических сдвигов и, в частности, уловить динамику культуры. По этой причине Терборн примкнул к числу теоретиков, которые работают с темпоральной категорией современности/модерна, не ограничивающейся экономическими коннотациями. В качестве альтернативы социальным теориям капитализма Ульрих Бек [2004] предложил концепцию «другого модерна», Зигмунт Бауман [2008] — проект «текучей современности», Джеффри Александер [2013] — идею «неомодернизма» и т.д.

В свою очередь ученые, продолжившие представлять нашу эпоху как капиталистическую, сформулировали концепции «постмодернизма как культурной логики позднего капитализма» [Джеймисон 2019], «дезорганизованного капитализма» [Lash, Urry 1987], «гибкого накопления капитала» [Harvey 1989] и т.п. Эти объяснительные матрицы как раз фиксировали слияние экономики и культуры, начавшееся в 1970-х годах, которое привело к коммодификации всех сфер социальной жизни. Симбиоз двух измерений создал иной образ повседневности: он категорически отличался от бытового уклада модерна с характерными для него государственным регулированием экономики, социально ориентированной политикой и интенсивным научно-техническим прогрессом. Наблюдая за процессами глобализации, информатизации и перестройки сферы производ-

ства, опосредованными феноменами культуры, ученые обобщили свои наблюдения в идее «постмодерна». Чаще всего к этому понятию апеллируют ведущие исследователи социокультурных тенденций капитализма того периода.

Первенство в содержательном наполнении термина «постмодерн» историк Перри Андерсон [2011: 86] присудил философу Фредрику Джеймисону, продолжившему анализ позднего капитализма, некогда начатый экономистом Эрнестом Манделем. По мнению Андерсона, именно Джеймисону удалось создать наиболее адекватный слепок эпохи, соединив в нем все значимые социально-политические, культурные и экономические тенденции настоящего. Однако к началу XXI столетия исследователи стали заявлять об исчерпании потенциала постмодерна как социальной теории капитализма [Hutcheon 2002: 165, 166; McNale 2015: 175, 176]. Термин оказался не в силах ухватить те перемены, которые происходят в нашем мире под действием глобализации и цифровых технологий [Hutcheon 2007: 16-18]. Это утверждение подкреплялось тем, что после каждого крупного исторического события — распада СССР, теракта 11 сентября 2001 г. и мирового финансового кризиса 2008 г. — ученые говорили о вероятном начале следующей, четвертой реконфигурации капитализма [Flisfeder 2017: 158].

14

С началом второго тысячелетия в социальной теории стали появляться новые концепции, из которых могут быть выведены актуальные темпорализации капитализма: глобализация [Хардт, Негри 2004; Арриги 2006]; гипермодернизм [Lipovetsky 2005]; коммуникативный капитализм [Dean 2005]; капитализм катастроф [Кляйн 2007]; клевый капитализм [McGuigan 2009]; капиталистический реализм [Фишер 2010]; постпостмодернизм [Nealon 2012]; капитализм 24/7 [Cragg 2013], акселерационизм [Срничек, Уильямс 2018]; посткапитализм [Мейсон 2015]; метамодернизм [Вермюлен, ван ден Аккер, Гиббонс 2020], капиталоцен [Моог 2016]; надзорный капитализм [Zuboff 2019]; контркультурная логика неолиберализма [Hancock 2019] и множество других.

Разумно предположить, что каждая из этих описательных категорий состоит в определенных отношениях с постмодернизмом Джеймисона, т.е. отвергает или подтверждает его релевантность. Однако исследования темпоральных режимов капитализма пока не оформились в полноценное социально-теоретическое направление. Это затрудняет наше понимание важности разработки Джеймисона и ее значения как для периодизации капитализма, так и для изучения современности через капиталистическую оптику. Более того, тематическое разветвление исследований капитализма подталкивает нас к выводу, что он уже не может восприниматься как целостный феномен.

Сегодня мы располагаем достаточным материалом, чтобы считать капитализм целостной и все еще продуктивной основой для объяснения нашей эпохи. Вместе с тем этот материал позволяет отследить, насколько правомерными оказались доводы ряда теоретиков о наступлении четвертой стадии капитализма. Для решения обеих задач необходимо разобраться с тем, насколько темпоральная рамка Джеймисона позволяет схватить структурные черты актуального капитализма. Статья не нацелена на то, чтобы проблематизировать стадийный подход философа к анализу капитализма и выдвинуть аргументы в его пользу. Я также не буду разбирать в ней концептуализации первых двух стадий развития капитализма, созданные Джеймисоном и другими авторами. Вместо этого мы попытаемся прояснить, почему современное общество и хозяйственную систему по-прежнему стоит описывать с помощью концепции позднего капитализма, как его понимает Джеймисон, и почему актуальные социальные теории капитализма не предлагают новой парадигмы, а повышают точность интерпретативной схемы философа.

Вслед за философом Александром Павловым [2019], который ранее проделал схожую работу в контексте проблематики социокультурной темпоральности, я собираюсь доказать, что часть недавно появившихся социальных теорий капитализма сохранила методологическую и понятийную связь с темпоральным проектом Джеймисона. Это позволяет утверждать, что новые теории не преодолевают постмодерн, т.е. не предлагают принципиально новых способов рефлексии нашей капиталистической эпохи. И потому я намечу то, каким образом новые концептуализации капитализма могут быть интегрированы в расширенную версию постмодернизма.

Термин «темпоральность» в этом тексте будет означать эпоху. Чтобы обосновать свою позицию, я, во-первых, покажу, что дает нам право говорить о капитализме как об эпохе. Наряду с этим я пунктирно обозначу ранние попытки темпорализации капитализма, чтобы представить темпоральный анализ как целостную и последовательную стратегию, а также обозначить отправные теоретические пункты для постмодернизма Джеймисона. Во-вторых, я раскрою главные черты позднего капитализма Джеймисона и уточню, как именно философ модифицировал это понятие после Мандела. Следом я поясню, почему темпоральная рамка Джеймисона содержала наиболее валидную дескрипцию капитализма и современности в сравнении с самыми известными подходами своего времени, а также укажу на ее фундаментальный изъян. В-третьих, мне потребуется объяснить, почему с провозглашением конца постмодерна Джеймисон не бросил этот темпоральный проект, хотя и занялся разработкой теории глобализации. Это поможет нам проложить путь к концепциям, напрямую продол-

жающим исследование Джеймисона. В-четвертых, я обращусь к темпоральным схемам, которые, на первый взгляд, противопоставляют себя позднему капитализму в интерпретации Джеймисона. Но реконструкция их опорных идей поможет нам удостовериться в том, что они не выявляют признаков новой эпохи, а воспроизводят и усиливают положения Джеймисона, адаптируя их к сегодняшнему дню.

Перед нами не стоит задача охватить все социальные теории капитализма. Нам важно показать, что большинство из них вписывается в логику постмодерна, образуя единый подход к анализу нашей эпохи как капиталистической, а также достраивает терминологическую и фактологическую сетку позднего капитализма. Тем самым мы сможем получить целостный и более точный подход к изучению нашего исторического состояния. По этой причине объяснительные матрицы капитализма будут отобраны исходя из принципа всеохватности самого Джеймисона, т.е. внимания к как можно большему числу граней общественной жизни или же фокусировки на каком-либо уникальном срезе повседневности. Темпоральным фундаментом станет для нас усовершенствованная Джеймисоном триадичная схема капитализма, отражающая три поворота в его становлении: рыночный, монопольный и мультинациональный.

16

Начало темпоральных исследований капитализма

Что позволяет нам воспринимать капитализм как эпоху? Социолог Иммануил Валлерстайн [2006: 85] утверждал, что с наступлением модерна в XVI в. капитализм начал играть основополагающую роль в нашей «миросистеме», задавая тон всем последующим социальным трансформациям. Именно с ним ученый связывает появление всех основных социокультурных черт настоящего: от разделения планеты на ядро, полупериферию и периферию из-за вывода промышленных производств за рубеж, до универсалистских ценностей вроде равенства и свободы, вскоре потесненных гендерными, расовыми и этническими антагонизмами. Солидаризуясь с установкой о господстве капиталистических отношений над жизнью общества, Джеймисон считает оправданным мыслить капитализм в качестве самой современности [Jameson 2002: 13]. Это так, поскольку изменение способа производства реорганизует не только повседневность, но и культуру, ставшую субстратом жизненного мира людей [Джеймисон 2019: 138].

Как и многие другие теоретики, социолог Энтони Гидденс [2011: 122] возводит истоки аналитической стратегии, в которой капитализм является основной преобразующей силой современности, к трудам Маркса. В «Капитале», написанном в 1867 г., философ еще

не употребляет термин «капитализм», но стремится изучить общество своего времени через экономическое измерение. Только так, по его мнению, можно вывести структуру, механизмы функционирования и метаморфозы социальной жизни [Арон 1993: 152]. Одну из наиболее полных и конвенциональных дескрипций первой фазы капитализма мы можем найти в книгах историка Эрика Хобсбаума [1999]. В них ученый акцентирует внимание на энергии пара, угля и железа, которая при посредстве машин массового производства и мер по либерализации экономики заложила фундамент наблюдаемой нами социальной действительности.

За пределами исследований Маркса тем не менее осталась динамика последующего развития капитализма и его социокультурных импликаций. Отслеживать дальнейшие повороты в становлении капитализма взялись последователи философа. В конце XIX в. капитализм вступил во вторую, империалистическую фазу развития. Владимир Ленин [1969] охарактеризовал ее как эру финансового капитала, когда на смену промышленным трестам в качестве главных агентов западного капитализма пришли банки, подчинившие себе крупные доли других национальных экономик.

Разветвление финансовой системы по всему земному шару как раз и создало контуры интересующего нас позднего капитализма. Впервые этот термин упоминается в исследованиях социолога Вернера Зомбарта. Но несмотря на то что ученый задействует категорию позднего капитализма в своем подходе к периодизации эпох, он не вкладывает в нее конкретных характеристик. Зомбарт использует это понятие как составную часть «хозяйственной эпохи» — темпоральной категории, фиксирующей осуществление того или иного способа производства в истории. Поздним в ней обозначается тот промежуток времени, при котором возникающий способ производства начинает постепенно вытеснять устоявшийся [Зомбарт 2005: 85, 86].

Социологической же категорией поздний капитализм становится в трудах левого мыслителя Теодора Адорно. С помощью нее философ пытался запечатлеть олицетворявшие его время феномены экономической концентрации и политической централизации, которые сопровождалась гомогенизацией сознания людей при помощи различных технологий [Adorno 1968]. Поздний капитализм казался Адорно адекватным способом выражения исторической ситуации, когда иррациональный настрой общества ставил крест на любых стараниях осмыслить его через аппарат классической политэкономии, равно как и любой другой рационализирующей оптики. Иначе говоря, свою версию позднего капитализма философ полностью отделил от ранних марксистских стремлений темпорализовать эту общественную формацию.

С отходом от политэкономии был не согласен экономист Эрнест Мандель [Mandel 1976]. Свою версию позднего капитализма он считал дополнением к изысканиям Маркса и Ленина. Манделя смущало лишь то, что Маркс пытался описать капитализм своего времени с точки зрения самого капитала, рассматривая феномены конкуренции, наемного труда и собственности. Тогда как сам экономист считал необходимым раскрыть его через борьбу между капиталом и трудом, оценку роли буржуазного государства и его идеологии, а также фиксацию структуры мировой торговли и преобладающих форм генерации прибыли [Ibid.: 9]. Что касается Ленина, то Мандель исходил из его предпосылки о том, что империализм является периодом интенсивного разложения капиталистического способа производства.

18 Новым для третьей фазы капитализма в интерпретации Манделя, начавшейся с окончанием Второй мировой войны, было лишь расширение поля конкуренции действующих империй. К тому моменту противостоять друг другу стали уже три режима: американский, японский и западноевропейский, которые серьезно упрочили свои монополии. Но уже это показалось Манделю достаточным, чтобы констатировать интенсификацию капитализма, выделив ее особым термином. Ядром же позднего капитализма стало сочетание инновационных средств производства с выпуском товаров широкого потребления, усовершенствование которых ускорилось благодаря включению исследовательских и опытно-конструкторских подразделений в структуру промышленных концернов. Однако вместо того чтобы ускорить развитие технологий и переориентировать их на освобождение людей, поздний капитализм — при активной помощи государства — превратил их в инструменты разрушения путем постоянного наращивания вооружений, обострения проблемы голода в колониях, нарушения климатического равновесия и загрязнения окружающей среды. Наряду с этим он породил новые угрозы физической безопасности, обещая массам хроническую безработицу и всевозможные виды обнищания [Ibid. : 214, 215].

Постмодерн как доминирующий способ темпорализации капитализма

Вопреки стремлению Манделя всесторонне охватить капитализм за пределами его внимания осталась культура. Разбирая идеологию позднего капитализма, ученый сузил ее лишь до технократической риторики решения общественных проблем. Но дело в том, что во второй половине XX в. повседневность начинали все глубже пронизывать символические структуры информации и речи.

Из-за этого сфера производства уже не могла восприниматься как что-то независимое от культуры. Отталкиваясь от этой проблемы, философ Фредрик Джеймисон [2019] взялся дорабатывать темпоральный проект Мандела, встроив его в свою концепцию постмодернизма.

Прежде чем перейти к сравнительному анализу различных социальных теорий капитализма, необходимо суммировать то, как Джеймисон понимает «поздний капитализм». Это важно сделать прежде всего потому, что концепция Джеймисона все еще не так хорошо известна в российской академии [Павлов 2019: 11-16]. Но и не только поэтому: несмотря на прочную сцепку постмодернизма с капитализмом, задачу раскрытия экономической грани своего нарратива Джеймисон почти полностью делегировал труду Мандела, взяв лишь небольшие фрагменты наблюдений из его книги. В результате мы не можем увидеть объемной картины всех взаимовлияний культуры и экономики.

Итак, главный тезис философа состоял в том, что усложнение сферы товарного производства сделало культуру полноценным экономическим продуктом. В то же время сами товары, благодаря различным маркетинговым практикам, приобрели эстетическое выражение — их функциональность отошла на задний план. Этот симбиоз запустил процесс коммодификации социальной жизни, наделив каждый ее элемент товарно-эстетическими свойствами. Он же положил конец и разграничению культуры на высокую и низкую, в результате чего та утратила автономию от рыночных отношений, начав измерять свою ценность сугубо экономическими показателями. В сочетании с технологиями взаимодействие культуры и экономики породило феномен потребления самого процесса потребления. Ярче всего он проявляется в наслаждении от самой возможности использования компьютера и телевизора — главных медиумов постмодерна.

Движущей силой этих изменений Джеймисон назвал поздний капитализм, что позволило ему отождествить этот термин с постмодерном. Философ фиксирует начало третьей, мультинациональной стадии капитализма на рубеже 1973-1975-х годов, хотя — как мы уже поняли из анализа Мандела — ее первые очертания проявились в послевоенные годы. Ключевыми событиями новой эпохи Джеймисон определил усиление транснациональных корпораций и международного разделения труда, что расширило поле деятельности финансового сектора и позволило корпоративным гигантам начать резкий демонтаж системы социальных гарантий (как государственных, так и трудовых). Все это сочеталось с активными процессами автоматизации, компьютеризации и изобретением новых медийных форм, что в совокупности разрушило относи-

тельно безмятежную повседневность западных стран, резко перестроив интенсивность бизнес-циклов, модальность деловых отношений и баланс сил в международной политике [Джеймисон 2019: 75, 76].

С падением индустриального порядка и многих социальных табу стали исчезать привычные типы идентичности — человек постмодерна оказался децентрирован. Он уже не обладал целостной субъективностью, а был вынужден иметь множество ипостасей: гендерную, политическую, потребительскую и ряд других. Большей целостностью обладала только страта яппи — специалистов расцветающей индустрии услуг, особенно ее финансовых и маркетинговых сегментов. Именно они, запуская специфические продукты, создавали новые типы идентичностей для масс. Потребление, ставшее основой их жизнедеятельности, отвлекло их от борьбы за лучшее существование и остановило ход самой истории. Прерывание последней привело к ностальгической стилизации всех новых предметов культуры под старые, что Джеймисон выразил в понятиях «вечного настоящего» и «пастиша». Жизнь людей в период постмодерна стала судорожной и хаотичной, подверженной внезапным перепадам настроения и чем-то напоминающей «шизофреническую расщепленность».

20

Как пишет историк Перри Андерсон, тезис Джеймисона о смыкании экономики и культуры помог преодолеть эпистемический разрыв на базис и надстройку, артикулированный теоретиками Франкфуртской школы. Кроме того, у философа получилось свести воедино эстетические, экономические и антропологические наработки прошлых поколений марксистов. Прежде левые не задумывались о том, чтобы составить из своих идей целостную рамку темпорального анализа, которая бы позволила охватить капитализм со всех сторон. Они сопротивлялись и тому, чтобы изучать эту общественную формацию через популярные и массовые тенденции, а не рассказывать о ней с отстраненной идеалистической позиции. Исходя из этого Андерсон признает Джеймисона не только центральным теоретиком постмодерна, но и автором наиболее удачной темпоральной проекции современного капитализма.

От Манделя философ полностью перенял структуру периодизации (разве что присвоив всем этапам собственные названия — рыночного, монопольного, мультинационального) и программный тезис своей концепции. Согласно ему, каждый поворот капитализма предопределялся технологической революцией, перекраивающей все области социальной действительности. Однако Джеймисон не ушел дальше беглого перечисления актуальных экономических процессов. А какие-то и вовсе проигнорировал,

например то, как ускорилось время оборота основного капитала и изменился способ организации труда. Без надежного экономического компонента Джеймисон фактически совершает ошибку своих предшественников, ограничивая анализ капитализма культурным измерением.

Восполнить недостающий компонент можно с помощью исследования социального теоретика Дэвида Харви [Harvey 1989]. До некоторой степени Харви продолжает проект Джеймисона, но не соглашается с его «прорисовкой» того, как пространственные категории капитала берут верх над временными. Для самого Харви этот феномен вызван переходом от фордистского способа производства к гибкому режиму накопления капитала. Последний как раз и задал направление всем последующим социокультурным преобразованиям. Сделав ставку на глобализацию и технологические инновации в связке с новыми системами менеджмента, транснациональные корпорации и финансовые конгломераты получили возможность облегчить «скелет» производств, рабочих процедур и рынков труда. Перевод промышленных предприятий за рубеж и появление опции доставки точно в срок не только радикально сократили производственные расходы, но и перекроили пространственно-временной порядок планеты. Эти процессы увеличили скорость обращения капитала и сократили период актуальности различных продуктов, особенно культурных.

21

По мнению Андерсона, наблюдения Харви плохо работают в рамках самостоятельной концепции, получившей название постфордизм. Историк был солидарен с замечаниями теоретика марксизма Алекса Каллиникоса [Callinicos 1990], которого смущала гиперболизация или откровенные фантазии Харви на тему резко возросшей сегментации рабочей силы и доминирования сектора услуг в структуре западных экономик. Эти явления находились в зачаточном состоянии, на что и намекал Джеймисон в своем схематическом анализе экономики. Главным же свидетельством смены эпохи, по мнению Андерсона [2011: 103], является политическое поражение левых, обернувшееся дисквалификацией модели социального государства. Оно как раз и стало основным рефреном постмодернизма Джеймисона. На этом основании мы можем приобщить выводы Харви к проекту Джеймисона.

Вслед за Джеймисоном свой анализ дезорганизованного капитализма предложили социальные теоретики Скотт Лэш и Джон Урри [Lash, Urry 1987]. Но культура оказалась в их концепции вторичной. Ученые видели ее выражение лишь в экономических практиках и образе жизни социальных групп — яппи и прекариата, что говорит, скорее, о социологическом характере их исследования, а не социокультурном, каким оно было у Джей-

мисона. Впрочем, относительное преимущество проекта Лэша и Урри заключалось в том, что они вывели типологию национальных видов капитализма в противовес Джеймисону, считавшему такое разделение ошибочным в силу американизации всего мира. Выпустив спустя семь лет книгу «Экономики знаков и пространства», Лэш и Урри [Lash, Urry 1994] несколько модифицировали свой подход, связав причину наступления эпохи гибкой специализации и постфордизма главным образом с информационной экономикой. Но вместе с тем они стали ориентироваться на установку Джеймисона о слиянии культуры и экономики [Ibid.: 64]. Назвав эту тенденцию постмодернизацией, Лэш и Урри констатировали, что основополагающим моментом повседневности стали операции создания и поглощения культурных продуктов, чья природа оказывается двоякой. С одной стороны, производство и консюмеризм подпитывают в людях эстетическую рефлексивность, но с другой — обостряют процесс индивидуации, делая каждого члена общества нормализованным атомом нишевого потребления. Все это тоже совпало с посылами Джеймисона, лишив теоретическое построение Лэша и Урри уникальности.

22

Вместе с Урри и Лэшем конкуренцию постмодернизму Джеймисона мог бы составить социолог Даниел Белл [Bell 1973], сформулировавший термин «постиндустриализм». Но на его несостоятельность указал еще Мандель [Mandel 1976: 191], отметив, что на момент утверждения этого понятия ведущие западные экономики только завершили программу индустриализации. Более того, социолог Джеффри Александер [2013: 560], отследив эволюционную динамику идей Белла, пришел к выводу об очень скором попадании постиндустриализма в концептуальные сети постмодерна. Решение проблемы саморазрушения западного общества, обострившейся с новым витком развития капитализма, виделось Беллу [Bell 1976] в возвращении к сакральному, что говорило о ностальгии по прошлому — одном из краеугольных признаков постсовременности для Джеймисона. Так постмодерн философа окончательно занял место лидирующего языка описания нынешней капиталистической эпохи.

Однако на заре нового тысячелетия исследователи стали оспаривать статус постмодерна как главной социальной теории капитализма, решив по итогу направить усилия на разработку других объяснительных матриц. Эффектный некролог ему составила литературовед Линда Хатчеон [Hutcheon 2002]. Она подчеркнула не только ограниченность политической и эстетической критики постмодерна, но и несовершенство его представлений о капитализме. Если последний, как полагает Хатчеон [Ibid.: 6-11; 109-111],

является для нас не более чем репрезентацией текущего состояния общества, т.е. социальным конструктом, допускающим пересборку, то тезис Джеймисона о невозможности вообразить конец капитализма оказывается безосновательным. В другой своей статье Хатчеон подчеркнула неспособность постмодерна в полной мере ухватить те изменения, которые проделывают с нашей планетой глобализация и информационные технологии. Она предположила, что эти переменные могут серьезно перестроить концептуальную рамку, с помощью которой мы объясняем социокультурные трансформации последнего времени [Hutcheon 2007: 16-18]. Поэтому ученая пригласила исследователей заняться поиском теоретического языка для описания новой эпохи, пришедшей на смену постмодерну.

Продолжая постмодерн: концепции-преемники Джеймисона

Джеймисон, как могло показаться, вскоре и сам отказался от своей темпоральной конструкции в пользу теории глобализации, о чем свидетельствовало название сборника его эссе о постмодерне «Культурный поворот» [Jameson 1998]. К началу 2000-х годов передовым способом описания капитализма успела стать теория глобализации. На тот момент ей удавалось запечатлеть охватившие планету разнонаправленные тенденции политической стагнации и технологического прогресса [Терборн 2011: 83], о нехватке которых применительно к постмодерну говорила Хатчеон. Однако Джеймисон и сам не остался в стороне от попыток теоретизировать глобализацию. Философ представил свой взгляд на этот феномен в статьях «Заметки о глобализации как философской проблеме» [Jameson 1998] и «Глобализация и политическая стратегия» [Jameson 2000]. Однако его тематический сдвиг не подразумевал разрыва с постмодерном: глобализация изначально имела крепкое родство с этим темпоральным режимом, и вместе они составляли целостный набросок в «когнитивной карте» современного капитализма [Wegner 2006: 268]. На это по меньшей мере указывает центральный тезис Джеймисона о соединении культуры и экономики, который в случае глобализации покрывает глазурию коммерции уже не только экспортные потоки, но и представителей других культур, редуцируя их до управляющих ресторанами национальной кухни.

Доказательством комплементарности постмодерна и глобализации может служить труд философов Майкла Хардта и Антонио Негри «Империя» [2004]. В нем было зафиксировано разрушение системы национального суверенитета, что способствовало утвер-

ждению децентрированного миропорядка, о зарождении которого Джеймисон рассуждал в своих статьях о глобализации. Большое значение в книге уделялось и информатизации экономики, случившейся благодаря широкому распространению компьютеров и коммуникационных сетей, на что в свою очередь Джеймисон намекал в статьях о постмодерне, но так и не решился подробно развить. Вдобавок ко всему в центр своей концепции Хардт и Негри поместили идеи коммодификации культуры, ностальгии, «вечного настоящего» и ряд других. Все это свидетельствовало о сохраняющейся актуальности постмодерна.

Выступая с лекцией в 2012 г., Джеймисон [Jameson 2012] и сам признал постмодерн все еще действующим теоретическим построением. Он предложил различать понятия постмодернизм (postmodernism) и постмодерн/постсовременность (postmodern/postmodernity), первое из которых обозначает эпоху, а второе — ее описательная категория. Следом Джеймисон заявил, что постмодерн все еще адекватно отображает свойства позднего капитализма, потому как с формально-исторической точки зрения социальная и экономическая обстановка остается прежней — изменилась лишь ее культурная симптоматика. Но это не совсем так. Уже Хардт и Негри показали, что часть устоявшихся трендов все же выпадает из поля зрения постмодерна, например, встраивание компьютерных технологий и информационных компонентов в экономические процессы. Да и сам культурный анализ требовал свежих интуиций.

24

Восполнить эти пробелы вызвались последователи Джеймисона. В силу ограничений, которые накладывает формат статьи, мы не можем уделить должное внимание концепциям всех социальных теоретиков, продолжающих траекторию постмодерна. Поэтому выделим из их числа несколько наиболее известных: клевый капитализм Джима Макгигана [McGuigan 2009], капиталистический реализм Марка Фишера [Фишер 2010], постпостмодернизм Джеффри Нилона [Nealon 2012], капитализм 24/7 Джонатана Крари [Staley 2013] и акселерационизм/посткапитализм Алекса Уильямса и Ника Срничека [2019]. И хотя некоторые из этих ученых изначально пытались вывести собственные темпоральные проекции капитализма, все они по итогу лишь упрочили здание постмодерна, заметно расширив область его применения.

Интенция Макгигана и Крари, к примеру, заключалась в том, чтобы не искать замену постмодерну, а добавить мощности его объяснительному арсеналу. Макгиган, сохраняя структуру периодизации Джеймисона, но несколько переиначивая ее детали, углубил понимание товарного фетишизма и коммодификации культуры, изменившихся под давлением англосаксонской контркультуры

и парадигмы технологических компаний. Тогда как Крари, целиком перенявший установки позднего капитализма, взялся объяснять то, как глобальный капитал манипулирует технологиями внимания и слежки, чтобы вынудить людей отказаться от сна — единственной зоны автономии, где они могут укрыться от круглосуточно функционирующей экономики.

Несколько противопоставить свою теоретическую схему постмодерну решили Фишер, Нилон и Срничек с Уильямсом. Первые двое поддерживали исходные положения Джеймисона, но подчеркивали, что к моменту написания их работ капитализм достиг апогея в своей эволюции, что ставит их перед необходимостью усилить критическую тональность постмодерна. Фишер преподнес свой капиталистический реализм как утвердившуюся бизнес-онтологию, поглотившую все сферы социальной действительности. Согласно культурологу, он лишил человечество альтернативного будущего, приговорив его к непреодолимым экологическим, психологическим и бюрократическим катастрофам.

В противовес этому Нилон настаивал на продолжающейся интенсификации позднего капитализма, из-за чего он оказывается уже своевременным капитализмом (*just-in-time capitalism*) и характеризуется ускорением процессов дерегулирования мировой финансовой системы и укрепления антисоциальной политики государства.

25

Загвоздка, однако, состоит в том, что и капиталистический реализм Фишера, и постпостмодернизм Нилона не могут избавиться от нависшей над ними тени постмодерна [Павлов 2019: 482; 495, 496]. Их концепции включают в себя все те же формальные черты: принцип множественности, политику идентичности, коммодификацию искусства модерна, проблематику вечного настоящего и ностальгии. Но вместо того чтобы переосмыслить их, теоретики всего-навсего примеряют их к сегодняшнему дню.

Несколько иначе дело обстоит у Срничека с Уильямсом [2018], которые в своих работах призывают превратить разрушительную инфраструктуру позднего капитализма в трамплин для прыжка в будущее всеобщего процветания. Начав составлять его когнитивную карту в книге «Изобретая будущее: посткапитализм и мир без труда» [Уильямс, Срничек 2019], они выявляют несколько структурных проблем капитализма, грозящих миру массовой безработицей. А далее предлагают оппонировать сложившемуся неолиберальному порядку с помощью позитивного темпорального построения, воздвигнутого на идеях нового универсализма и всеобщей эмансипации через ускорение технологического развития. Уже это наводит на мысль, что Срничек и Уильямс во многом лишь воспроизводят теоретические ходы Манделя

и Джеймисона. Но вскоре Срничек [2019] берется самостоятельно изучать феномен цифровой экономики в книге «Капитализм платформ», упущенный постмодернизмом. Ученый распознает в социальных платформах ведущего агента капитала, подчиняющего своим целям все другие сектора экономики. Следом он делает вывод о капиталистической природе этих формирований, что позволяет ему отвергнуть спекуляции относительно наступления четвертой стадии капитализма, которыми злоупотребляют экономисты и теоретики либерального толка. Тем самым исследователь еще раз подчеркивает своевременность периодизации Манделя и Джеймисона, предлагая воспринимать свой анализ как ее часть.

Темпоральность капитализма после постмодерна

26

Рассмотренные выше языки описания капитализма, как мы установили, представили новые векторы, эмпирический материал и понятийную сетку для постмодерна, существенно усилив его объяснительный потенциал. Но среди теоретиков темпоральности капитализма было немало тех, кто стремился — явно или неявно — отклониться от курса Джеймисона. Прямую заявку на это сделали авторы концепций постпостмодернизма, откликнувшиеся на призыв литературоведа Линды Хатчеон сконструировать новый взгляд на нынешнее состояние общества и культуры. Отправной точкой для них, как и в случае с постмодерном Джеймисона, была трехступенчатая периодизация. Теоретики постпостмодерна в той или иной степени признавали ее состоятельность, но стремились преодолеть в ней постмодернистское звено, прописанное Джеймисоном. При этом большая часть авторов постпостмодернистских проектов не придала особого значения капитализму. Этого недостатка постарались избежать только разработчики гипермодернизма и метамодернизма.

Социальный философ Жиль Липовецкий [Lipovetsky 2005] предложил называть состояние сегодняшнего капитализма гипермодернизмом. Для этой альтернативы постмодерну характерны интенсификация либеральной экономики, культ консюмеризма и индивидуализма, жажда постоянного культурного обновления, а также трансформация пространственно-временного опыта, вызванная появлением мгновенных средств коммуникации. В более поздних работах Липовецкий [Lipovetsky 2018] дополняет свою рамку культурным измерением, заводя разговор о творческом капитализме, когда повседневность вступает в симбиотические отношения с искусством и бизнес-логикой. Но тем самым Липовецкий лишь повторяет ходы Джеймисона, в том числе проговаривая его из-

вестный тезис об исчезновении границы между высокой и низкой культурой. Окончательное же сходство двух концепций становится очевидным благодаря использованию Липовецким идеей ностальгии и вечного настоящего в качестве опорных для своего проекта. Тогда как наиболее перспективный аспект гипермодернизма — тезис о темпоральном характере всех нынешних социальных антагонизмов — остался неразработанным.

Теоретики метамодернизма культурологи Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер пошли гораздо дальше в стремлении списать со счетов постмодернистскую дескрипцию капитализма. Они признали существование постмодерна, но были убеждены в его недавнем завершении, заявив на основании этого о вступлении капитализма в четвертую стадию развития [Вермюлен, ван ден Аккер, Гиббонс 2020]. При ней появляется новая форма чувственности, стремящаяся разрешить конфликт между различными социокультурными явлениями модерна и постмодерна. В экономической плоскости почву для нее подготовил провал устремлений демократических режимов по улучшению условий жизни людей, а в экономической — финансовый кризис 2008 года. Однако вбросив утверждение о начале четвертой фазы капитализма, метамодернисты предпочли никак его не раскрывать. Суть капитализма теоретики редуцировали до размытого фона, на котором разворачивается спектакль общественных противоречий начала XXI столетия. Более того, Вермюлен и ван ден Аккер в точности воспроизвели методологические установки Джеймисона, воспользовавшегося концептом «структуры чувства» марксиста Рэймонда Уильямса, чтобы произвести слепок культурной логики позднего капитализма [Павлов 2018]. Но вместе с тем (намеренно или нет) игнорируют поздние работы Джеймисона о глобализации, хотя в них он как раз говорит о необходимости выработать плюралистическую картину мира, опирающуюся на универсалистские ценности, на чем настаивают метамодернисты в своих текстах. И что не менее важно, они, как и Джеймисон, предпочитают изучать капитализм через кинематограф, литературу и другие виды культуры. В результате метамодернизм оказывается не более чем культурным довеском к постмодерну.

Социальный теоретик Дэвид Хэнкок тоже исследовал капитализм через призму культуры. В своей трехступенчатой концепции «контркультурной логики неолиберализма» [Hancock 2019] он предложил интерпретировать каждый этап развития капитализма через сочетание актов трансгрессии и чувства гедонистического избытка, подрывающих сложившийся социальный порядок. На третьей стадии капитализм вобрал в себя постулаты классического либерализма XIX века; идею государства,

созидающего рынки рgn; а также контркультурную установку на свободу самовыражения и рациональный подход к накоплению капитала, сформулированные критиками модерна вроде философа Лео Штрауса и визионерами технологических компаний Кремниевой долины. Набор этих принципов помог элитам легитимировать антисоциальные меры в момент и после финансового кризиса 2008 года. Позднее накопленная неприязнь к неолиберальной политике кристаллизовалась в двух ответах. Одним из них стало неореакционное движение в западных капиталистических странах, ярчайшие проявления которого — выход Великобритании из Евросоюза и избрание Дональда Трампа на пост президента США. А вторым — попытка восстановления социалистической повестки, построенная на тех же популистских основаниях, что и у идеологических оппонентов левых. При первом приближении может показаться, что Хэнкок полностью отклонился от курса Джеймисона. Но важно отметить, что он идет по стопам уже упомянутого культуролога Джима Макгиана, которого ранее мы отнесли к сторонникам теории постмодерна. Более того, третья стадия капитализма в интерпретации Хэнкока по всем формальным признакам совпадает с описанием Джеймисона, включая лишь рефлексию политических событий двух последних десятилетий.

Журналистку Наоми Кляйн тоже можно было бы считать одним из социальных теоретиков капитализма, которой удалось достичь теоретической самостоятельности, если бы ее работа чуть больше отвечала критериям научности и строгого теоретизирования. Отслеживая историю неолиберализации планеты, она выявила новый темпоральный режим «капитализма катастроф» [Кляйн 2007], когда силовые ведомства США превращают в бизнес гуманитарные миссии по восстановлению государств, столкнувшихся с серьезными потрясениями социального или природного характера. В своем проекте Кляйн отбрасывает в сторону культуру и общую матрицу экономики, оставляя ее без твердой периодизации. Но ее однократное использование термина постмодернизм дает нам зацепку, чтобы отнести капитализм катастроф к третьей фазе капитализма. Недостающие темпоральные звенья капитализма катастроф можно найти в концепции «капиталоцена», принадлежащей американскому социологу и географу Джейсону Муру [Мооре 2016]. Ученый модифицирует сложившуюся в марксистском дискурсе периодизацию капитализма, делая ее исходной точкой XIII век. С того момента капиталисты стали подчинять себе все дешевые ресурсы природы: землю, животных, рабочую силу, энергоресурсы и т.д. Причем технологии были лишь медиаторами последующих социальных преобразований, а не их основными

агентами. Однако к 1980-м годам потенциал дешевых материалов исчерпался, приблизив мир к экологической катастрофе, вследствие чего капитализм начал движение к четвертой трансформации. В этом месте Мур как раз и открывает окно возможностей для Кляйн: когда капитализму больше нечего эксплуатировать, экономическую привлекательность обретает само разрушение вместе с последующими стратегиями восстановления. В связке капитализм катастроф и капиталоцен могли бы ударить по позициям темпоральной схемы Джеймисона. Но даже после обстоятельного анализа Мур не выявил фундаментальных изменений капитализма. Тем не менее Мур и Кляйн бросают серьезный вызов постмодерну, который оказался неоправданно равнодушен к проблемам экологии.

Идея коммуникативного капитализма философа Джоди Дин не имеет полновесной периодизации, но содержит весомый аргумент в пользу релевантности позднего капитализма. Первостепенное значение имеет то, что теоретическая рамка Дин оказывается связанной с постмодерном через категориальный аппарат Хардта и Негри [Dean 2004], которых, как мы отмечали ранее, вполне можно признать последователями Джеймисона. Более того, настаивая в одной из своих последних статей [Дин 2019] на рецидиве империалистических тенденций в период возвышения цифровых платформ, Дин практически солидаризуется с тезисами Манделя, который считал свой поздний капитализм продолжением империалистической фазы, некогда описанной Лениным. Джеймисон в свою очередь также признавал империализм актуальной тенденцией и предвосхищал то, что цифровое пространство может стать новым местом борьбы.

Посылка о диджитализации социальной жизни стала опорной и для социального психолога Шошаны Зубофф [Zuboff 2019], сформулировавшей концепцию «надзорного капитализма». Она в отличие от коммуникативного капитализма имеет собственную темпоральную структуру, выделяющую три модернистских этапа в становлении капитализма. В течение первых двух происходил расцвет общества потребления после реализации программы Генри Форда по увеличению зарплат рабочих и первые эксперименты по демократизации и индивидуализации потребительских практик в период информационной революции 1990-х годов, инициатором которых была компания Apple [Zuboff, Maxtin 2004]. Третий модерн начался с провалом этих экспериментов, в результате чего технологические корпорации сделали шаг в сторону рекламной бизнес-модели, повлекшей за собой далеко идущие последствия. Хотя надзорный капитализм не лишен исторического каркаса, он все же далек от того, чтобы учитывать

структурную сложность современного капитализма со всеми его социальными импликациями, на что указывает исследователь технологий Евгений Морозов [Mogozov 2019]. В силу этого концептуализацию Зубофф стоит расценивать как дополнительный исследовательский вектор постмодерна, а не самостоятельный проект.

Журналист Пол Мейсон [2015] наряду с Алексом Уильямсом и Ником Срничеком был еще одним теоретиком, развивавшим проект посткапитализма. Как и Дин с Зубофф, в центр своей темпоральной схемы он помещает фактор технологий. Взяв за основу своей периодизации кондратьевские циклы длительностью в 50 лет, он рассказывает, как разгром рабочего движения в 1980-х годах прервал ход четвертой технологической революции. Но тяжело ударивший по массам кризис 2008 года вновь сподвиг людей задаться вопросом о социальной справедливости. Этому способствовал и кризис теории стоимости, который возник после того, как пользователи цифровых устройств обнаружили, что копирование интеллектуальной продукции почти не требует расходов. Причин для новых социальных противоречий, согласно выводам социального теоретика Йона-Арильда Йоханессена [Johannessen 2019], также разрабатывающего идею посткапитализма, оказалось более чем достаточно. Обострение неравенства по всему миру, угасание среднего класса в западных странах и ослабление демократических институтов грозят человечеству возобновлением феодализма. В этих обстоятельствах общество нуждается в синтезе всех позитивных черт бинарных пар капитализма/социализма и модернизма/постмодернизма, настаивает философ Рафаэль Сассоуер [Sassower 2013], еще один теоретик посткапитализма. Но вопреки желанию Мейсона дистанцироваться от концептуальных разработок Джеймисона (хотя и через исходные положения Мандела) Сассоуер отчетливо демонстрирует, что осуществление посткапиталистического проекта немислимо в отрыве от конститутивных принципов постмодерна.

30

Заключение

Сопоставление идеи постмодерна Джеймисона с новыми социальными теориями капитализма, а также прочерчивание связей между ними позволило нам показать саму возможность единого подхода к темпоральному анализу капитализма. Кроме того, рассмотрев более десятка способов описания современного капитализма, мы можем сделать вывод, что концепция постмодерна является наиболее пригодной для осмысления нашей исторической ситуации на основе динамики развития капитализма.

Недавно появившиеся темпорализации капитализма, как мы видели, не создают принципиально иной оптики, а сохраняют методологическую и понятийную связь с проектом Джеймисона. Во многих теоретических конструкциях мы видим работу авторов с собственными идеями Джеймисона или усовершенствованными философскими понятиями: структурой чувства, децентрацией, вечным настоящим, ностальгией, слиянием различных сфер социальной жизни (особенно культуры и экономики) и т.д. О том, что новые темпоральные проекты совпадают с постмодернизмом Джеймисона говорят и структурные признаки, помещенные в центр каждой концепции: продолжение процессов глобализации, информатизации, монополизации и прекаризации; мягкое регулирование финансового сектора; взаимовлияние культуры и экономики; увядание демократических институтов; фетишизация товаров и медиумов; интенсификация политики идентичности и т.д.

Но куда больший вес нашему утверждению придает прямое или косвенное согласие исследователей в том, что капитализм по-прежнему находится на третьей, как еще назвал бы ее Джеймисон, — мультинациональной стадии развития. Каждый теоретик либо воспроизводит триадичную конфигурацию капитализма, либо имплицитно соглашается с ней, прорабатывая в своих трудах только последнюю фазу. Среди тех, кого нельзя назвать однозначными последователями философа, мы обнаружили только одно предположение о начале четвертой трансформации капитализма. Его выдвинули авторы концепции метамодернизма, не пожелавшие тем не менее дать характеристику следующей фазы капитализма. Особый интерес вызывает концепция капиталочена, но здесь достаточно заметить, что по мере расходования дешевых природных ресурсов капитализм лишь приближается к четвертому этапу, а не уже находится в нем. Все это дает нам право считать проанализированные социальные теории капитализма дополнительными векторами концепции постмодернизма, а не попытками его преодоления.

Итак, что добавляют новые социальные теории капитализма к категориальному аппарату постмодерна? Сперва выделим наработки лояльных постмодерну авторов. «Клевый капитализм» расширяет наше понимание того, как культура способствует коммодификации различных уровней повседневности, а контркультура успешно апроприируется действующими лицами капитала. «Капиталистический реализм» усиливает тезис Джеймисона о вечном настоящем, дополняя его рассуждениями об актуальных экологических, психологических и бюрократических проблемах. Постпостмодернизм делает акцент на интенсификации

политики дерегулирования, а также расширяет значение понятия ностальгии. Капитализм 24/7 демонстрирует, как с помощью технологий управления и слежки глобальный капитал колонизирует людей на внутреннем уровне, принуждая их отказаться от сна — одного из последних рубежей человеческого опыта, не захваченных экономическими принципами. Посткапитализм помогает нам распознать в цифровых платформах ведущего агента капитала. Их природа, несмотря на цифровую оболочку, остается глубоко капиталистической, поскольку платформы паразитируют на мощностях других секторов экономики. Это позволяет отвергнуть спекуляции относительно начала четвертой трансформации капитализма.

Теперь зафиксируем какой вклад в постмодерн могут внести конкурировавшие с постмодерном социальные теории капитализма. Гипермодернизм нюансирует наше понимание консьюмеризма и связанной с ним психопатологии, а также говорит о метаморфозах пространственно-временного опыта людей, в результате чего все антагонизмы между ними приобретают темпоральный характер. Метамоде́рнизм углубляет понимание постмодернистской чувственности, артикулируя конфликт между различными явлениями модерна и постмодерна в массовой культуре, а также предлагает новый инструментарий и эмпирический материал для культурных исследований. Капитализм катастроф и капиталоец заделывают экологическую брешь в здании постмодерна, который оказался невнимательным к проблемам окружающей среды. Эти концепции показывают, как природа организуется для удовлетворения потребностей капитала, а вызванные им экологические и социальные разрушения становятся источником генерации прибыли во время ликвидации последствий. Коммуникативный капитализм помогает нам отследить, как интернет подрывает демократические идеалы участия и диалога, подменяя их экономической логикой. Надзорный капитализм открывает перспективу на то, как ускорение диджитализации обуславливается стремлением технологических гигантов получить полный контроль над желаниями потребителей, лишая их возможности проектировать собственное будущее. Контркультурная логика капитализма объясняет, как развитие капитализма связано с последовательностью актов трансгрессии и ощущением гедонистического избытка, и как властные группы используют контркультуру и критику статус-кво для удержания господства. Эта концепция также обогащает нарратив Джеймисона рефлексией крупнейших социально-политических конфликтов последних лет.

Но что выпадает из поля зрения постмодернизма/позднего капитализма, даже если усилить его всеми новыми концепциями?

Все еще слабой стороной этой объяснительной рамки остается экологическая проблематика. Тропы Джейсона Мура и Наоми Кляйн делают большой вклад в это направление, но затрагивают далеко не все стороны воздействия товарного производства и рыночных отношений на природу. Помимо этого постмодерн, как и прежде, позволяет увидеть только часть экономических тенденций. Например, он не проясняет глубину процесса финансиализации нашей жизни, хотя для людей стало нормальным покупать в кредит любые товары, в том числе продукты питания [Lazzarato 2012; Гребер 2014]. Расширения требует и описание цифрового сегмента капитализма. Изучение архитектуры и принципов работы платформ, безусловно, один из приоритетных доменов его анализа. Но можно ли ограничиться только им в момент, когда диджитализации подвергаются буквально все сферы производства и потребления, особенно труд?

Немаловажно и то, что у постмодерна отсутствует чуткость к социокультурным тенденциям цифрового мира. Согласно теоретику медиа Герту Ловинку, онлайн платформам за считанные годы удалось создать пространство новой идеологии. Причем насыщением этого пространства занимается уже не столько государство, сколько многочисленные агенты капитала. Поэтому акцент в исследовании образовавшейся идеологической среды должен быть сделан на том, как хаос различных дискурсов — гендерный или геополитический — упорядочивает экономическая логика, через которую прорезиваются ценности венчурного капитала и стартап-культуры, набирающие все большую популярность [Ловинк 2019: 51-58]. Наконец, за пределами интересов исследователей темпоральности капитализма оказывается множество других социальных сфер: гендерная проблематика, религия, образование, урбанистика и т.д.

Первоначальная интенция Джеймисона состояла в том, чтобы составить когнитивную карту капитализма, отразив в ней структурные изменения последнего времени. Но к сегодняшнему дню фактура общественной жизни стала гораздо более сложной. Исходная дескриптивная сила постмодерна была недостаточной, но ее объяснительный ресурс оказалось возможным нарастить коллективными усилиями. Найдя каркас для новых темпоральных зарисовок капитализма в периодизации Джеймисона, мы постарались доказать, что понимание нашей эпохи через постмодернизм/поздний капитализм не только возможно, но и оправдано, поскольку ему удастся «схватить» многоуровневое переплетение экономических, культурных, социальных и технологических процессов. Капитализм в этой перспективе предстает не ригидным термином, проясняющим лишь эконо-

мические стороны современности, а становится динамической категорией, схватывающей пуск и не все, но большинство измерений социального мира. Разумеется, чтобы добиться максимального успеха в тотализации капитализма, нам необходим нюансированный взгляд на все феномены, выявленные старыми и новыми социальными теориями. Но такого рода детализация, равно как и оценка релевантности необходимых для этого понятий, — задача последующих теоретических поисков, отправной точкой для которых может служить представленный в этой статье темпоральный проект.

Библиография / References

Александр Дж. (2013) *Смыслы социальной жизни: культурсоциология*, М.: Praxis.

— Alexander J. (2003) *The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology*, Moscow: Praxis. — in Russ.

Андерсон П. (2011) *Истоки постмодерна*, М.: Территория будущего.

— Anderson P. (2011) *The Origins of Postmodernity*, Moscow: Territory of Future. — in Russ.

Арон Р. (1993) *Этапы развития социологической мысли*, М: Прогресс—Политика.

— Aron R. (1993) *Main Currents in Sociological Thought*, Moscow: Progress—Politics. — in Russ.

Арриги Д. (2006) *Долгий двадцатый век*, М.: Территория будущего.

— Arrighi G. (2006) *The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time*, Moscow: Territory of Future. — in Russ.

Бауман З. (2008) *Текущая современность*, СПб.: Питер.

— Bauman Z. (2008) *Liquid Modernity*, Saint Petersburg: Piter. — in Russ.

Бек У. (2000) *Общество риска: на пути к другому модерну*, М.: Прогресс-Традиция.

— Beck U. (2000) *Risk Society: Towards a New Modernity*, Moscow: Progress-Tradition. — in Russ.

Белл Д. (2004) *Грядущее постиндустриальное общество*, М.: Academia.

Bell D. (2004) *The Coming of Post-Industrial Society*, М.: Academia. — in Russ.

Бодрийяр Ж. (2000) *В тени молчаливого большинства, или конец социального*, Екатеринбург: Уральский университет.

— Baudrillard J. (2000) *In the Shadow of the Silent Majorities, Or, the End of the Social*, Yekaterinburg: Ural University Publishing House. — in Russ.

Вермюлен Т., ван ден Аккер Р., Гиббонс Э. (2020) *Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма*, М.: РИПОЛ-классик.

- Vermeulen T., Akker R. van den, Gibbons A. (2020) *Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism*, Moscow: RIPOI Classic. — in Russ.
- Гидденс Э. (2011) *Последствия современности*, М.: Праксис.
- Giddens A. (2011) *The Consequences of Modernity*, Moscow: Praxis. — in Russ.
- Гребер Д. (2014) *Долг: первые 5000 лет истории*, М.: Ad Marginem Press.
- Graeber D. (2014) *Debt: The First 5000 Years*, Moscow: Ad Marginem Press. — in Russ.
- Джеймисон Ф. (2019) *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма*, М.: Институт Гайдара.
- Jameson F. (2019) *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*, Moscow: The Gaidar Institute's Publishing House. — in Russ.
- Дин Д. (2019) Коммунизм или неофеодализм? *Логос*, 29 (6): 85-116.
- Dean J. (2019) Communism or Neofeudalism? *Logos*, 29 (6): 85-116. — in Russ.
- Зомбарт В. (2005) *Избранные работы*, М.: Территория будущего.
- Zombart W. (2005) *The Essential Works*, Moscow: Territory of Future. — in Russ.
- Кляйн Н. (2007) *Доктрина шока: Становление капитализма катастроф*, М.: Хорошая книга.
- Klein N. (2007) *The Shock Doctrine*, Moscow: The Kind Book. — in Russ.
- Ленин В.И. (1969) Империализм, как высшая стадия капитализма. Т. 27. *Полное собрание сочинений в 55 т.*, М.: Государственное издательство политической литературы.
- Lenin V.I. (1969) Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. *Complete works in 55 volumes*, Moscow: The State Publishing House of Political Literature. — in Russ.
- Ловинк Г. (2019) *Критическая теория интернета*, М.: Ад Маргинем Пресс; Музей современного искусства «Гараж».
- Loving G. (2019) *Critical Theory of Internet*, Moscow: Ad Marginem Press; Garage Museum of Contemporary Art. — in Russ.
- Павлов А.В. (2018) Социальная теория: постмодернистский поворот — модернистский разворот. *Общественные науки и современность*, 5: 158-170.
- Pavlov A.V. (2018) Social Theory: Postmodern Turn — and Modernist Turn Out. *Social Sciences and Contemporary World*, 5: 158-170. — in Russ.
- Павлов А.В. (2018) Образы современности в XXI веке: метамодернизм. *Логос*, 28 (6): 1-19.
- Pavlov A.V. (2018) Images of Modernity in The Twenty-First Century: Metamodernism. *Logos*, 28 (6): 1-19. — in Russ.
- Павлов А.В. (2019) *Постпостмодернизм: Как социальная и культурная теории объясняют наше время*, М.: ИД «Дело» РАНХиГС.
- Pavlov A.V. (2019) *Postpostmodernism: How Social and Cultural Theories Explain Our Time*, Moscow: Delo Publishing House. — in Russ.

- Срничек Н. (2019) *Капитализм платформ*, М.: ИД ВШЭ.
— Srnicek N. (2019) *Platform Capitalism*, Moscow: The Higher School of Economics Publishing House. — in Russ.
- Срничек Н., Уильямс А. (2019) *Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда*, М.: Strelka Press.
— Srnicek N., Williams A. (2019) *Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work*, Moscow: Strelka Press. — in Russ.
- Терборн Й. (2015) *Мир: Руководство для начинающих*, М.: ИД ВШЭ.
— Therborn G. (2015) *The World: A Beginner's Guide*, Moscow: The Higher School of Economics Publishing House. — in Russ.
- Терборн Й. (2021) *От марксизма к постмарксизму?* М.: ИД ВШЭ.
— Therborn G. (2021) *From Marxism to Postmarxism?* Moscow: The Higher School of Economics Publishing House. — in Russ.
- Фишер М. (2010) *Капиталистический реализм*, М.: Ультракультура 2.0.
— Fisher M. (2010) *Capitalism Realism*, Moscow: Ultraculture 2.0. — in Russ.
- Хардт М., Негри А. (2004) *Империя*, М.: Праксис.
— Hardt M., Negri A. (2004) *Empire*, Moscow: Praxis. — in Russ.
- Хобсбаум Э. (1999) *Век капитала*, Ростов-на-Дону: Феникс.
— Hobsbawm E. (1999) *The Age of Capital*, Rostov-on-Don: Phoenix Publishing House.
- Adorno T. (1968) Late Capitalism or Industrial Society? *Opening Address to the 16th German Sociological Congress*. (<https://www.marxists.org/reference/archive/adorno/1968/late-capitalism.htm>) Bell D. (1973) *The Coming of Post-Industrial Society*, New York: Basic Books.
- Bell D. (1976) *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books.
- Callinicos A. (1990) *Against Postmodernism: A Marxist Critique*, New York: St. Martin's Press.
- Crary J. (2013) *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*, London; New York: Verso.
- Dean J. (2004) The Networked Empire: Communicative Capitalism and the Hope for Politics. *Empire's New Clothes: Reading Hardt and Negri*, New York: Routledge.
- Dean J. (2005) Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics. *Cultural Politics*, 1 (1).
- Flisfeder M. (2017) *Postmodern Theory and Blade Runner*, London; New York: Bloomsbury Academic.
- Hancock D. (2019) *The Countercultural Logic of Neoliberalism*, London; New York: Routledge.
- Harvey D. (1989) *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Oxford: Blackwell.
- Hutcheon L. (2002) *The Politics of Postmodernism*, New York; London: Routledge.
- Hutcheon L. (2007) *Gone Forever, But Here to Stay: The Legacy of the Postmodern. Postmodernism: What Moment?* Manchester: Manchester University Press.

- Jameson F. (1998) *The Cultural Turn Selected Writings on the Postmodern 1983-1998*, London; New York: Verso.
- Jameson F., Miyoshi M. (1998) *The Cultures of Globalization*, Durham; London: Duke University Press.
- Jameson F. (2000) Globalization and Political Strategy. *New Left Review*, 4.
- Jameson F. (2002) *A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present*, London: Verso.
- Jameson F. (2012) Aesthetics of Singularity. Time and Event in Postmodernity. *Georg Forster Lecture*. (https://www.youtube.com/watch?v=qh79_zwNI_s)
- Johannessen J. (2019) *Automation, Capitalism and the End of the Middle Class*, New York: Routledge.
- Lash S., Urry J. (1987) *The End of Organized Capitalism*, Cambridge, Oxford: Polity Press and Blackwell.
- Lash S., Urry J. (1994) *Economies of Signs and Space*, Los Angeles; London; New Delhi; Singapore: Sage Publications.
- Lipovetsky G. (2005) *Time in Conflict, and Chrono-reflexivity in Hypermodern Times*, Cambridge: Polity.
- Lipovetsky G. (2018) On Artistic Capitalism. *Crash Magazine*, 5. (<http://www.crash.fr/on-artistic-capitalism-by-gilles-lipovetsky-crash-65>)
- Mandel E. (1976) *Late Capitalism*, London: Verso.
- Moore J. (2016) The Rise of Cheap Nature. *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism*, Oakland: PM Press.
- Morozov E. (2019) Capitalism's New Clothes. *The Baffler*. (<https://thebaffler.com/latest/capitalisms-new-clothes-morozov>)
- McGuigan J. (2009) *Cool Capitalism*, London; New York: Pluto Press.
- McHale B. (2015) *The Cambridge Introduction to Postmodernism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nealon J. (2012) *Post-postmodernism, or The Logic of Just-in-time Capitalism*, Stanford: Stanford University Press.
- Sassower R. (2013) *Digital Exposure: Postmodern Postcapitalism*, Houndmills; Basingstoke; Hampshire: Palgrave Macmillan UK.
- Touraine A. (2007) *A New Paradigm for Understanding Today's World*, Cambridge: Polity.
- Wegner P. (2006) Periodizing Jameson, or, Notes toward a Cultural Logic of Globalization. *On Jameson: From Postmodernism to Globalization*, New York: State University of New York Press.
- Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism*, New York: PublicAffairs.

Рекомендация для цитирования:

Мазоренко Д.А. (2021) Своевременность позднего капитализма: почему постмодернизм остается главным языком описания нашей эпохи? *Социология власти*, 33 (1): 11-38.

For citations:

Mazorenko D.A. (2021) Just-in-time Late Capitalism: Why Does Postmodernism Still Remain a Sociocultural Dominant of Our Time? *Sociology of Power*, 33 (1): 11-38.

Поступила в редакцию: 05.01.2021; принята в печать: 22.02.2021

Received: 05.01.2021; Accepted for publication: 22.02.2021

АЛЕКСАНДР В. ПАВЛОВ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт философии РАН, Москва, Россия

ORCID: 0000-0001-5449-1050

Что нового в новом капитализме?

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-39-63

Резюме:

Поскольку в научной литературе все чаще обсуждаются новые виды экономики (цифровая, гиганомика, экономика совместного использования и т.д.), а также регулярно возникают концепции новейшего капитализма, автор статьи задается вопросом о начале этих постоянных концептуальных инновациях и обращается за ответом к актуальной социальной теории. За точку отсчета этих инноваций автор берет книги марксистов Дугласа Келлнера и Дэвида Харви, опубликованных в 1989 году — в символический год падения Берлинской стены. Чтобы выстроить нарратив, автор методологически использует идею периодизации американской культуры «долгих девяностых» (1989–2001) американского культуролога Филиппа Уэгнера и концепцию внешней и внутренней глобализации социального теоретика Роберта Хассана, который в свою очередь строит свои размышления на идее гибкого накопления Харви. На примере фильма «Бойцовский клуб» автор показывает, как происходила колонизация внутреннего человеческого опыта капиталом после 1989 года. Так, в 1990-х капитал, лишая человека сна, стал получать прибыль не только от экономики знаний, но и от эмоций, что нашло отражение в социальной теории на рубеже тысячелетия. Далее, кратко рассказывая о нескольких новейших концепциях капитализма (капитализма больших данных, вычислительного капитализма, семиокапитализма, биокогнитивного капитализма), автор отмечает, что создатели теорий, сосредоточившись на цифровой экономике, не учитывают фактор внешней глобализации, а главное — упускают из виду финансовый капитализм, от которого в конечном счете зависит экономика. Статья заканчивается утверждением, что динамика развития капитала отмечает, что доминирующий нарратив развитых капиталистических стран связан с темой изменений (в экономике, технологии и т.д.).

Ключевые слова: социальная теория, практическая философия, капитализм, постмодернизм, марксизм, медиа

39

Павлов Александр Владимирович — доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт философии РАН, Москва, Россия. Научные интересы: социальная теория, марксизм, исследования культуры. E-mail: apavlov@hse.ru

Alexander V. Pavlov¹

National Research University Higher School of Economics; RAS Institute of Philosophy, Moscow, Russia.

What is New in New Capitalism?

Abstract:

As the new types of economy (digital, gignomics, sharing economy, etc.) are more and more frequently discussed in the scientific literature, while novel concepts of new capitalism regularly emerge, the author of the article investigates the origins of these constant changes and turns to contemporary social theory for answers. As a starting point, the author takes the books of two Marxists, Douglas Kellner and David Harvey; both were published in 1989, in the symbolic year of the Fall of the Berlin Wall. To construct a narrative, the author employs the idea of the periodization of the American culture of the long nineties (1989-2001) by the American cultural critic Philip Wagner and the concept of external and internal globalization by the social theorist Robert Hassan, who in his turn grounds his reflections on the idea of flexible accumulation by Harvey. Using the example of the film "Fight Club", the author shows how the colonization of the internal human experience by capital took place after 1989. Thus, in the 1990s, capital, by depriving people of sleep, began to profit not only from the economy built on knowledge, but also from emotions, as reflected in social theory at the turn of the millennium. Further, briefly describing several recent concepts of capitalism (data capitalism, computational capitalism, semicapitalism, biocognitive capitalism), the author notes that the creators of the theories, focusing on the digital economy, do not take into account the factor of external globalization, and most importantly forget about financial capitalism, on which, ultimately, the economy depends. The article concludes that the dynamics of capital development were predicted by David Harvey back in 1989, and that his concept still has a high heuristic potential.

Keywords: social theory, practical philosophy, capitalism, postmodernism, Marxism, media

40

В своей книге «Капитализм платформ» левый социальный теоретик Срничек отмечает, что доминирующий нарратив развитых капиталистических стран связан с темой изменений [Срничек 2019: 35]. В данном случае имеются в виду перемены в экономике, технологии и т.д. Экономика в самом деле меняется, по крайней мере мы знаем множество новых ее направлений: гигномика,

1 Alexander V. Pavlov — DSc in Philosophy, Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, Higher School of Economics; Leading Researcher, RAS Institute of Philosophy, Moscow, Russia. Research interests: social theory, Marxism, cultural studies. E-mail: apavlov@hse.ru

экономика совместного использования, цифровая экономика и т.д. Вопрос, насколько эти изменения в экономике радикальны, когда они начались, действительно ли они существуют? И как тогда быть с капитализмом, вариантов которого существует бесчисленное множество? Он меняется вместе с новой экономикой или развивается автономно? В каком соотношении находятся цифровая экономика и посткапитализм [Морозов 2019] или казино-экономика и коммуникативный капитализм [Сафронов 2020]?

Цель статьи — попытаться структурировать всевозможные концепции актуального капитализма (многочисленных капитализмов) посредством периодизирующего повествования. В своем анализе сегодняшней социальной теории я исхожу из позиции, едва ли не противоположной позиции Дмитрия Мазоренко, статья которого представлена в настоящем издании. Преследуя цель как-то темпорализировать капитализм, Мазоренко настаивает, что, во-первых, наиболее удачным языком описания позднего капитализма (термин экономиста-троцкиста Эрнеста Мандела) стала теория постмодернизма философа Фредрика Джеймисона, во-вторых, теория Джеймисона не утратила объяснительной силы, в-третьих, некоторые из более поздних социальных теоретиков, описывая культуру и экономику, следуют намеченному Джеймисоном описательному маршруту и, в-четвертых, многочисленные концепции капитализма, никак не учитывающие постмодернизм, скорее подтверждают актуальность взглядов Джеймисона, нежели наоборот¹. Тем самым согласно Дмитрию Мазоренко, получается, что мы живем в эпоху позднего капитализма, который может быть описан через культуру постмодернизма в версии Джеймисона. Поздний капитализм — это постмодернизм, а постмодернизм — это поздний капитализм. Нельзя сказать, что я не согласен с этой точкой зрения, но мои выводы в соответствии с нарративом, который я выстраиваю далее, несколько отличаются от пересказанных выше. Почему так получилось?

41

Во-первых, чтобы описать окружающую нас реальность, могут быть использованы самые разные понятия или теории: поздняя глобализация, ранний метамодернизм, актуальный постпостмодернизм, антропоцен или капиталоец, информационный капитализм, «цивилизация» и т.д. Как исследователи мы можем заимствовать чужой язык или придумывать свой. Главное, чтобы язык описания как можно точнее соответствовал реальности. Во-вторых, устоявшиеся языки описания в силу их детальной проработанно-

1 Так думает не один Дмитрий Мазоренко. Очень взвешенный и обоснованный взгляд на теорию постмодерна Джеймисона см. [Афанасов 2019].

сти и протестированных словарей скорее всего будут работать лучше тех, которые были изобретены только что. Я не думаю, к примеру, что абсолютно все согласятся с тем, что человечество сегодня живет в эру капиталоцена, так как эта концепция еще не прижилась в академии окончательно и не получила должного развития. Так и в случае, скажем, с постмодерном должно пройти время, чтобы можно было судить об эвристичности самой теории. В-третьих, для каждого этапа развития социального и гуманитарного знания характерен тренд, отражающий моду той или иной концепции/языка описания. Есть языки, более устойчивые в науке, есть те, популярность которых преходяща. Постмодернизм был модной темой в 1980-1990-х, так что многие авторы предлагали свои языки описания постмодерна. Сегодня же постмодерн не может похвастаться былой славой. Но, кажется, капитализм как метапонятие все еще схватывает реальность удачнее других описаний. Исходя из этих посылок, я бы хотел попробовать найти наиболее адекватный язык описания нынешней социальной реальности. Чтобы понять, что это за мир и когда он начался, мы обратимся к уже существующим концепциям социальной теории.

42

Мне неизбежно придется периодизировать новейшую историю экономики, но это будет периодизация особого рода, а именно периодизация концептов. Иными словами, речь пойдет не об описании эмпирического материала из экономики, культуры и общества в целом, а о том, как с этим материалом пытались работать разные ученые и мыслители. Поэтому главным референтом для меня и других теорий будет концепция гибкого накопления, предложенная в 1989 году социальным географом Дэвидом Харви [2021] в книге «Состояние постмодерна». На мой взгляд, Харви лучше всех объяснил логику экономических и социальных изменений западного мира, которая все еще работает. Двумя методологически важными для дальнейшего повествования книгами являются «Состояние дигитальности» социального и медиатеоретика Роберта Хассана [Hassan 2020] и «Жизнь между двумя смертями» философа и культуролога Филиппа Уэгнера [Wegner 2009]. Хассан доказал, что, хотя в концепции Харви не учтено развитие технологий и цифровизация, его идеи лучше всего объясняют нынешний мир. Уэгнер же прекрасно концептуализирует эпоху 1989-2001-х годов через идею о первой (физической) и второй (символической) смерти психоаналитика Жака Лакана. Цитируя Фредрика Джеймисон, Уэгнер пишет, что периодизация — сущностная характеристика самого процесса повествования [Ibid.: 28]. Уэгнер может позволить себе закончить изложение 2001 годом, потому что пишет о политике, отраженной в американской популярной культуре и литературе. Но в плане экономики мне кажется, что эта периодизация может быть расширена. Несмотря

на то что 1999–2001-е годы в самом деле символически значимы для развития концепций капитализма, говорить о них как о точке разрыва все же нельзя.

1989: постмодернизм и технокапитализм

На протяжении 1980-х в науке шли дебаты о модерне/постмодерне. Последний стал термином, которым разные авторы по-своему пытались объяснить стремительно меняющуюся социальную реальность. Каждый ученый или мыслитель исходил в данных описаниях из собственной дисциплинарной перспективы — социологии, культуры, философии и т.д. Это означает не только то, что у авторов не было единого понимания терминов постмодерн/постмодернизм, но и то, что их дисциплинарная оптика определяла их отношения к термину. Например, на фоне популярности постструктурализма в англоязычной академии британский марксист Алекс Каллиникос [Callinicos 1985] критиковал постмодернизм, понимая его специфическим образом. Концепция постмодерна Фредрика Джеймисона, изложенная в нескольких публикациях начиная с 1984 года, приобрела широкую известность немного позже, став одной из самых обсуждаемых к концу 1980-х. Поэтому Каллиникос в 1985 году спорил не с Джеймисоном, но с Лиотаром; английский перевод «Состояния постмодерна» появился только в 1984 году.

43

К концу 1980-х годов все авторы, кто писал на тему, по-своему концептуализировали постмодернизм. 1989 год — символическая дата, когда политическая, экономическая и культурная напряженности в итоге привела к падению Берлинской стены, а позже последовали крах Советского Союза, начало открытия Китая и Индии миру, американский триумфализм и «конец истории» [Hassan 2020: 3]. В 1989-м вышли сразу две важные книги, в целом посвященные постмодерну. Ожидаемо это были работы двух марксистов: «Критическая теория, марксизм и современность» американского культуролога Дугласа Келлнера и «Состояние постмодерна: исследование истоков культурных изменений» Дэвида Харви¹. Келлнер заявлял о себе как о преемнике классической критической теории в англоязычной среде, Харви же скромно мыслил себя *классическим* марксистом. Будучи марксистами, оба автора в центр своих исследований ставили вопрос о капитал(изм)е.

1 Наверное, стоит сказать, что также в 1989 году под редакцией Келлнера вышел сборник эссе, посвященных Джеймисону [Kellner 1989a]. В данном тексте мы не уделяем Джеймисону много внимания, потому что определенно его интересовал больше постмодернизм, чем капитализм.

Келлнер утверждал, что критическая теория возникла как реакция на переход от классического капитализма к государственному, также называемому «организованным капитализмом». Поскольку последний, как в 1987 году заявляли социологи Скотт Лэш и Джон Урри [Lash, Urry 1987], закончился, а западный капитализм стал «дезорганизованным», требовался анализ новой ситуации. Келлнер исходил из того, что классическая критическая теория (прежде всего, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер и Герберт Маркузе) должна быть «диалектически» пересмотрена и применена к сложившейся исторической ситуации. В своем исследовании социальный теоретик ссылался не только на Лэша и Урри, но также и на тезис Джеймисона о том, что новая «культурная доминанта» соответствует новой социально-экономической стадии капитализма. Келлнер [Kellner 1989: 176] писал, что для Джеймисона капитализм представлял собой «еще более чистую, более развитую, более реализованную форму капитализма, чем более ранние его стадии, которые описаны в критике рыночного капитализма Марксом и ленинской теории империализма». Поэтому коммодификация и капиталистические отношения обмена проникали в сферы информации, знаний, компьютеризации, сознания и самого познания в беспрецедентной степени.

Келлнер [Ibid.: 180, 181] хвалил Джеймисона за то, что тот работал в рамках критической теории и отвечал на требования времени. При этом его не устраивали термины «дезорганизованный» и «поздний», которыми Лэш, Урри и Джеймисон описывали капитализм, поскольку он отказывался признавать, что человечество вступило в эпоху постиндустриализма или постмодернизма. Келлнер писал: «В то время как теоретики постмодерна или постиндустриального общества часто утверждают, что ключевые черты капитализма больше не являются центральными принципами социальной организации, я бы сказал, что капиталистические производственные отношения и императив максимального накопления капитала по-прежнему являются центральными конститутивными силами» [Ibid.: 177]. Поэтому Келлнер, отказываясь от категории постмодерна, предлагает собственную концепцию капитализма, получившую название «технокапитализм».

Хотя Келлнер, пересказывая периодизацию динамики капитала Эрнеста Мандела, употреблял понятие «поздний капитализм», которое, как видим, остается принципиальным для Джеймисона, тем не менее он признавал, что на данном этапе развития капитализма можно говорить уже о технокапитализме как о «теоретизации новых конфигураций или констелляций капитализма», а не новой «стадии» капитализма; тем самым это скорее переход от прежних конфигураций и констелляций капитализма к новым. Келлнер [Ibid.:

181] отказывался от идеи рассматривать новое состояние как стадию, «поскольку концепция того, что составляет “стадию” капитализма, не была определена должным образом». Принципиально, что технокапитализм все еще оставался капитализмом. Его политическая экономия восходила к корпоративному и монополистическому капиталу, который становился глобальным и многонациональным. Новизну же очередных констелляций капитала объясняет приставка «техно»: «Технокапитализм демонстрирует растущую концентрацию и централизацию капитала, организованного в транснациональные конгломераты в глобальной системе, в которой новые передовые технологии, такие как спутниковое телевидение, компьютеры и информация, научные и технологические знания, а также формы потребления и массовой культуры имеют международный характер, распространены по всему миру транснациональным капиталом и техно-элитами» [Ibid.: 180].

На экономическом уровне это означало, что технологии, автоматизация и информация стали играть важнейшую роль в производственном процессе и помогли произвести широкий спектр новых социальных и экономических эффектов. Таким образом, технокапитализм характеризовался синтезом технологий и капиталистических социальных отношений, а также производством новых техно-товаров и техно-культуры [Ibid.: 179]. С точки зрения Келлнера, человеческая рабочая сила играла в производстве все меньшую роль, так как заменялась автоматизацией и компьютеризацией, и потому источник прибавочной стоимости извлекался скорее из машин, чем из людей. Накопление происходило не за счет эффективной организации труда, как то было в тейлоризме-фордизме, а за счет технологического развития. В итоге рабочий класс раздробился и дезорганизовался.

Важное значение имеет для Келлнера как культуролога термин технокультура. Последняя представляет собой конфигурацию массовой культуры и общества потребления, в которой товары потребления, телевидение, фильмы, образы и компьютеризированная информация становились доминирующей культурной формой во всем развитом мире. В технокультуре образ и «товарная эстетика» колонизировали повседневную жизнь и трансформировали политику, экономику и социальные отношения.

Келлнер был куда больше заинтересован в пересмотре концепций критической теории и использовании ее для актуального социального анализа, чем в анализе как таковом. Его концепция хотя и выглядит любопытной, все же не была основательно проработана, в чем он сам признавался.

В свою очередь Дэвид Харви работал не только с концепциями и анализом культуры постмодерна, сменившей культуру модер-

на, но и с большим объемом эмпирического материала. В итоге его анализ был куда более точным, а изложение — последовательным. В первой части своей книги Харви, кратко воспроизведя точки зрения на постмодерн, показал тектонические сдвиги в культуре (литература, изобразительное искусство, городское пространство и т.д.). Во второй части работы он обратился к тому, чтобы показать, как фордизм, ориентированный на инструментальное управление и рационализацию производства, столкнулся с кризисом ригидного перенакопления. Так появился постфордизм.

Келлнер [Ibid.: 181] писал примерно то же самое, рассуждая, что технокапитализм зависит от все более развивающейся формы капитала, в которой деньги, идеи, изображения, технологии, товары и услуги могли быть мгновенно перемещены из одной части мира. Келлнер определенно уловил суть изменений, связанных с технологиями, однако не смог их надлежащим образом проанализировать. То, что капитал к концу 1980-х стал мобильным и глобальным, было очевидно практически всем исследователям данного вопроса¹. Эту важнейшую трансформацию надо было все-таки как-то объяснить, что и сделал Дэвид Харви. Кризис перенакопления был преодолен посредством нового гибкого вида накопления, соответствующего постфордизму². Данный тип накопления стал возможен благодаря пространственно-временному сжатию: начиная с эпохи Возрождения посредством картографирования местности, изобретения транспорта, все более эффективных перевозок и т.д. капитал становился глобальным. Начиная с 1973 года он превратился в фиктивный и перестал быть подкрепленным ростом реального производства.

В итоге в 1980-е сложилась совершенно новая экономика, которую Харви [2021: 522-530] называет «экономика с зеркалами». Он обвиняет экономическую политику Рейгана в увеличении и распространении неравенства, обнищании масс, безработице и т.д. При этом единицы обогащались на финансовых спекуляциях. Ровно в том же Рейгана обвинял и Келлнер: «На уровне политики администрация Рейгана продемонстрировала непревзойденный уровень кор-

46

1 Социолог Джордж Ритцер в пятом издании своей книги «Современные социологические теории» (2000) писал именно про концепцию технокапитализма Келлнера [Ритцер 2002]. В восьмом издании (2010) книги Ритцер удалил этот параграф, но написал, как Келлнер анализирует популярную культуру [Ritzer 2010]. Эта ревизия социологической теории лишь подтверждает то, что технокапитализм оказался не самым удачным объяснительным концептом.

2 О фордизме и постфордизме как понятиях социологического анализа в контексте теоретизации постмодерна также см. [Ритцер 2011: 143-148].

рупции, беззакония и иррациональности, которые, вероятно, усугубят кризисы рациональности и кризисы легитимации, которые она пыталась преодолеть в свои предыдущие годы. На уровне повседневной жизни угроза безработицы, снижение уровня жизни, рост числа самоубийств и разводов, а также рост наркозависимости и алкогольной зависимости свидетельствуют об ускорении кризиса мотивации, который может угрожать рациональности и функциональности системы. Таким образом, какие бы виды политического управления ни появились в ближайшие десятилетия, не ясно, как технокapитализм сможет обеспечить рабочие места, доход и полноценное существование в эпоху растущей компьютеризации и автоматизации» [Kellner 1989: 217].

Это мало похоже на экономический анализ и даже на анализ вообще. Оба марксиста рассуждали об одном и том же, но если Келлнер увлекался риторикой, то Харви предложил оригинальный анализ экономической ситуации. В 1989 году было сложно не заметить, что финансовый сектор, освободившись от уз государственного регулирования, после 1980 года стал важнейшим фактором функционирования экономики. С возникновением международных финансовых спекуляций появились и финансовые кризисы, которые до финансиализации капитализма удавалось предотвращать. «Мировая экономика снова оказалась во власти все более продолжительных серий долговых, основанных на финансовых пузырях и спекуляции бумов, которые неизменно заканчивались полным крахом. Не случайно, что этот процесс достиг своего рода кульминации в 1990-е годы» [Бреннер 2014: 30]. В конце своей книге Харви пришел к неожиданным выводам: постмодернизм, являясь новой формой культуры, на деле соответствует не новой стадии капитализма, а отражает вместе с модерном издавна существующую логику развития капитала, который является не вещью, но процессом. «Внутренние правила функционирования капитализма таковы, что они гарантируют его статус динамичного и революционного способа социальной организации, неутомонно и непрерывно трансформирующего то общество, в котором он обосновался» [Харви 2021: 538].

Капитализм «изобретает» новые способы, чтобы эксплуатировать труд, создавать новые потребности, ускорять темп жизни и т.д. В этом смысле его траектория не может быть предсказана, потому что капитализм основывается исключительно на спекуляции «новыми продуктами, новыми технологиями, новыми пространствами и локациями, новыми трудовыми процессами» [Там же: 538, 539]. Постмодерн может быть охарактеризован как своеобразная спекуляция на капитализме. Вывод о новых констелляциях капитала Келлнера, отвергающего ярлык «постмодер-

низм», осторожен, но Харви, разумеется, не приходится делать даже таких робких заявлений, потому что капитал — всегда капитал. Роберт Хассан [Hassan 2020: 7], обсуждая наследие «Состояния постмодерна» Харви, пишет следующее: «Заявленный аргумент Харви, по сути, состоит в том, что все изменилось, но (на самом деле) ничего не поменялось». Вывод Харви, что капитал разрешил свой кризис, распространяясь по планете, подтвердился в 1990-е годы.

1989-2001: что упущено в эмоциональном и культурном капитализме

Как упоминалось во введении, Филипп Уэгнер [Wegner 2009: 5] периодизирует 1989-2001-е годы как важнейший период в американской политике, отраженной в популярной культуре, — «эпоху жизни между двумя смертями», которую он, к слову, называет также «поздним постмодернизмом». В рамках этого периода он обращается к таким продуктам масскульта, как фильм «Мыс страха» (1991), «Терминатор 2: Судный день» (1991), сериалу «Баффи — истребительница вампиров» (1997-2003) и т.д. Среди прочего Уэгнер рассматривает фильм «Бойцовский клуб» (1999) как один из наиболее характерных примеров, в которых отражается американская политика после 1989 года. Это важный пример и для нашего дальнейшего повествования, потому что в фильме отражается критика капитализма до 2001 года. Уэгнер [Ibid.: 13] считает, что «Бойцовский клуб» отражал чувство незащищенности, переживаемое мужчинами среднего класса в условиях зарождающейся глобальной экономики после Холодной войны. В своем анализе «Бойцовского клуба» Уэгнер делает акцент на критике консюмеризма и кризисе маскулинности, но он не рассматривает кино с точки зрения критики капитализма. Мы рассмотрим «Бойцовский клуб» с этой точки зрения, что позволит нам увидеть, как капитализм колонизировал в том числе внутреннее пространство.

Автор литературного источника Чак Паланик предлагал старые решения относительно критики капитализма, но ставил капитализму новый диагноз. Главный герой «Бойцовского клуба» работает на крупную автомобильную корпорацию. Его работа заключается в том, чтобы оценивать аварии и решать, стоит ли отправлять модель машины с заводским браком на доработку или же дешевле урегулировать проблему другим способом, более выгодным для компании. Герой мучается бессонницей, которая, возможно, появилась в результате его работы. Далее он знакомится с харизматичным бунтарем Тайлером Дерденом, и они вместе организуют бойцовский клуб, где «синие воротнички» дают выход своему гневу,

возникшему, как нам дают понять, из-за жизненных неудач. Позже Тайлер реформатирует бойцовский клуб в террористическую группу, цель которой (в фильме) — уничтожить *финансовый* центр цивилизации. В какой-то момент раскрывается, что Тайлер — вторая личность главного героя, живущая активной жизнью, пока герой «спал».

Фактически Паланик выступал здесь хотя и не за революцию путем восстания «пролетариата», но за революцию, организованную посредством заговора, главным субъектом которой становится низший слой «рабочего класса»: официанты, курьеры, уборщики, охранники в барах и проч., т.е. тот, кто оказался на обочине беззаботного общества процветающего консюмеризма. Сама программа проекта кратко звучала так: «Бойцовский клуб делает мужчин из клерков и кассиров. “Проект Разгром” сделает что-нибудь более приличное из современной цивилизации» [Паланик 2005: 120]. Как цель, так и общую идеологию этого политического проекта сложно назвать оригинальной. Собственно, в этом и было старое решение Палаником новых проблем. Тем не менее дело не в этом.

Существует много прочтений книги и фильма. Датские исследователи Бюлент Дикен и Карстен Багге Лаустсен, основываясь на концепциях Болтанского и Кьяпелло, с одной стороны, и Делеза и Гваттари — с другой, отмечают, когда «Бойцовский клуб» трансформируется в «фашистскую организацию», насилие обращается вовне, кульминацией чего становится план «организованного террора» с целью подорвать фундамент общества потребления. В результате ученые ставят вопрос, почему критика капитализма, основанная на идее подрывной деятельности, сохраняется в сетевом обществе? Что, если идея подрывной деятельности поддерживается «новым духом капитализма», который процветает в эстетических формах оправдания капитализма, основанных на вдохновении и творчестве? [Diken, Laustsen 2002: 350].

В итоге авторы приходят к выводу, что «Бойцовский клуб» «вряд ли является “антиинституциональным” ответом современному капитализму, равно как творчество, перверсия или трансгрессия сегодня необязательно являются освободительными» [Ibid.: 360]. Философ Славой Жижек, прочитав цитируемую статью еще в рукописи, рукоплескал выводам авторов, настаивая, что «Бойцовский клуб» не разрушает капиталистическую систему, а всего лишь показывает изнанку обычного субъекта капитализма. «В соответствии с позднекапиталистическим глобальным овеществлением “Бойцовский клуб” предлагает в качестве “основанного на переживании товара” саму попытку взорвать вселенную товаров: вместо конкретной политической практики мы получаем вспышку насилия» [Жижек

2003: 113]¹. Кажется, что подобная точка зрения уводит нас от оригинального взгляда на капитализм в книге и ее экранизации.

Оригинальным же в этом продукте является то, что основатель клуба, а затем проекта стал побочным продуктом работы капитализма, а не участники клуба и исполнители проекта. Искусствовед Джонатан Крари в книге «24/7: поздний капитализм и цели сна» отмечает, что задача капитализма — лишить человека сна, чтобы тот потреблял как можно больше. Преследуя цель получать как можно больше прибыли, капитализм изобретает таблетки, которые не позволяют людям заснуть, чтобы удерживать внимание потребителей круглосуточно [Стару 2013]. Герой «Бойцовского клуба» не принимает таблетки, но не может заснуть, так как одержим благоустройством своей квартиры в кондоминиуме. Сперва ночные приступы потребления («еще чуть-чуть и нечего желать») персонажа, далее хроническая бессонница, организация подпольных драк и в итоге террористической группы становятся побочным результатом капитализма 24/7. Таким образом, новаторство Чака Паланика и создателей фильма состояло не в том, будто они хотели и не смогли предложить адекватный протест против капитализма, а в том, что писатель хотя и художественным языком, но описал новые принципы динамики капитализма — колонизацию всего человеческого опыта, включая сон.

50

Дэвид Харви был настолько проницательным, что сумел предсказать динамику капитала на несколько десятилетий вперед. В книгах 2000-го и 2005 года «Пространства надежды» и «Краткая история неолиберализма» [Harvey 2000; Харви 2007] он не отказывался от идей, высказанных в «Состоянии постмодерна». Решение, найденное посредством гибкого накопления, было временным, и капитализму нужно было дальше и дальше распространяться географически. Уже к концу 1990-х все исследователи забыли про постмодерн и стали изучать глобализацию, что на самом деле отражало лишь тренды в научной моде и никак не умаляло достоинства философии Джеймисона, который сам переключился на другие темы. Проблема в том, что Харви уже в работе 1989 года описал глобализацию и неолиберализм, используя сегодня устаревший термин «постмодерн», чем и смутил некоторых исследователей. Однако в то время, как одни авторы теоретизировали глобализацию, Харви [Harvey 2003] выбрал другой термин — «новый империализм», пото-

1 Русское издание «книги» Жижека представляет собой перевод его предисловия и послесловия к англоязычному сборнику текстов Ленина. По обыкновению, Жижек говорит не только про Ленина, но и много о чем еще, включая фильм «Бойцовский клуб».

му что, как отмечает теоретик медиа Кристиан Фукс [Fuchs 2020: 273, 274], коннотации этого понятия куда более точные и адекватные для марксистского анализа темы.

Некоторая — отнюдь не роковая, но все же — уязвимость теории Харви заключалась в его изначальной специализации: он был географом, мыслил в категориях пространства и вряд ли допускал, что капитал может также распространиться и на «внутреннее пространство». Мы помним его утверждение, что траекторию капитала сложно предсказать. В 1989 году еще не было окончательно ясно, что капитал займется захватом времени, предназначенного для сна. В 2019 году Роберт Хассан, признав теорию Харви, озвученную в «Состоянии постмодерна», высокоэвристичной, решил дополнить ее новым измерением.

В книге «Состояния диджитальности»¹, Хассан в том числе пишет про экономику цифровых технологий. Именно здесь для него оказываются важны идеи Харви о пространственно-временном сжатии и гибком накоплении. В пятой главе работы Хассан говорит, что пространственно-временное сжатие приобретает кардинально новые черты благодаря «цифровой обработке» и предложил концепцию внешней и внутренней глобализации. «Внешняя глобализация» — это процессы колонизации физического пространства планеты рынками, производством, поиском сырья и т.д. «Внешний» аспект глобализации уперся в пространственные ограничения как раз к 1990-м годам, когда экономика стран БРИК влилась в глобальный капитализм. Поэтому то, что Харви называл гибким накоплением, в ситуации XXI века распространялось на те сферы опыта, про которые Харви не писал. Так, «гибкое накопление» стало куда более мощным инструментом капитала, чем полагал сам Харви. Это выражается в повсеместной коммодификации, которая посредством создания безграничного виртуального пространства способна колонизировать почти все регистры жизни в процессе «внутренней глобализации». Капитал проникает в новые области существования и обеспечивает людям коллективную зависимость от цифровых технологий, которые облегчают, соединяют и расширяют глобальную дигитальную экономику [Hassan 2020: 97-128].

Правда в том, что, вероятно, «внутренняя глобализация» была возможна и до цифровых технологий, и период 1990-х годов мы могли бы считать переходным, когда гибкое уже накопление рас-

1 В оригинале «Condition of Digitality»: в названии содержится отсылка к книге Дэвида Харви «Состояние постмодерна», оригинальное заглавие которой «Condition of Postmodernity».

пространялось на внутреннюю жизнь. На это указывают различные теоретики общества и культуры. Израильский социолог Ева Иллуз стала исследовать, как капитализм колонизирует американскую любовь XX века. В книге «Потребляя романтическую утопию: любовь и культурные противоречия капитализма»¹ [Ilouz 1997] она попыталась «разработать стратегии, которые могли бы уловить плотное переплетение повседневной жизни с медиатекстами», и показать, что современные романтические клише восходят к рекламе и образам медиа вообще; поп-культура служит источником представлений о любви. Об этом механизме заимствования представлений Иллуз говорит в главе с характерным названием «Романтическое состояние постмодерна», потому что, как считает социолог, именно в постмодерне образы оказываются важнее реальной жизни [Ibid.: 172-181] (как видим постмодернизм во второй половине 1990-х для некоторых социологов типа Иллуз все еще был эвристическим термином). Этот феномен Иллуз называет «романтической утопией», укоренившейся в потребительском капитализме.

52 Именно про капитализм Иллуз в этой книге говорила мало, хотя и использовала термин «поздний капитализм», часто отождествляемый, по ее словам, с понятием «продвинутый капитализм» [Ibid.: 12]. Непосредственно к концептуализации капитализма она вернулась в книге «Холодная близость: становление эмоционального капитализма» [Ilouz 2007]. Иллуз указывала, что исследование эмоций обнаруживает, что традиционное разделение на якобы неэмоциональную публичную и частную сферы (традиционное место для эмоций) начинает растворяться, обнаруживая новый принцип социальной организации капитализма. Например, частное «я» в интернете проявляет себя публично и фактически создает «публичное эмоциональное я», одновременно подчиняясь дискурсу и ценностям экономической сферы. Поэтому эмоциональный капитализм — это культура, в которой эмоциональные практики и экономические дискурсы взаимно обусловлены. В такой культуре аффект становится важным аспектом экономического поведения, и эмоциональная жизнь развивается в логике экономических отношений.

1 Концепция «эмоционального капитализма» развивалась одновременно с концепцией «когнитивного капитализма», в основу которого были положены знания, а не физический труд. Некоторые авторы пытаются осмыслить переход от «когнитивного капитализма» к «эмоциональному капитализму» как к следующему этапу капитализации человеческого опыта. См. [Бариле 2015].

В недавней книге «Конец любви: социология негативных отношений» Иллуз [Illouz 2019] уточняет терминологию, называя эмоциональный капитализм «объемным» (scopic capitalism). Последний в случаях завершения любовных отношений играет большое значение, так как разрыв социальных связей становится результатом отказа от обязательств, в соответствии с которыми из «делки» отношений можно выйти в любой момент, равно как и изменить цены, устроить торги и т.д.

Но вернемся в 2000 год к внутренней глобализации. Уже тогда для многих исследователей и публичных интеллектуалов было очевидно, что возникает новая экономика, и капитализм распространяется на все сферы человеческого опыта. Джереми Рифкин [Rifkin 2000] в книге «Эпоха доступа: новая культура гиперкапитализма, в которой вся жизнь — это оплачиваемый опыт» попытался показать, как начинала разрушаться традиционная рыночная система. Несмотря на то что в заглавии работы вынесен термин «гиперкапитализм», Рифкин работает с концептом «культурного капитализма». Последний означает, что в новой ситуации потребления и овеществления товар как реальный референт и его означающее меняются местами. Теперь люди покупают продукты не потому, что нуждаются именно в этих вещах, а потому что товары являются символами чего-то большего. Например, яблоко, продающееся как «экологически чистое», является символом здорового образа жизни. В результате «в экономике начинает преобладать культурное производство, товары все чаще приобретают качества бутафории. Они становятся простыми платформами или площадками, вокруг которых выстраиваются культурные значения. Они теряют свою материальную значимость и получают символическую. Все меньше они становятся вещами и все больше — инструментами, помогающими облегчить получение жизненных переживаний» [Ibid.: 173]. Славой Жижек согласен с этим диагнозом, и когда он упоминал, что «Бойцовский клуб» является «основанном на переживании товаром», то имел в виду, конечно, концепцию Рифкина. В той же книге Жижек [2003: 161] отмечает, что мы в самом деле теперь покупаем не вещи, а свою жизнь. Жижеку не достает в книге Рифкина того, что последний, рассуждая о киберовеществлении 20% человечества, забывает об оставшихся 80%. С точки зрения Жижека, разница между «выдающейся первой частью его книги» (анализ «новой экономики») и «регрессом» (то, что Рифкин не учитывает тех, кто находится на обочине «новой экономики») к постмодернистскому жаргону во второй очевидна [Там же: 168].

На эту же слабость концепции Рифкина обращает внимание британский социальный теоретик и исследователь культуры Джим МакГиган, автор концепции «клевого капитализма» (cool

capitalism). МакГиган пишет, что «культурный капитализм» не существует в вакууме киберпространства и наших переживаний, потому что у капитализма существует также и институциональное измерение. Материальное производство важно. Даже социолог Мануэль Кастельс [2000: 104], возвестив о возникновении глобальной информационной экономики и информационном капитализме, заметил, что подобная экономика является подмножеством экономики индустриальной. Между тем, как и Жижек, МакГиган восхищается рифкинским анализом технологий, информации и умственного труда, но также показывает и обратную сторону индустрии новых технологий: круглосуточную эксплуатацию рабочих глобального Юга, зарплатный фонд которых составляет 1-2% от стоимости производимой ими техники. Одни страдают от нищеты, пока другие, замороженные рекламой «клевых» товаров, неистово потребляют технику продукции Apple [McGuigan 2009].

2001-....: ограничения цифрового капитализма

54

Многое из того, на что пронизательно обращает внимание Джим МакГиган, было сказано в символическом для нашего повествования 2001 году в статье «Nintendo-капитализм: ограждения и инсургенты, виртуальное и земное» [Dyer-Witherford 2001]. Текст написан левым теоретиком новых медиа Ником Дайером-Уитфордом, который уже в 1999 году показал, как информационная эпоха, якобы далекая от исторического конфликта между капиталом и трудом, стала их последним полем битвы [Dyer-Witherford 1999]. Ключевым понятием, используемым в рамках анализа цифрового капитализма, в 2001 году для Дайера-Уитфорда было огораживание, которое представляет собой лишение глобальным рынком людей собственности, экспроприацию и ограждение в экономических, социальных и психологических регистрах. В данном случае «Nintendo-капитализм» — не столько концепция, сколько анализ отдельного кейса работы капитализма на примере компании Nintendo.

Первый аспект проблемы касается объединения умов и воображения в информационных пространствах, где доминируют медиа-корпорации. Дайер-Уитфорд ссылается на британского теоретика культуры Рэймонда Уильямса, указавшего, что слова «общественное достояние» (commons) и «коммуникация» (communication) имеют единый корень. Захват ранним капитализмом общих земель может служить метафорой для описания постоянно расширяющейся сферы влияния корпоративных медиа. Интернет, когда-то считавшийся открытой площадкой для свободного обмена информацией,

в итоге превратился в пространство для коммерции. Поэтому многие авторы использовали образ огораживания для описания, каким образом сейчас развивается капитал на «цифровых территориях», в которых капитал увидел новый рубеж накопления. Иллюстрируя эту динамику, Дайер-Уитфорд выбирает Nintendo как ведущую компанию в производстве видеоигр и как одного из самых крупных, быстро развивающихся и технически продвинутых представителей капиталистического развлекательного комплекса.

При этом в отличие от большинства других авторов, теоретизирующих виды нового капитализма (культурный, эмоциональный и т.д.), Дайер-Уитфорд отмечает, «когда мы смотрим на новые захваты киберпространства и медиа, мы никогда не должны забывать, что так называемые “старые” захваты не прекращались. “Глобализацию” можно рассматривать как механизм, который усиливает и расширяет “первоначальное накопление”, возникшее на рассвете капитализма» [Dyer-Witherford 2001: 966]. Следовательно, капитализация киберпространства должна анализироваться вместе со вторым аспектом проблемы — тем, как трудятся рабочие на фабриках в новых промышленных зонах планеты. Сам автор пишет конкретно о мексиканском сборочном заводе (макиладоре), управляемом субподрядчиком Nintendo компанией Maxi Switch. «Это одна из центральных областей, где десятилетнее разрушение докапиталистического крестьянского сельского хозяйства создало рабочую силу для возобновления и многонациональной эксплуатации в том, что Девон Пена называет “постмодернистскими сатанинскими мельницами” глобализованного капитала» [Ibid.: 966].

Казалось бы, видеоигры и фабрики — полярные сферы. Первые относятся к виртуальному/нематериальному опыту, тогда как производство приставок является материальным. В игры играют на технологически развитом Западе, но собирают приставки на Юге. За этим видимым разделением стоит прочная связь: «Виртуальные игроки и рабочие на фабрике взаимозависимы» и находятся на противоположных концах цепочки создания стоимости транснационального капитала. Главная характеристика информационного капитала в целом и индустрии видеоигр в частности — то, что у всех игровых систем, консолей и компьютеров есть общий компонент с другими областями «цифровой экономики» — микрочипы, производство которых передано на аутсорсинг [Ibid.: 982]. Создание высокотехнологичной отрасли потребовало от капитала набора новой квалифицированной рабочей силы, для управления которой требуются методы, отличающиеся от традиционной модели тейлоризма-фордизма.

При этом одной из основных проблем «новой экономики» является то, что по сравнению с огромным количеством низкооплачи-

ваемых услуг она создает относительно мало рабочих мест. К 2001 году Nintendo избавилась от большинства рабочих на производстве, передав его на аутсорсинг, и большую часть оборудования и программные картриджи стали собирать субподрядчики [Ibid.: 983]. И хотя за разработку и дизайн видеоигр отвечают мужчины (на преуспевающем Западе), на фабриках в Мексике трудятся преимущественно женщины. Таким образом, за видеоиграми, этим образцом «новой экономики», тянется шлейф отчуждения и эксплуатации. Фактически, все это — анализ, соответствующий логике процессов 1970-х годов, описанных Дэвидом Харви. Однако для Дайера-Уитфорда [Dyer-Witherford 2009] при том, что он мельком обращался к «Состоянию постмодерна» Харви в «Кибер-Марксе», более ценной оказалась во многом вторичная концепция Майкла Хардта и Антонио Негри.

С тех пор появилось огромное число концепций капитализма, касающихся самых разных аспектов человеческого опыта. Среди них те, что могут быть отнесены к «внутренней глобализации» Роберта Хассана, стоит отметить «семиокапитализм», «вычислительный капитализм», «капитализм больших данных», «нейрокапитализм», «надзорный капитализм» и др. Рассмотрим вкратце эти концепции в хронологическом порядке, чтобы увидеть, как авторы новых версий капитализма, увлекаясь анализом цифровизации, упускают из внимания анализ никуда не исчезнувшего «внешнего капитализма», а главное — финансиализацию.

Термин «семиокапитализм» (semiocapitalism) ввел левый социальный теоретик и активист Франко «Бифо» Берарди. Как ясно из названия, Берарди экстраполирует выводы семиотики на сферу экономики. Берарди определяет семиокапитализм так: «это новый режим, характеризующийся слиянием медиа и капитала» [Ibid.: 18]. Этот режим возникает, когда информационные технологии полностью интегрируют лингвистический труд, и происходит валоризация капитала. Поскольку сам язык включает в себя экономические правила конкуренции, дефицита и перепроизводства, экономика становится менее стабильной, ведь повышение стоимости зависит от языка. Последствия семиотического перепроизводства лежат не только в области экономики, но и в психике, потому что язык оказывает влияние на психосферу [Berardi 2009: 149-159]. «Семиокапитал, по сути, связан не с производством материальных благ, а с производством психической стимуляции» [Ibid.: 45].

Автор концепции «вычислительного капитализма» (computational capitalism) — критик и исследователь медиа Джонатан Беллер. Надо сказать, что Беллер использует вычислительный капитализм как синоним «расистского капитализма» (racial capitalism) [Beller 2017: 10], также утверждая, что вычислительный капитализм выступает

синтезом расистского капитализма и информатики. В более живописных и экспрессивных выражениях Беллер воспроизводит то, что было сказано Ником Дайером-Уитфордом: «Цифровая культура построена на материальных и эпистемологических формах расового капитализма, колониализма, империализма и перманентной войны. Это насилие буквально запечатлено в архитектуре машин, на телах и жизнях всех, особенно жителей глобального Юга и все в большей степени остальных» [Beller 2017: 2]. Беллер, следуя моде на политкорректность, уверяет, что доминирующие технологии следует рассматривать как «расовые образования» и «гендерные образования», а также как программы капитализации. Так что «вычислительный капитализм означает не только капитализм как компьютер или просто капитализм, который функционирует с помощью цифрового компьютера, но капитализм как программу накопления и уничтожения с цифровой поддержкой; капитализм как развертывание и интенсивное развитие алгоритмов неравенства» [Ibid.: 10].

Сара Майерс Уэст, научный сотрудник «AI Now Institute» Университета Нью-Йорка, предложила концепцию «капитализма больших данных» (data capitalism). Ссылаясь на концепцию надзорного капитализма Шошанны Зубофф [Zuboff 2019], Уэст пишет, что пытается описать путь коммерческого развития технологий надзора, она определяет капитализм больших данных как систему, в которой превращение данных пользователей в товар позволяет перераспределить власть в информационную эпоху. Используя термин «капитализм больших данных», она описывает «последствия перехода от модели e-commerce, основанной на продаже товаров в интернете, к модели рекламы, основанной на продаже аудитории, а точнее, на продаже индивидуальных поведенческих профилей, привязанных к пользовательским данным [West 2017: 23]. Но если у Зубофф сырьем является «поведенческий излишек», то Уэст показывает, как капитал использует в своих интересах «цифровой след». Например, это касается политики использования реальных имен на Facebook. Когда пользователь указывает реальные данные, социальная сеть может связать их с его действиями на Facebook и предлагать более точную рекламу в зависимости от его покупок [Ibid.: 34, 35].

Итальянский IT-инженер, программист и независимый исследователь Джорджио Грициоти, предлагая термин «биокогнитивный капитализм», хотя его книга и называется «Нейрокапитализм», не так уж и много прибавляет ко всем этим концепциям. Автор рассказывает, как «биокогнитивный капитализм пытается получить доход от информации о поведении, эмоциях и жизни просьюмера в целом» [Grizioti 2019: 61]. Грициоти благоразумно

отмечает, что промышленное производство, хотя и потеряло свою центральную роль в экономике, никуда не исчезло. Поэтому он сравнивает жизнь двух эпох: «с одной стороны, образ жизни индустриального капитализма, характеризуемого принадлежностью к месту, а с другой — современного капитализма, характеризующегося миграцией и кочевничеством, где информационно-коммуникационные технологии довели скорость гипермедиаических связей до материи» [Ibid.: 17]. Предисловие к книге написала Тициана Терранова — активистка и пионер в осмыслении влияния новых технологий на общество. Она отмечает, что книга Гриццотти изобилует новыми концептами (биогипермедиа, когнитивная аристократия, биокогнитивный капитализм, реальное подчинение и т.д.) [Тегганова 2019: 5]. Изобретение концептов — важная философская работа, но иногда обилие новых слов содержательно мало прибавляют к тому, что было известно ранее, т.е. фактически не справляются с «описанием реальности».

58

Итак, приведены некоторые из имеющихся в актуальной социальной теории концепций «нового капитализма». Казалось бы, все теоретики изучают распространение капиталистической логики на совершенно новые сферы человеческого опыта, но на деле концепции «нового» капитализма оказываются ограниченными, причем именно в силу той оптики, которую выбирают сами авторы (многообразии цифровой сферы), чтобы сказать что-то новое про капитализм. Создавая какофонию капитализмов, авторы множат сущности, часто объясняя известные феномены хуже, чем это делали более ранние концепции. Между тем давайте ответим на вопрос, насколько радикально изменился капитализм, который уже тогда получил приставку «техно», с 1989 года, даты, которую мы обозначили как символическую.

Заключение

Напомним, что обе книги, с которых мы начали повествование, вышли в 1989 году. За три года до этого вышла работа «Казино-капитализм» британской исследовательницы международных отношений Сьюзен Стрендж [Strange 1986]. С точки зрения Стрендж, международные финансовые рынки, которые становились могущественнее национальных правительств, фактически превратились в неуправляемое казино, чем объяснялись последующие финансовые кризисы. Термин как эвристический концепт активно используют в актуальных исследованиях [Sinn 2010]. В совсем новой книге экономист Марианна Маццукато отмечает, что финансовая безопасность (в смысле управления деньгами), конечно, очень важна, но добавляет, что в казино-капитализме всего лишь перераспре-

деляются доходы из других областей и ничего не добавляется. Такой казино-капитализм, считает Маццукато [2021: 233], невозможно реформировать.

Литературовед Роберт Талли-младший в своей работе «Утопия в эпоху глобализации» замечает: «Возможно, самой печально известной, но вместе с тем малоизученной характеристикой экономической системы в эпоху глобализации является усиление роли финансов. Там, где на других этапах капитализма доминировало производство или обращение товаров, в нынешнем состоянии преобладают финансы как таковые» [Tally 2013: 77]. Талли-младший ссылается на книгу «Капитализм с деривативами» Дика Брайдана и Майкла Рафферти, которые утверждают, что деривативы полностью изменили капитализм, сделав его «более динамичным и более хрупким; более сложным и более интегрированным» [Byran, Rafferty 2006]. Другие два автора Эдвард ЛиПума и Бенджамин Ли, на которых также опирается Талли-младший, в работе «Финансовые деривативы и глобализация риска» отмечают, что деривативы — не просто инструмент, используемый на рынках, но и форма, которая может трансформировать сами рынки и оказывать влияние, выходящее за пределы товарного производства [LiPuma, Lee 2004]. Таким образом, ошеломляющий рост мирового рынка деривативов изменил сам капитализм.

59

В 1989 году Дэвид Харви [2021: 529] использовал понятие «казино-капитализм», когда в ситуации постмодерна описывал возможности построения личной карьеры для единиц, что на деле оборачивалось эпидемией «бездомности, отчуждения и обнищания, поглотившей многие крупнейшие города». Дело не в том, что он использовал этот термин, но в том, что в отличие от более поздних концепций «цифрового капитализма» он учитывал финансовализацию капитализма. «Надзорный капитализм» или «капитализм больших данных» в отличие от финансового кризиса можно запросто пересидеть в интернете. При этом исследователи, обратившие внимание на роль фиктивного капитала в глобализации в середине 2000-х, пришли к этим выводам сравнительно поздно, решив, что капитализм с 1960-х все же изменился, потому что финансовый капитал распространился слишком широко. Сам Талли-младший осторожен в словах и, не предлагая концепций, лишь однажды упоминает о «реально существующем капитализме».

Правда, однако, в том, что в этих выводах нет ничего нового. Обо всем этом рассказал Дэвид Харви еще в 1989 году, и все новые технологии даже тогда, когда они работают в рамках «внутренней глобализации», по-прежнему соответствуют логике гибкого накопления капитала в глобальном масштабе, как показал Дайер-Уитфорд. Что значат все эти капитализмы (семио-, вычислительный, больших

данных, биокогнитивный, коммуникативный, надзорный и т.д.) в сравнении с казино-капитализмом? Возможно, что много, но также вероятно и то, что в конце концов все они оказываются подчинены ему. Ник Срничек [2019: 102], предлагая концепцию «платформенного капитализма», соглашается, что сегодняшние многочисленные аргументы о переходе к новому способу производства несостоятельны, потому что «платформы предлагают новые формы конкуренции и контроля, но в конечном счете главным мерилом успеха остается прибыльность». Похоже, несмотря на популярность «цифрового капитализма» в современных дискуссиях о «мутации» капитализма, нам рано забывать о глобальном (финансовом) капитале, работу которого одним из первых описал Харви в 1989 году. Все изменилось, но ничего не поменялось.

Библиография / References

Афанасов Н.Б. (2019) В поисках утраченной современности. *Социологическое обозрение*, 18 (1): 256-265.

— Afanasov N.B. (2019) In Search of Lost Modernity. *Russian Sociological Review*, 1 (18): 256-265. — in Russ.

Бариле Н. (2015) Брендинг «я» в эпоху эмоционального капитализма. Эксплуатация «просьюмеров» от риторики double-bind к гегемонии исповеди. *Логос*, 3 (105): 138-161.

— Barile N. (2015) Branding the Self in the Age of Emotional Capitalism. The Exploitation of Prosumers, from the Rhetoric of “Double Bind” to the Hegemony of Confession. *Logos*, 3(105): 138-161. — in Russ.

Бреннер Р. (2014) *Экономика глобальной турбулентности: развитые капиталистические экономики в период от долгого бума до долгого спада, 1945–2005*, М.: ИД ВШЭ.

— Brenner R. (2014) *The Economics of Global Turbulence. The Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945-2005*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Жижек С. (2003) *13 опытов о Ленине*, М.: Ад Маргинем.

— Žižek S. (2003) *Revolution at the Gates: Žižek on Lenin, the 1917 Writings*, Moscow: Ad Marginem. — in Russ.

Кастельс М. (2000) *Информационная эпоха: экономика, общество и культура*, М.: ИД ВШЭ.

— Castells M. (2000) *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Маццукато М. (2021) *Ценность всех вещей: Создание и изъятие в мировой экономике*, М.: ИД ВШЭ.

— Mazzucato M. (2021) *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*. Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Морозов А.В. (2019) Навигация по акселерационизму: от некапитализма к посткапитализму через платформы (рец. на: Срничек Н. Капитализм платформ). *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 2: 226-242.

— Morozov A.V. (2019) Navigating Accelerationism: from non-Capitalism to Postcapitalism via Platforms. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 2: 226-242. — in Russ.

Паланик Ч. (2005) *Бойцовский клуб. Удушье. Колыбельная*, М.: АСТ.

— Palahniuk Ch. (2005) *Fight Club. Choke. Lullaby*, Moscow: AST. — in Russ.

Ритцер Д. (2002) *Современные социологические теории*, СПб.: Питер.

— Ritzer G. (2002) *Sociological Theory*, Saint Petersburg: Piter. — in Russ.

Ритцер Д. (2011) *Макдональдизация общества 5*, М.: Праксис.

— Ritzer G. (2011) *The McDonaldization of Society 5*, Moscow: Praxis. — in Russ.

Сафронов Э. (2020) Концепция коммуникативного капитализма Джоди Дин. *Знание. Понимание. Умение*, 1: 236-247.

— Safronov E. (2020) Jodi Dean's Concept of Communicative Capitalism. *Znanie. Poniimanie. Umenie*, 1: 236-247. — in Russ.

Срничек Н. (2019) *Капитализм платформ*, М.: ИД ВШЭ.

— Srnicek N. (2019) *Platform Capitalism*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Харви Д. (2007) *Краткая история неолиберализма*, М.: Поколение.

— Harvey D. (2007) *A Brief History of Neoliberalism*, Moscow: Pokolenie. — in Russ.

Харви Д. (2021) *Состояние постмодерна: Исследование истоков культурных изменений*, М.: ИД ВШЭ.

— Harvey D. (2021) *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Beller J. (2017) *The Message is Murder: Substrates of Computational Capital*, London: Pluto Press.

Berardi F. (2009) *Precarious Rhapsody. Semiocapitalism and the pathologies of the post-alpha generation*, London: Minor Compositions.

Bryan D., Rafferty M. (2006) *Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital, and Class*, New York: Palgrave Macmillan.

Callinicos A. (1985) Postmodernism, Post-Structuralism, Post-Marxism. *Theory, Culture and Society*, 3 (2): 85-107.

Crary J. (2013) *24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep*, London; New York: Verso.

Diken B., Laustsen C.B. (2002) Enjoy Your Fight! — “Fight Club” as a Symptom of the Network Society. *Cultural Value*, 6 (4): 349-367.

Dyer-Witheford N. (1999) *Cyber-Marx. Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism*, Illinois: University of Illinois Press.

Dyer-Witheford N. (2001) Nintendo Capitalism: Enclosures and Insurgencies, Virtual and Terrestrial. *Canadian Journal of Development Studies*, 4 (2): 965-997.

- Dyer-Witheford N., De Peuter G. (2009) *Games of Empire: Global Capitalism and Video Games*, Minneapolis; London: University of Minnesota Press.
- Fuchs C. (2020) *Communication and Capitalism: A Critical Theory*, London: University of Westminster Press.
- Grizioti G. (2019) *Neurocapitalism*, London: Minor Compositions.
- Harvey D. (2000) *Spaces of Hope*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Harvey D. (2003) *The New Imperialism*, Oxford: Oxford University Press.
- Hassan R. (2020) *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life*, London: University of Westminster Press.
- Illouz E. (2007) *Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism*, Cambridge: Polity Press.
- Illouz E. (1997) *Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism*, Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press.
- Illouz E. (2019) *The End of Love: A Sociology of Negative Relations*, Oxford: Oxford University Press.
- Kellner D.M. (1989) *Critical Theory, Marxism and Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- Kellner D. (ed.) (1989a) *Postmodernism/Jameson/Critique*, Washington, DC: Maisonneuve Press, 1989.
- Lash S., Urry J. (1987) *The End of Organized Capitalism*, Cambridge; Oxford: Polity Press and Blackwell.
- Lee B., LiPuma E. (2004) *Financial Derivatives and the Culture of Risk*, Durham: Duke University Press.
- McGuigan J. (2009) *Cool Capitalism*, London; New York: Pluto Press.
- Rifkin J. (2000) *The Age of Access: How the Shift from Ownership to Access is Transforming Capitalism*, London: Penguin.
- Ritzer G. (2010) *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill.
- Sinn H.-W. (2010) *Casino Capitalism: How the Financial Crisis Came About and What Needs to be Done Now*, Oxford: Oxford University Press.
- Strange S. (1986) *Casino Capitalism*, New York: Basil Blackwell.
- Tally Jr. R.T. (2013) *Utopia in the Age of Globalization. Space, Representation, and the World System*, New York: Palgrave Macmillan US.
- Terranova T. (2019) Foreword. Grizioti G. *Neurocapitalism*, London: Minor Compositions.
- Wegner P.E. (2009) *Life between Two Deaths, 1989–2001: U. S. Culture in the Long Nineties*, Durham: Duke University Press.
- West S.M. (2017) Data Capitalism: Redefining the Logics of Surveillance and Privacy. *Business and Society*, 58 (1): 20-41.
- Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism*, New York: Public Affairs.

Рекомендация для цитирования:

Павлов А.В. (2021) Что нового в новом капитализме? *Социология власти*, 33 (1): 39-63.

For citations:

Pavlov A.V. (2021) What is New in New Capitalism? *Sociology of Power*, 33 (1):39-63.

Поступила в редакцию: 21.01.2021; принята в печать: 22.02.2021

Received: 21.01.2021; Accepted for publication: 22.02.2021

JEFFREY T. NEALON

Penn State University, USA

ORCID: 0000-0001-9794-6924

Biopolitics, Marxism and Piketty's *Capital in the Twenty-First Century*

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-64-83

Abstract:

This essay seeks to supplement Thomas Piketty's work in "Capital in the Twenty-First Century" by exploring connections between Piketty and Antonio Negri's post-Marxist work. Piketty tries to excise consideration of so called "human capital" from his analysis, whereas Negri puts such human, creative or what he calls "biopolitical" considerations front and center in his analysis of contemporary capitalism, opening up fresh points of intervention that can help us to understand where capitalism is headed in the future. As the nature of capital continues to mutate today, so must our responses to it. In Negri's biopolitical world, performative subjectivity or human capital finds its charge not through making products and commodities, but in the ongoing project of making ourselves. So aesthetics and the concerns of the humanities are not merely epiphenomenal, reflective, representational, or superstructural discourses (as Piketty understands them); but the arts and humanities — the powers of creative everyday subjectivity — remain a crucial linchpin for understanding the workings of (and against) capital in the twenty-first century.

Keywords: human capital, contemporary capitalism, Thomas Piketty, Antonio Negri, biopolitics

"Throughout this book, when I speak of 'capital,' without further qualification, I always exclude what economists often call (unfortunately, to my mind) 'human capital,' which consists of an individual's labor power, skills, training and abilities."

Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*

"The philosophers of *rue d'Ulm* at the École Normale Supérieure (ENS) in the 1950s and 1960s ... faced the problem

Jeffrey T. Nealon — Edwin Erle Sparks Professor of English and Philosophy, Penn State University, USA. Research interests: Marxism, biopolitics, Foucault, theory and cultural studies, contemporary literature. E-mail: jxn8@psu.edu
Джеффри Т. Нилон — профессор английского языка и философии Университета штата Пенсильвания, США. Научные интересы: марксизм, биополитика, Фуко, cultural studies, современная литература. E-mail: jxn8@psu.edu

of reproduction by tracing the relations of production back to a series of anthropological equivalents, mainly the claim that *everything, in society, is productive.*"

Antonio Negri, "To the Origins of Biopolitics"

There's a lot for humanities scholars to like about Thomas Piketty's *Capital in the Twenty-First Century*. First of all, Piketty actually takes Karl Marx seriously, which is close to treason for most mainstream thinkers commenting on capitalism and its discontents today, inside or outside the academy. Precious few economists would be caught dead furthering the notion that "the very high level of private wealth that has been attained since the 1980s and 1990s in the wealthy countries of Europe and in Japan ... directly reflects the Marxian logic" [Piketty 2014: 10-11]¹ about class inequity, accumulation and finance capital that was already laid out for us in the C19.

In telescopic shorthand, Piketty's primary formula for understanding capitalism's history is quite simple: capitalism is an economic regime that, absent external intervention by a global war or other large-scale disaster, is defined by the formula $r > g$ (where the return on capital investment " r " is greater than the rate of increase in the output of goods and incomes " g "). As he explains, "When the rate of return on capital exceeds the rate of growth of output and income, as it did in the C19 and seems quite likely to do again in the twenty-first, capitalism automatically generates arbitrary and unstable inequalities that radically undermine the meritocratic values on which democratic societies are based" (CT 1). In short, Piketty shows that capitalism's baseline formula " $r > g$ implies that wealth accumulated in the past [and invested] grows more rapidly than output and wages" (CT 571), suggesting in turn that capitalism is less a system characterized by egalitarian, class-mobile possibility (as it may have seemed in capitalism's golden era after World War II in the West), than it is a system that inevitably fosters the increasing power and influence of entrenched old money (as capitalism had functioned for the better part of its history, from the early modern period until the mid-C20). In short, left to its own market devices, Piketty argues that capitalism in the C21 will look more like it did in the C19 than the C20, and as such capitalism going forward will favor political oligarchy rather than the liberal democracy we tend to associate with mid-C20 Euro-American nation-states (a notion of meritocratic consumption capitalism that ideological pundits have, at least since the fall of the Berlin Wall, tended to associate with "freedom" itself).

¹ Page references hereinafter cited in the text with the abbreviation CT.

As Piketty reminds us, without really unpacking the connection, this state of affairs (where big capital inexorably accumulates more capital, with scant “trickle down”) was already foreshadowed for us in Marx’s analysis of credit and finance in *Capital* — where in his own formulaic gambit, Marx explains how capital investment in commodity production (M-C-M’) differs from financial investment, which requires no commodity (C) to be produced in order for invested capital (M) to be transformed into profit (M’). As Marx famously puts it, finance capital’s formula is M-M’ (invested capital M directly begets profit M’, without the intervention of working-class labor power required to manufacture a commodity C). As such, finance-credit capital largely turns its back on Piketty’s “*g*” or the potential for higher rates of growth in the wider economy, and thereby turns away from the concomitant possibilities for income gains by the working class. In short, one could translate Piketty’s $r > g$ formula for capitalism into Marxist terms like this: $M-M' > M-C-M'$. Or in a kind of commonsense shorthand, both Marx and Piketty show us that, when it comes to rates of return, Wall Street > Air Conditioner Factory.

66 However, Piketty’s sideways nods to Marx are hardly the only things to like about this surprising book that comes squarely from within the dismal science of Economics. For any academic who’s ever been on a committee with an arrogant, loudmouth supply-sider, Piketty’s take-downs of the discipline are themselves worth the price of admission. He speaks of economists on both sides of the Atlantic in terms of “their contempt for other disciplines and their absurd claim to greater scientific legitimacy, despite the fact that they know almost nothing about anything” (CT 29). His specific smackdown of North American economists is worth quoting at length:

To put it bluntly, the discipline of economics [in the United States] has yet to get over its childish passion for mathematics and for purely theoretical and often highly ideological speculation, at the expense of historical research and collaboration with the other social sciences. Economists are all too often preoccupied with petty mathematical problems of interest only to themselves. This obsession with mathematics is an easy way of acquiring the appearance of scientificity without having to answer the far more complex questions posed by the world we live in. (CT 29)

Despite such entertaining broadsides against many economists’ “highly ideological” conservative pandering (economists consistently shill for the “scientific” dogma of necessary tax cuts for the wealthy and the inherent evil of government intrusion on the free market), Piketty clearly continues to consider a numbers-based social science thinking as the only brand of thought that can offer us a proper handle on describing the workings of capital in the past and into the C21. Which is at least

partially to say that in both the form and content of Piketty's analysis, any Humanities contributions to the project of understanding capitalism are left largely confined to the aesthetic sphere, narrowly understood as a kind of supplement to social science thinking — specifically through offering representative examples of the existential or personal toll of large-scale changes in economic rationality. For example, Piketty notes the ways in which Balzac's or Jane Austen's novels can show us the fine grains of class stratification in the C19.

In short, while Piketty offers us a clear critique of the worst tendencies in the social sciences, his faith for understanding and responding to the dangers and possibilities of capital in the C21 remains rooted in his calls for a more robust application of those very social science methodologies (bigger data sets, clearer math, less dogma concerning the role of government, fewer simplistic translations of numbers to policies)¹. This is certainly both understandable and highly productive, and I realize that I risk mimicking the know-it-all economist's bluster if I simply feign indignant surprise that there's a lack of philosophical or aesthetic consideration in a book on economics (just as an economist could object that there are no charts, graphs and mathematical formulae in Derrida's work, and thereby he can't be saying anything worthwhile). To be clear, my desire in writing this essay is not to chide Piketty for being an economist (rather than a philosopher or cultural critic), but rather to ask whether some conceptual tools from recent philosophical and cultural theory might enhance, supplement, or even extend his fine-grained analysis of the numbers and their history.

67

Specifically, my question or thought experiment in this essay is simple: what can an examination of biopolitics (a genealogical and conceptual apparatus born in Foucault's work, and finds its most robust

1 This, though, is a faith in social science that I fear is misplaced — for all the pseudo-scientific, ideological mystification that Piketty outlines concerning his home discipline of Economics, and more. For example, in social science fields like Psychology, a recent replication study has shown that over 60% of the published research in the field's most highly respected journals is, to put it bluntly if unkindly, just plain bullshit [<https://www.nature.com/news/over-half-of-psychology-studies-fail-reproducibility-test-1.18248>]. If 61% seems a high rate of shenanigans, note the comment in that article by a Stanford epidemiologist who suggests that if one took into account all work published in Psychology journals, not just the top-tier ones used in this study, “the true replication-failure rate could exceed 80%.” Though I'm pretty sure you could easily replicate published social-science research which shows that studying Economics as a college major makes you a worse person: self-interested, callous, deceitful, uncaring about the needs of others — the core principles of mainstream economic thinking. See <http://www.businessinsider.com/psychology-of-studying-economics-2013-10>

contemporary formulations in the neo-Marxist corners of Humanities disciplines like Philosophy and Literary-Cultural Studies) add to Piketty's big data social science analysis, or how can a consideration of biopolitics cut across his work in some ways that would offer a potentially enriching Humanities foothold within the terms of his work? I'm simply suggesting here that, when it comes to understanding the workings of capital in the C21, methods and concepts born in the Humanities can offer quite a bit to the economic analyses performed by Piketty.

To telegraph the argument, I'd begin by noting that one of the highly provocative upshots of Piketty's work, translated into a Marxian idiom, is that *Capital in the Twenty-First Century* gives us the numbers and the longue-durée analysis to back up the genealogical and social claims about class and worker discontent that autonomist Marxists have been making for decades: namely, that the Fordist compromise of the middle of the C20 in the overdeveloped world was a blip in the development of capitalism, a rare and forced capitulation of the capitalist class to the demands of the workers. As Piketty writes, "In the twentieth century, it took two world wars to wipe away the past and significantly reduce the return on capital, thereby creating the illusion that the fundamental structural contradiction of capitalism ($r > g$) had been overcome" (CT 572). In short, the so-called golden age of capitalism in the C20 was a hiccup in the history of capitalism, a post-war period of widespread economic growth that constituted not an evolution of capitalism into a more democratic and worker-friendly form, but a brief interregnum or respite from the long-term accumulative rules of capitalism. And Piketty is likewise clear that capitalism's un-egalitarian $r > g$ nature is due *not* to market manipulations or imposed externalities of any kind. As he insists, "It is important to note that the fundamental $r > g$ inequality, the main force of divergence in my theory, has nothing to do with any market imperfection. Quite the contrary: the more perfect the capital market (in the economist's sense), the more likely r is to be greater than g " (CT 27).

Along a parallel track to Piketty's analysis, Marxists have long argued that the post-World-War II period in Europe and the United States signaled not the inevitable dawn of a new and more equal distribution of wealth, offering average workers a living wage and retirement stipend in return for their work in saving Western capitalism from the scourge of Fascism in Europe. Rather, the Fordist compromise was a short-lived truce with the working class, a pact that was destined to be rolled back by global neoliberalism once Europe had been rebuilt and the memories of those world wars had waned (by the 1970s, to be exact). Marco Revelli puts it starkly: through the neoliberal revolution of the late C20, "Capital sought to take back — with interest, we could say — what had been won by labor, in terms of income and rights, during the previous cycle

of industry and conflict, in the 'social twentieth century.' [Revelli 2019: 200-201]¹.

As Antonio Negri narrates that history, the golden years of unions and workers' rights led to a centrality of the working class and its labor power in re-transforming Europe from rubble to prosperity, but the capitalist class couldn't abide that acknowledgment of workers' centrality for too long. Negri writes that by the 1970s, "to respond to the threat of workers' centrality, capital decided to bring down the centrality of industry and abandon, or revolutionize, the industrial society that had been both the reason for and the means of its own birth and development. This it did to the extent that it turned itself from industrial into financial capital. What was left of direct production started being "put out" of the factories, processes of "outsourcing" proliferated, and gradually and eventually, the company became computerized and placed under the control of financial capital. Enter *post-Fordism*." [Negri 2016: 48-64]²

As Negri narrates it, what Piketty calls capitalism's natural tendency to "undermine the meritocratic values on which democratic societies are based" was staved off for some part of the C20 only through a forced Fordist compromise between labor power and capital (a *détente* made necessary by the devastations of World War II). And for Negri the remnants of that labor power, in a post-Fordist world, are characterized less by what Foucault calls the "disciplinary" power of the factory (and the Marxist labor theory of value), and more inexorably a kind of "biopower" spread across the surface of everyday life in the late C20 and early C21. (Much more on this below.)

It is, interestingly enough, precisely this biopolitical form of capital — what economists call "human capital" — that Piketty strictly excludes from consideration in his analysis. Any book on *Capital in the Twenty-First Century* begs a simple question about the definition of Piketty's terms, which he takes up like this:

But what is capital? First, throughout this book, when I speak of 'capital,' without further qualification, I always exclude what economists often call (unfortunately, to my mind) 'human capital,' which consists of an individual's labor power, skills, training and abilities. In this book, capital is defined as the sum total of nonhuman assets that can be owned or exchanged on some market. (CT 46)

While Piketty acknowledges that "There is also the idea, widespread among economists, that modern economic growth depends largely on the rise of 'human capital'" (CT 42), he rejects that case entirely, choosing instead to bracket any consideration of human capital in his analysis of

1 Hereafter cited in the text as NP.

2 Page references hereinafter cited in the text with the abbreviation OB.

what capital really is or how it really works. Piketty goes on to enumerate all the things that count as capital for him: “To be clear, although my concept of capital excludes human capital (which cannot be exchanged on any market in nonslave societies), it is not limited to ‘physical’ capital (land, buildings, infrastructure, and other material goods). I include ‘immaterial’ capital such as patents and other intellectual property.... More broadly, many forms of immaterial capital are taken into account by way of the stock market capitalization of corporations. For instance, the stock market value of a company often depends on its reputations and trademarks” (CT 49); and at the end of the day, such immaterial or biopolitical notions of capitalizable innovation, brand loyalty, reputation and confidence are “reflected in the price of the common stock” (CT 49) and thereby obliquely measurable as “real” capital. But human capital itself remains unmeasurable for Piketty — precisely what attracts the attention of someone like Negri.

70

However “clean” this exclusion of human or biopolitical capital may prove to be methodologically (it’s notoriously difficult to place a concrete price or value on interests, skills and capacities, especially of individuals), when Piketty defines capital tout court in this way (as held, priced and tradable assets), he virtually guarantees the truth of his thesis — essentially, that the C20 rise in factory-worker Fordism (the building boom made necessary by the ravages of the two world wars in Europe and the Pacific) contradicted the economic energies of the late robber-baron era in the C19, where the greatest returns were not to be found in the production of goods or services, but in the returns on investment itself. And going forward, if you cut human capital out of the picture (even an old-fashioned labor theory of value version of human capital — where the worker’s only asset is the labor power she can rent to the capitalist), then in the future there seems no real hope for capital to entertain the interests or well-being of the everyday person, other than through the faux-benevolent golden-shower trickle-down generosity of the corporation, the wealthy investor, or the government. None of these deep-pocketed entities will, I expect, be forthcoming in sharing their assets with the vast majority whose economic lives will stagnate under the $r > g$ dictates of capitalism that Piketty presages as coming for us all in the C21.

Hence my interest in looking at what a consideration of human capital or biopower could add to Piketty’s analysis. Following the Derridean training of my youth, it seems to me axiomatic that it’s worth looking at those concepts or practices that a given theory excludes or remains unwilling to deal with — what an analysis sees as a marginal, uninteresting, or parasitic case is oftentimes the skeleton key to understanding the strengths and weaknesses of that theory. If nothing else it would seem to me that one needs, in classic deconstructive fashion, to account for the excluded cases if one wants a robust recent history of economic

activity in the West. In any case, the rise in C20 human capital (everything from the cultural capital made more widely available by the GI Bill to the endless remaking of subjectivity that has become the home terrain of the C21 Culture Industries) would have to be taken into account somehow in Piketty's diagnosis — other than suggesting, as true as it is, that one end of the human capital spectrum (the wealthy, investing top of the capitalist food chain) that has innovated the cellphone, the GPS or robotic technologies has all but ravaged the human capital at the bottom (excising or outsourcing the jobs of the telephone operator, the cab driver or the assembly line worker).

In short, I'm going to want to argue there that the biopower of human capital today saturates not only or even primarily the supply side of the economic situation, but the demand side — through the attention economy necessitated by the rise of cognitive capitalism. Most commentators who want to discuss human capital tend to understand it in terms of the service economy (health care, repair services, information technology), and suggest that it's in the so-called "affective" industries that human capital became central (and measurable economically). And while the service economy is hardly disappearing, I think we only need to look at what robotics did to service jobs like factory worker, bank teller, and travel agent, or what automation is about to do to those employed as truck and taxi drivers (as well as Amazon package handlers), and you can see that the service economy on the production side is not necessarily where the human capital gains or transformative powers are to be found in the near future. In the end, this double-edged sword of biopolitics and/as human capital may offer a bit more hope on the "workers" side of the class struggle, as we're all workers now, involved in the work of performatively sculpting and re-sculpting our identities, and indeed our lives.¹

71

II. Adding Biopolitics to the Mix

The C20 was an era that, to borrow some terminology from Michel Foucault, saw a decisive shift in the individual's relation to the social whole, a shift that Foucault diagnoses as the movement from a society of "discipline" to one of "biopower," a distinction that we can initially translate like this: discipline functions within and depends on a Fordist understanding of factory society (where the individual is understood as a cog within the larger social machine, and thereby has a series of disci-

1 Though they mention Foucault and Negri each only once, this shift within capitalism is also something like the extended thesis of Luc Boltanski and Eve Chiapello in their *The New Spirit of Capitalism* [Boltanski, Chiapello 2018].

plinary roles to fulfill — daughter, student, doctor, patient, tinker, tailor, soldier, spy). Contrast that with the *laissez faire*, neoliberal consumer society in which we presently live (where everyone’s primary job is to become him- or herself, hopefully without external intrusion by the government), and you can see the disciplinary idea of fitting in within a larger social whole (or merely working on the assembly line of the social, for the greater good of all) is now looked upon as dangerous, totalitarian even. In a world where everything is filtered through an individual’s life or lifestyle (rather than through larger disciplinary questions about configuring an optimal social cohesion), biopower has become the dominant logic: everything in a society of biopower gets filtered through the lens of the individual subject.

72 In Foucault’s career, there is a well-known shift between his work on disciplinary institutions and power (culminating in 1975’s *Discipline and Punish*, an exhaustive history of the prison as the central institution of disciplinary power), and his late work on sexuality, wherein he introduces a mutation in modes of modern power: according to Foucault, a new form called biopower (with its primary operating system of sexuality) is born in C19 Europe, and gradually becomes dominant in the C20. Just to begin with the most obvious opening example of this mutation from discipline to biopower, think of the shifts in Western economic production over the past 100 years or so — from a factory economy of discipline (everyone trained to master his or her segment of the mass-production process), to the supposedly creative capitalism of our day, which is all about individual innovation and niche markets (lifestyles, innovation, creativity and identity). Today, the dominant mode of economic production entails producing any given person’s life and lifestyle, not mass-producing identical objects; in fact, niche-market consumption is oftentimes ideally refined to a market of one: “Welcome to amazon.com, Jeffrey. We have some suggestions for you.” Lifestyle purchasing is the primary economic driver in a neoliberal finance economy, and that form of hyper-consumption is dependent on constant biopolitical innovation. (This for example explains why China is relocating masses of its population, around 250 million people, from the rural countryside into pre-fab cities: to unleash the power of the Chinese consumer.)¹

In his lecture courses touching on the concept of biopower (*Society Must Be Defended* and *The Birth of Biopolitics*), Foucault discusses the ways in which an emergent biopower might differ from the disciplinary mode of power (which aims at modifying individual behaviors and is always mediated through institutions). As Foucault explains in his 1975-76 lec-

1 Read about it here: www.nytimes.com/2013/06/16/world/asia/chinas-great-uprooting-moving-250-million-into-cities.html

ture course *Society Must Be Defended*, biopower comprises a new technology of power, but this time it is not disciplinary. This technology of power does not exclude the former, does not exclude disciplinary technology, but it does dovetail into it, integrate it, modify it to some extent, and above all, use it by sort of infiltrating it, embedding itself in existing disciplinary techniques. This new technique does not simply do away with the disciplinary technique, because it exists at a different level, on a different scale, and because it has a different bearing area, and makes use of very different instruments. Unlike discipline, which is addressed to bodies, the new non-disciplinary power is applied not to man-as-body but to the living man, to man-as-living-being [Foucault 2003: 242].

As Foucault insists, this new form of biopolitical power doesn't simply replace discipline, but extends and intensifies the reach and scope of power's effects by freeing them from the disciplinary focus on "man-as-body" through the "exercise" of training carried out within various institutions.

Biopower, one might say, radically expands the scale of power's sway: by moving beyond discipline's "retail" emphasis on training individual bodies at linked institutional sites (family, school, church, army, factory, hospital), biopower enables an additional kind of "wholesale" saturation of power effects, saturating these effects throughout the entire social field. What Foucault calls this "different scale" and much larger "bearing area" for the practices of power make it possible for biopower to produce more continuous effects, because one's whole life (one's identity, sexuality, diet, health) is saturated by power's effects, rather than power relying upon particular training functions carried out in the discontinuous domain of X or Y institution (dealing with health in the clinic, diet at the supermarket and the farm, sexuality in the family and at the nightclub, and so on). Hence biopower works primarily to extend and intensify the reach of power's effects: not everyone has a shared disciplinary or institutional identity (as a soldier, mother, nurse, student, or politician); but everyone does have an investment in biopolitical categories like sexuality, health, or quality of life — our own, as well as our community's.

Discipline forged an enabling link between subjective aptitude and docility: as Foucault concisely puts it in *Discipline and Punish*, the disciplinary body becomes "more obedient as it becomes more useful." [Foucault 1979: 138] For its part, biopower forges an analogous enabling link, but this time between the individual's life and the workings of the socius: one might say we become more "obedient" to neoliberal, biopolitical imperatives the more we become ourselves, insofar as the only thing that we as biopolitical subjects have in common is that we're all individuals, charged with the task of creating and maintaining our lives. And that biopower-saturated task is performed not solely at scattered institutional sites (as it was for discipline), but virtually everywhere, all

the time, across the entirety of your life. That being the case, the major difference between discipline and biopower is that in a biopolitical society, power no longer primarily has what we might call a “mediated” relation that is aimed at confining or rigidly defining individuals (which is to say, power is not primarily doled out through institutional training the as much as it is a question of direct access to one’s life or lifestyle). Foucault describes the biopolitical society as a world “in which the field is left open to fluctuating processes, ... in which action is brought to bear on the rules of the game rather than on the players, and finally in which there is an environmental type of intervention instead of the internal subjection of individuals.” [Foucault 2010: 259-260] The bearing area of disciplinary power is what you can do, and it’s primarily invested in training at a series of institutional sites. Through a kind of intensification of discipline, the bearing area of biopower has morphed into your entire life, and thereby biopower’s relation to any given individual tends to be less mediated by institutional factors, and instead constitutes a more “environmental,” diffuse, engulfing — one might even call it “ambient” — form of power.

74 Which brings us back to Negri’s specifically economic, Marxist version of this biopolitics story, the story of post-Fordist capital that was outsourced from factories in response to worker activism and power in the so-called first world. Recall that for Negri, this shift occurs precisely because of the fact that such a biopolitical lifestyle capitalism (which emerged out of Fordist credit regimes and the increasing necessity of a skilled service workforce) offered too much power to the worker, or the ordinary person, and thereby necessitated the move from a disciplinary capitalism of factory production to a biopolitical capitalism of everyday consumption. As Negri writes, “Here the *biopolitical* entered the scene: biopolitical as life put to work, and therefore as politics mobilized to organize the conditions and control of the social exploitation of all realms of life. As we said in Marxian terms, capital ‘subsumed’ the whole of society” (OB 51). In the biopolitical world of our era, your life is your job and vice versa — no longer can you clock out at the factory and get at least some distance from your job before you return the next day. When your primary job is constantly creating and updating your subjectivity (at work as well as at home), life has been decisively put to work. As Negri writes, once there’s a complete biopolitical subsumption of the *socius*,

There is no longer a realm “outside” production. Whether it critiqued or denied the centrality of workers’ labor, [this] was not an anti-Marxist stance; quite the contrary, because it emphasized the importance of labor understood as a social activity.... Production and reproduction are one, a whole. A refusal, contra the tradition of orthodox Marxism, of any possibility of mediation that is external to the movements, of any

recourse to a dualist model, including the claim to the truth of the Party, thus became possible. (OB 52-3)

For Negri, the total subsumption of everyday life by capital is less a lamentable cage that imprisons the worker and negates the importance of her work, than it is a possibility for the living power of labor (here, re-understood ultimately as the power of subjectivity to remake itself) to be finally brought front and center, rather than merely disappearing into the mediations of factory labor (the finished product of the commodity, as it does in the labor theory of value) or the mediations of the Communist Party (as “representing” the interests of the working class).

As Negri insists, “If there is no ‘outside’ of production, and knowledge, ideology, and the concept are found in the process of reproduction, then the whole of powers is organized autonomously, or rather structurally” (OB 53); and subsequently, the new question becomes, “how to *reestablish subjectivity* and situate it *within* a new framework that was solidly and fully immanent? To this challenge rose Foucault’s thought, which confronted it [the problem of reestablishing subjectivity] by turning the structuralist perspective into a *biopolitical one*” (OB 53). In short, for Negri, the whole of life becomes saturated with the face-off between the “biopolitical” everyday actions of everyone, and the top-down “biopower” deployed by the parasitic, ideological state and corporate apparatuses of capture that are built upon those everyday creative actions (everything from the race-baiting policing tactics of the nation-state — See something, say something! — to the culture industries of celebrity and the ubiquity of advertising, which depend completely upon harvesting creative attention from subjects).

75

In short, the grounds of class contestation shift as the dominant modes of power shift, in Negri’s world, from the primary contestatory site of the factory strike (in the era of Foucaultian discipline) to the surface of each of our everyday lives, our subjectivity itself comprising both the stake and the driver of biopolitical capitalism:

the transition from the “disciplinary society” (“government”) to the so-called [biopolitical] “society of control” (“*governance*”) was being registered. An analysis developed to recognize that, in the society of control, production and resistance are organized into “modes of life.” This operation amounted to a total reversal of the structural field and thus to an articulation of the “field of immanence” as a biopolitical terrain. There is no “outside,” *dehors*; the *bios* is that “inside” wherein each one is entirely enveloped. Resistance thus exemplifies acting in this contradiction, but the contradiction one is immersed in is a biopolitical reality. The collective body lives there because it produces everything, because it works, but most of all because it resists, and in this resistance it configures reality. (OB 55)

Like the transformative power of labor in its day, in a biopolitical field, something like human attention and creativity comes *first* and bestows value, rendering all of us — the disbursed working class that Negri re-dubs the global “multitude” — as the creative and value-generating power of biopolitical capitalism.

III. Attention Deficit

In fact, Jonathan Beller argues that attracting and managing human attention has become *the* hot commodity of the C21, and a quick Google search will concur — as one website puts it straightforwardly, “attention is now the ultimate commodity.” In her article “I Attend, Therefore I Am,” philosopher and cognitive scientist Carolyn Dicey Jennings goes as far as to redefine human subjectivity not in terms of its reasoning or language-using abilities, but as the being capable of paying attention: “the self comes into being with the first act of attention, or the first time attention favours one interest over another.” [Jennings 2017] (One is tempted here to insert a comment about the Lacanian mirror stage relocated to the clothing-store fitting room, but I will defer.) Behind this turn to attention economics is a larger biopolitical harnessing of the productivities of everyday human life, including the body and the senses, within an expanding world-media system. Just to take the most obvious example, in a disciplinary society the workday was pretty much over when you clocked out or left the office. Not anymore, as smartphones, email, texts, FaceTime, Skype and a hundred other web- and app-based intrusions make it clear you can never escape from your job — both your actual job (what you do for a living) and the ancillary job you have as a productive consumer who’s in charge of endlessly remolding his or her life.

With a relatively inexpensive smartphone and a wifi or data connection, you can pay attention — that is to say, you can buy things, answer email, read reviews, track a delivery, hail a ride, or update Facebook — from virtually anywhere, at any time. As Beller puts it in his article “Paying Attention,” we have entered into a period characterized by the full incorporation of the sensual by the economic. This incorporation of the senses along with the dismantling of the word emerges through the visual pathway as new orders of machine-body interface.... All evidence points in this direction: that in the twentieth century, capital first posited and now presupposes looking as productive labor, and, more generally, posited attention as productive of value. [Beller 2006a]

Beller’s argument revolves around cinema as an intense site of training in the early C20. In his view, the movie theater constituted a kind of factory for training spectators to extract value from their attention,

as a kind of testing ground for the biopolitical expansion of capitalism into everyday life. In *The Cinematic Mode of Production: Attention Economy and the Society of the Spectacle*, Beller goes as far as to call this new form the “attention theory of value”: “What I will call ‘the attention theory of value’ finds in the notion of ‘labor,’ elaborated in Marx’s labor theory of value, the prototype of the newest source of value production under capitalism today: value-producing human attention.” [Beller 2006b: 4] And this attention theory of value constitutes an experimental R&D operation within each of us, a biopolitical niche market of one wherein “New affects, aspirations, and forms of interiority are experiments in capitalist productivity.” [Ibid.: 27]

In the 100 years since the disciplinary era of the cinema’s emergence (Beller talks largely about early modernist film, Vertov and Eisenstein), we’ve seen a decisive intensification and general spread of such attention labor, into your home through television and into your everyday routines through the near-ubiquity of computer and smartphone screens today, where it seems everyone’s always looking at something. In short, modes of focusing our distributed attention are the hot advertising and business commodities of our time. As Beller reminds us, “perception is increasingly bound to [value] production” [Ibid.: 3]—think of the way the stock market fluctuates with changing perceptions about the future, or the ways that brands are managed not by making changes in the products, but largely through influencing consumers’ feelings about them. And most obviously, various forms of click-bait on the internet are vying for attention as value: you have to click through for someone to get paid, and before you can click through, something first has to draw your attention. Beller convincingly shows us how the movie theater was a visual factory for mass training in disciplinary capitalism, and watching remains an important pedagogical practice for the intensification of subjective attention in the move from discipline to biopower (from the theater to the home TV and finally to the portable ubiquity of the smartphone screen). Thereby popular culture, as Adorno shows us in his “Culture Industry” essay, becomes a mode of production in its own right—finding its end-product not in songs or films or TV shows, but in the form of subjects, consumers who produce their whole lives out of their consumption patterns.

Just in passing I’d note that one could construct a similar argument concerning the cash value of attention and the senses, not only for film or TV, but in terms of Euro-American museum art in the C20. Virtually everything having to do with “artfulness” (and concomitantly with economic value) from Dada forward shifts art’s value from the object (and from the question of representation) to the kind of attention paid to the object once it’s brought into a museum or gallery space: from Hugo Ball’s performances and Duchamp’s urinal through Jackson Pol-

lock's splatter works, Jean-Michel Basquiat's layered semiotic universe and Cindy Sherman's movie stills, all the way to conceptual art, whose anti-commodity stance barely conceals the ways in which the high art scene over the past few decades has constituted an immense Economics seminar in Beller's "attention theory of value." Which is to say, we learn from contemporary art the invaluable lesson that drawing attention to an object or practice, then manipulating or even merely holding that attention, has become the most highly-prized marker of cultural "value" in our time.

This turn to the biopolitical subject as producer of artistic value also reveals for us the mistake continually made by the exasperated parents in the museum, looking at a Duchamp hat-rack, a Paul Klee painting, or a Jenny Holzer scroll of banal phrases on a pixel screen, shaking their head and saying "My kid could do that." For the expert, of course, this kind of comment immediately rebounds onto the person making the judgment, who seems not to realize that the artfulness isn't in the object, but in the kind of attention that the object asks you to pay to it: the way the artwork invites *you* to infuse the work with artfulness, and thereby to separate it from the common mass of artless things. This move to elevate the everyday is of course the holy grail of the attention economy, and we can thereby see how the high art markets of the C20 were the attention-grabbing proving grounds for the clickbait advertising and endless Facebook posting of today, desperate to draw a certain kind of attention in order to add value to an otherwise worthless practice or object.

78

Pierre Bourdieu points out that modern art requires much from its consumers, as it is the beholder's attention (not the objects themselves) that must finally articulate the "artistic" quality of otherwise mundane objects in a gallery:

never perhaps has more been asked of the spectator, who is now required to 're-produce' the primary operation whereby the artist (with the complicity of his whole intellectual field) produced this new fetish. But never perhaps has he been given so much in return. The native exhibitionism of 'conspicuous consumption,' which seeks distinction in the crude display of ill-mastered luxury, is nothing compared to the unique capacity of the pure gaze, a quasi-creative power which sets the aesthete apart from the common herd by a radical difference which seems to be inscribed in 'persons' The new art is not for everyone, like Romantic art, but destined for an especially gifted minority. [Bourdieu 1987: 30-31]

What Bourdieu describes in the 1960s as a class-mobile striving (to accumulate cultural capital, to allow the artist or art lover to break out of the class strictures inherent in Bourdieu's mid-century, Fordist, disciplinary society) has intensified and spread to become the central pillar of the logic of everyday identity in the biopolitical era — where no one

is comfortable being ordinary, and everyone is charged with the task of infusing his or her life with meaningfulness, making your life a work of art. However, this mission of personal branding, of not disappearing into the crowd, is no longer merely the purview of the upper classes and the striving artist class, as it is in Bourdieu's disciplinary analysis. This manufacturing and updating of identity, this constant performative remaking of your life, is the everyday job of each and every one of us in a biopolitical world.

In terms of a Marxist analysis, what changes historically over time is not so much any given theory's imbrication with the economic imperatives dominant in its moment of historical emergence; rather, what changes are those dominant economic imperatives themselves, and how they bear upon individuals. Likewise, theory as well as modes of subjectivity must evolve to respond to those economic shifts. And this is most clearly where Negri the Marxist and Piketty the social scientist differ: for Piketty, there seems to be one, iron law of capitalism ($r > g$) and even very intense, revolutionary shifts in human subjectivity or technology have little to no effect on that properly and autonomously *economic law*. However, what counts as a properly economic question or field within the mid-century, disciplinary, essentially Fordist capitalism will not be the same as what counts as an economic question within the biopolitical finance capitalism of our era. It's no longer possible, to put it bluntly, simply to pit "proper" economic questions (of the tradable, productive economic base) against fanciful questions of social identity (superstructural questions of human capital), precisely because social questions of identity fuel the economic imperatives of our biopolitical day.¹ What's changed from disciplinary to biopolitical capitalism, in other words, is the very intense becoming-economic of what used to be thought of as merely cultural questions about identity or personal tastes and desires. Within the attention economy of biopower, these "inside" questions about personal identity or desire have met up with "outside" questions of economic class and finance. As Foucault puts it, in a biopolitical world, "the class struggle still exists; it exists more intensely," [Foucault 1996: 73] distributed across the surfaces of our lives and identities, rather than being enforced from above or below everyday life by the various Ideological State Apparatuses that train and constrain us.

To circle back to Negri, it is this wide distribution of the new class struggle, into the saturated level of everyday life, that makes the biopolitics of something like attention less an individual whimsy to be manipulated and more of a distributed site of contestation to be negoti-

1 See on this topic Judith Butler's "Merely Cultural" [Butler 1998].

ated. Negri flat-out asks a question that many Marxists have struggled with in recent years:

Where is *class struggle* today? How does critical Marxism work as a movement practice rather than a philosophy? There are two possibilities that follow what has been said thus far. By the end of the 1970s, evidently dogmatic Marxism was over, but it seemed obvious that historical materialism invaded the *entire* field of political thought. One can no longer escape class antagonism. Second, and this is very important, the concept of class, without losing its antagonistic characteristics, had profoundly changed as a social subject. The working class had changed its *technical* composition via a process that it itself had set in motion — *from the factory to society*. Against the ontological backdrop of these transformations of the relations of production and political struggle, the working class thus reappeared as a *multitude*, as a collection of singularities that built the common. (OB 56)

80

While Piketty clearly wants nothing to do with this kind of revolutionary Marxism, much less with the very strong — even excessive — emphasis that Negri puts on the transformative power of the multitude’s “human capital,” Negri’s sentiments about the potentials of biopolitics at least share Piketty’s realistic sense that the terrain of capitalism can be (and has been) transformed, so our tools for understanding or reshaping it will have to be refashioned as well. As Piketty writes, “Capital is not an immutable concept: it reflects the state of development and prevailing social relations of each society” (CT 47), which is a simple historical claim that we can trace: “the nature of capital itself has changed radically (from land and other real estate in the eighteenth century to industrial and financial capital in the twenty-first century)” (CT 42). And as the nature of capital continues to mutate today, so must our responses to it. In a biopolitical world, performative subjectivity or human capital finds its charge not through making products and commodities, but in the ongoing project of making ourselves. So aesthetics and the concerns of the Humanities are not merely epiphenomenal, reflective, representational, or superstructural discourses (as Piketty understands them); but the Arts and Humanities remain a crucial linchpin for understanding the workings of (and against) capital in the C21. And this finally is where Piketty and Negri may find some uneasy but common ground, a convergence that Piketty sums up when he writes, “I do not see any genuine alternative: if we are to regain control of capitalism, we must bet everything on democracy” (CT 573). Which is finally betting everything not on benevolent government intervention through taxation (Piketty’s reformist suggestions), nor appeals to corporate charity on our behalf, but on a more robust biopolitics, understood as a redirected emphasis not on the bankrupt politics of the nation-state, but on the radically democratic, transformative power of the multitude.

In closing, though, I would note that much of the work on capitalism in the C20 took the horizon of disciplinary, liberal democracy as the (inevitable, if unevenly developing) horizon of modern capitalism itself, capitalism's preferred and most efficient form going forward (think most obviously of Fukuyama's "The End of History"). However, it's become clear in the last decade that representative liberal democracy is not the preferred state form we'll see in the future of capitalism. As Vladimir Putin provocatively argued in 2019, it's beginning to look like "liberalism is obsolete" as a governance model today.¹ This too is, unfortunately, aligned with the rise of performative biopolitics.

While there's quite a lot of discourse dedicated to explaining the rise of the new populism, and average citizens' declining faith in liberal democracy, there remains a fairly clear Marxist explanation for the uptick in populist xenophobia over the past decade: since the 2008 global crash, western democracies have seen an already-large wealth disparity grow to enormous proportions. As Revelli insists, the new populism is perhaps best grasped as an old-fashioned class war: "the exponential growth in inequalities across the whole globalised West between 2005 and 2014 opened up an outright social chasm, and ... in twenty-five advanced economies between 65 and 70 percent of citizens had seen their incomes flatline or fall: which is to say, a mass of between 540 and 580 million people who feel themselves being pushed to the margins or losing their class position. Of these, just 10 million — a tiny 2 percent — had reported in 2005 that they had remained at a standstill or become poorer over the previous decade, between 1993 and 2004" (NP 198-99). When 70 percent or more of the western democracies' populace — more than half a billion people, most of those working class — see their incomes flatline or fall over the last 15 years, while only 2 percent had reported such declines in the decade prior, it's not clear to me that you need to go hunting for psychological explanations for the alarming rise in global xenophobic populism. The greater the income stagnation in any given country, the more intense the populist backlash against immigrants and other "outsiders." Revelli reminds us that "the great freeze has not hit everyone in a homogeneous way — that some countries have been hit more violently, and that Italy is by far the worst case, with the largest proportion of the population having become impoverished [since 2005], some 97 percent of families, followed by the United States with 81 percent and the United Kingdom with 70. France is doing a little better, with 63 percent *déclassés*.... This map of malaise, which takes account of the

1 "Vladimir Putin says liberalism has 'become obsolete.'" *Financial Times* UK, 27 June 2019. Online at <https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36>

reduction in both ‘disposable income’ and ‘market income,’ can almost entirely be traced onto the map of the insurgent phenomena classified as ‘populism’” (NP 199). The more income stagnation, the more populist sentiment — and insofar as neoliberal income stagnation for most of the working populace seems here to stay, we’d better brace ourselves for more pitched battles with those angry displaced, displaced workers who fuel it — folks who only a few decades ago were our neighbors and seemingly natural comrades in the fight against neoliberalism.

And while this is maybe another topic altogether, a difficult one to bring up at the end of an essay, let me just say that I’m not sure the present fashionability of just calling this “the return of fascism” is quite accurate, as these are seriously capitalist, neoliberal projects; Brexit or Italy-First are of course nationalist phenomena of a seemingly old-fashioned disciplinary kind, but their drivers are more neoliberal economics (“me first!”) than anything else — though racist xenophobia is of course a close second, followed by a nostalgia for the very Fordist compromise years that their free-market heroes have systematically eviscerated. While many in the white working classes can be brought behind these nationalist economic policies, largely through combining them with race-baiting rhetoric, it’s protecting the narrow interests of 1% hyper-capitalism that finally drives these policies, and turning poor, working-class populations against each other along racial and ethnic lines is a proven tactic to keep said poor folks from banding together to eat the rich. That being the case, the ways in which biopolitics functions within these regimes will need to be rethought again, from the ground up, as most of our thinking about biopolitics and capitalism works itself out in terms of a liberal democracy model of the state that is quickly fading from hegemony. But whatever state form emerges as the preferred delivery system for capitalism in the future, Piketty importantly shows us that a corrupt inequality has been baked into the capitalist cake from the beginning — from the tulip bulbs of early modern Holland to the Coronavirus Crisis, and beyond.

82

References

Beller J. (2006a) Paying Attention. *Cabinet* 24, july. <http://www.cabinetmagazine.org/issues/24/beller.php>

Beller J. (2006b) *The Cinematic Mode of Production: Attention Economy and the Society of the Spectacle*. Dartmouth University Press.

Boltanski L., Chiapello E. (2018) *The New Spirit of Capitalism*. Translated by Gregory Eliot. London: Verso.

Bourdieu P. (1987) *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Translated by Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Butler J. (1998) Merely Cultural. *New Left Review* 227 (January-February).
- Foucault M. (1979) *Discipline and Punish*. Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage.
- Foucault M. (1996) *Foucault Live: Interviews 1961-84*, edited by Sylvère Lotringer, translated by Lysa Hochroth and John Johnston. New York: Semiotext(e).
- Foucault M. (2003) "*Society Must Be Defended*": *Lectures at the College de France, 1975-76*. Translated by David Macey. New York: Picador.
- Foucault M. (2010) *The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France 1978-79*. Translated by Graham Burchell. New York: Picador.
- Jennings C.D. (2017) I Attend, Therefore I Am: You Are Only as Strong as Your Powers of Attention. *Aeon: A World of Ideas*. 10 July. <https://aeon.co/essays/what-is-the-self-if-not-that-which-pays-attention>
- Negri A. (2016) To the Origins of Biopolitics (translated by Diana Garvin). *Biopower: Foucault and Beyond*, ed. by Vernon W. Cisney and Nicolae Morar. Chicago: University of Chicago Press.
- Piketty T. (2014) *Capital in the Twenty-First Century*. Translated by Arthur Goldhammer. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Revelli M. (2019) *The New Populism: Democracy Stares into the Abyss*. Translated by David Broder. London: Verso.

Рекомендация для цитирования:

Nealon J.T. (2021) Biopolitics, Marxism and Piketty's Capital in the Twenty-First Century. *Социология власти*, 33 (1): 64-83.

For citations:

Nealon J.T. (2021) Biopolitics, Marxism and Piketty's Capital in the Twenty-First Century. *Sociology of Power*, 33 (1): 64-83.

Поступила в редакцию: 15.12.2020; принята в печать: 11.01.2021

Received: 15.12.2020; Accepted for publication: 11.01.2021

ФЕДОР В. НИКОЛАИ

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Россия

ORCID: 0000-0002-8876-9441

ИГОРЬ И. КОБЫЛИН

Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия

ORCID: 0000-0003-4758-2346

«Выиграть время», или темпоральные (за)стенки неолиберального капитализма

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-84-102

Резюме:

Статья ставит под вопрос противопоставление понятий «неолиберализм» и «государство всеобщего благосостояния». По мнению авторов, эти понятия продуктивнее рассматривать не в качестве взаимоисключающих альтернатив, но как два сосуществующих «режима» работы современного капитализма. Именно их сосуществование придает последнему дополнительную устойчивость. Тактически переключая «режимы» в рамках своей общей гвернаментальной стратегии, капитализм куда успешнее справляется с историческими вызовами, превращая саму «внешнюю» историю в принцип собственной внутренней динамики. Сборка этих режимов производится в двух плоскостях: темпоральной и функциональной. В темпоральном плане они в одинаковой мере поддерживают логику «девелопментального» историзма, т.е. противопоставляют прогрессивную современность «мрачному» прошлому. При этом неолиберальный прогрессизм, в ко-

84

Николай Федор Владимирович — доктор философских наук, профессор кафедры всеобщей истории Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина; старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории ШАГИ ИОН РАНХиГС. Научные интересы: исследования памяти, интеллектуальная история, военно-историческая антропология, исследования культуры, политика времени. E-mail: fvnik@list.ru

Кобылин Игорь Игоревич — кандидат философских наук, доцент Приволжского исследовательского медицинского университета, Нижний Новгород; старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории ШАГИ ИОН РАНХиГС. Научные интересы: политическая философия, исследования биополитики и управленчества, советская философия, политика времени и мультитемпоральность. E-mail: kigor55@mail.ru

тором прошлое ассоциируется с угрожающим свободе государственным контролем, а настоящее — с расцветом частной инициативы и соответственно с подлинным раскрытием индивидуальных талантов, просто переворачивает исторический нарратив доктрины welfare state, где в прошлом — безжалостная конкуренция, в настоящем — социальная поддержка уязвимых категорий населения. Комбинируя эти противоположные по направлению, но одинаковые в своем формальном «прогрессизме» нарративы, капитализм поддерживают иллюзию, что общество в любом случае продолжает «развиваться». Другой функциональной общностью этих двух версий капиталистического проекта становится управление рисками. Но если общество благосостояния предполагает простую минимизацию рисков за счет государства, то для неолиберализма кризис — это не столько тест на выживание, который необходимо успешно пройти, сколько новая возможность укрепить свои позиции за счет «рационального» перераспределения средств и постоянной модификации управленческих стратегий, распространяющихся все шире во всех сферах жизни общества. Кризисы в этой модели оказываются необходимой точкой переключения обозначенных выше «режимов» — регулятором не только финансовых потоков, но и социальных ожиданий.

Ключевые слова: неолиберальный капитализм, современность, темпоральный режим, кризис, управленчество

Feodor V. Nikolai¹

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Russia

Igor I. Kobylin²

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russia

“Buying Time” or the Temporal Walls of Neoliberal Capitalism

Abstract:

The article questions the opposition of the concepts of “neoliberalism” and “welfare state”. It is more productive to consider them not as mutually exclusive alternatives, but as two coexisting regimes of contemporary capitalism. It is their coexistence that gives the latter additional stability.

- 1 Feodor V. Nikolai — PhD, Senior Research Officer, Centre for Studies in History and Culture, SPP, RANEPА; Professor, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University). Research interests: memory studies, intellectual history, military anthropology, cultural studies, politics of time. E-mail: fvnik@list.ru
- 2 Igor I. Kobylin — PhD, Associate Professor, Privolzhsky Research Medical University; Senior Research Officer, Centre for Studies in History and Culture, SPP, RANEPА. Research interests: political philosophy, studies of biopolitics and governmentality, Soviet philosophy, politics of time and multitemporality. E-mail: kigor55@mail.ru

Switching regimes within the framework of its general “governmental” strategy, capitalism copes with historical challenges much more successfully, turning the external history into internal dynamics. The assemblage of these two regimes is carried out in temporal and functional planes. In terms of temporality, they equally rely on the logic of progressive historicism. That is, they construct modernity by setting the present against a “dark” past. At the same time, the historical narrative of neoliberalism (in the past — cumbersome state regulation, in the present — effective private management) is the inversion of the narrative of the welfare state (in the past — wild predatory capitalism, in the present — reasonable government intervention and social policy). Switching between these two narratives, capitalism makes people feel that they continue to move “progressively” towards a better future. Risk management becomes another functional common feature of the capitalist project. But if a welfare society implies a minimization of risks at the state’s expense, then neoliberalism plays a more complex game with them. For neoliberalism, crisis is not a test of survival, which must be passed successfully, but rather a new opportunity to strengthen its own position through the “rational” redistribution of funds and constant modification of management strategies that spread more and more widely in all spheres of society. In this model, crises turn out to be a necessary switching point of two regimes — a regulator of both financial flows and social expectations.

86

Keywords: neoliberal capitalism, modernity, regimes of temporality, crisis, governmentality

Немалая часть дискуссий о трансформациях современного капитализма — «позднего», «цифрового», «когнитивного», «эмоционального» и т.д. — особенно после кризиса 2008 года оказалась так или иначе связана с понятием неолиберализма [Grown 2017; Cahill 2018; Kotz 2015; Springer 2016]. Чаще всего этот термин используют критики подчинения политической сферы логике экономической эффективности: «Неолиберальная рациональность, ныне повсеместная в государственном управлении и на рабочих местах, в юриспруденции, образовании, культуре и широком поле повседневной деятельности, преобразует отчетливо политические характер, смысл и действие фундаментальных элементов демократии в экономические» [Браун 2018]. С этой точки зрения, границы между государственными и корпоративными интересами сегодня становятся все более размытыми, а представительная демократия и социальные институты «общества благосостояния» образца 1960–1970-х годов подчиняются власти капитала [Chomsky 1999; Saad-Filho, Johnston 2004]. Одновременно происходит трансформация культурной сферы, меняются механизмы идеологической интерпелляции и соответственно субъективации — общество «окликает» не активного гражданина, но потребителя услуг: «Теперь само общество

производится по законам экономики, сообразно экономической рациональности <...> Здоровоохранение, информация, культура, образование, наука превращаются в сферы, подчиненные экономической логике и рациональности конкурентных рынков» [Жорсани 2007: 134, 137]. В общем, перефразируя Маркса и Фуко, можно сказать, что от формального подчинения неолиберальному управлению через посредство свободы мы перешли к реальному.

Однако в последнее время чрезмерное увлечение «неолиберализмом» как концептуальным инструментом критической теории само вызывает критику. Ряд исследователей справедливо указывают на зонтичный характер термина и как следствие на растущую произвольность его употребления. Не определены ни хронологические рамки «неолиберализма», ни его основные агенты — и австрийские экономисты, и китайские коммунисты и даже шведские социал-демократы признаются сегодня его вольными или невольными адептами. Как справедливо отмечает В. Браун [2018], «неолиберализм — вязкое и трудноуловимое означающее. Общим местом в науке является тот факт, что у неолиберализма нет устойчивых, фиксированных координат, что его дискурсивным формулировкам, политическому влиянию и материальным практикам присуща временная и географическая разнородность». Понятно, что само желание найти единое означающее для совокупности гетерогенных дискурсов и практик мотивировано политически. В мире, где противостояние друг/враг вытесняется симбиозом продавца/покупателя, вытесненное возвращается на уровне теории. Но критический пафос, питаемый «перформативными» иллюзиями (найти политически заряженное означающее для становящегося все более неполитическим мира не означает вернуть в него реальное политическое действие), в значительной степени ослабляет аналитическую функцию понятия. По справедливому замечанию А. Бикбова [2011], «понятие “неолиберализм” постепенно утрачивает ясные очертания. Сегодня оно все чаще используется как своеобразная черная метка. Десятилетие назад эту роль исполнял “постмодернизм” — тотальная угроза плодам Просвещения. Как оказалось, стратегия тотального идейного упрека обезоруживает в первую очередь самих критиков».

Еще более сомнительной является попытка противопоставить «плохой» неолиберализм «хорошему» welfare state — понятию не менее размытому, чем «неолиберализм» [Castles 2012; Eisner 2000; Pierson, Castles, Naumann 2013]. Во-первых, довольно много стран, включая Австрию, Австралию, Бельгию, Нидерланды и Швецию, сохраняют свои социальные программы и до сих пор остаются «государствами всеобщего благосостояния» [Starke, Kaasch, Hoogen 2013]. Разнообразные меры, которые предпринимались правительствами этих стран для преодоления кризисов

1970-х годов, рецессии начала 1990-х или спада 2008 года, нельзя сводить лишь к усилению монетаристской политики свободного рынка. Во-вторых, набирающий сегодня обороты эпидемический кризис наглядно демонстрирует активность государств, ставящих биополитическую заботу о населении выше экономических выгод в краткосрочной перспективе. Значит ли это, что неолиберализм исчерпал себя, что от этого термина нужно отказаться? Можно ли сказать, что это понятие уже не работает или по меньшей мере требует радикальной ревизии [Brown 2019]? Можно ли считать современный рост авторитарных тенденций в Китае, России и США возвращением государства модерна с его дисциплинарными практиками [Tansel 2017]?

На наш взгляд, продуктивнее рассматривать неолиберализм и «государство всеобщего благоденствия» не в качестве взаимоисключающих альтернатив, а в качестве двух сосуществующих «режимов» работы современного капитализма. Именно такое сосуществование и придает последнему дополнительную устойчивость. Тактически переключая «режимы» в рамках своей общей «губернаментальной» стратегии, он куда успешнее справляется с историческими вызовами, превращая саму «внешнюю» историю в принцип собственной внутренней динамики. «Сборка» этих двух режимов производится в двух плоскостях: темпоральной и функциональной.

88

В темпоральном плане они в равной степени опираются на логику «прогрессистского» историзма, т.е. конструируют современность через противопоставление настоящего темному прошлому. При этом исторический нарратив неолиберализма (в прошлом громоздкое государственное регулирование, в настоящем эффективное частное управление) является инверсией нарратива доктрины «всеобщего благосостояния» (в прошлом дикий, хищнический капитализм, в настоящем разумное государственное вмешательство и социальная политика). Тактическое удобство здесь заключается в том, что запуская по кругу то один, то другой нарратив, противоположный по направлению, можно сохранить у людей ощущение, что они в любом случае продолжают «прогрессивно» двигаться к лучшему будущему.

Другой функциональной общностью этих двух версий капиталистического проекта становится управление рисками. Но если общество благосостояния предполагает простую минимизацию рисков за счет государства, то неолиберализм играет с ними в более сложную игру. Любой кризис — это не столько тест на выживание, который необходимо успешно пройти, сколько новая возможность укрепить свои позиции за счет рационального перераспределения средств и постоянной модификации управленческих стратегий, распространяющихся все шире во всех сферах жизни общества.

Управление рисками, функциональные основания и политическая теория неолиберального капитализма

Современный (неолиберальный) капитализм — это не просто набор экономических практик. Он предлагает и свой собственный язык для описания реальности вообще, и специфическую политическую теорию в частности. Доктрина неолиберализма возникла в конце 1930-х в ситуации, определенной растущим мировым влиянием коммунизма, с одной стороны, и национал-социализма — с другой [Dumenil, Dominique 2004; Hayveu 2007]. Либеральные же демократии переживали не лучшие времена: шок Первой мировой войны сменился шоком экономического кризиса 1929-1933-х годов, и выход из этого кризиса оказался возможен только за счет усиления государства. Именно в такой исторической обстановке в августе 1938 г. в Париже состоялся коллоквиум Уолтера Липпмана, на котором термин «неолиберализм» обсуждался в выступлениях экономистов Бернара Лаверня и Александра Рюстова [Reinhoudt, Audier 2017]. Подчеркнем, что идеи неолиберализма и общества благосостояния формируются фактически *одновременно*. Как убедительно показал Томас Бибрихер, большинство теоретиков неолиберального проекта (при всем различии их взглядов) признавало важность социальных программ и государственной политики в экономической сфере (в духе «Нового курса» Рузвельта), критикуя лишь жесткое административное планирование. Одной из ключевых причин кризиса либеральных идей образца XIX в. они считали отделение свободы рынков и экономических вопросов от политических: «Неолиберализм следует рассматривать как политико-экономический дискурс, который эксплицитно обращается к неэкономическим предпосылкам функционирования рынков и эффектам взаимодействия между рынками и их окружением» [Biebricher 2019: 27]. Политическая составляющая была изначально важна для неолиберального проекта, а государство рассматривалось в его рамках как источник стабильности, защита от принуждения. «Обычно неолиберализм рассматривают как теорию саморегулирования рынков при минимальном государственном вмешательстве. Однако более внимательное обращение к текстам его отцов-основателей показывает ограниченность такой трактовки: как минимум в некоторых неолиберальных проектах присутствуют требования сильного государства» [Ibid.: 76].

Второе рождение неолиберализма состоялось в августе 1947 г. в Швейцарии и было связано с созданием общества «Мон Пелерин» [Mirowski, Plehwe 2015]. Но и здесь, и во время экономического чуда в Германии 1950-1960-х годов, и в ходе полемики 1970-х о путях выхода из кризиса, неолиберальный проект предполагал взаимосвязь

экономических проблем и политических вопросов — определения перспектив европейской интеграции, согласования региональных, национальных и наднациональных бюджетов и т.д. Важно отметить также, что эта модель воспроизводила/модифицировала сложившиеся отношения центра и периферии: в ведущих европейских странах и США государство оставалось гарантом социальной сферы, а в Третьем мире неолиберализм предполагал жесткую экономию и сокращение государственного вмешательства в экономику.

Для прояснения непростой исторической генеалогии неолиберализма полезно обратиться к относительно недавнему исследованию Джоанны Бокман «Рынки во имя социализма: левые истоки неолиберализма» [2011]. Бокман проблематизирует устоявшуюся в мейнстримовой истории экономики схему, располагающую капитализм, свободный рынок и демократию на одной стороне, а социализм, государственное планирование и авторитарные иерархии на другой. В этой проблематизации ключевую роль играет ревизионистское толкование так называемой неоклассической школы. Обычно — и до определенной степени справедливо — ее противопоставляют социалистическим проектам и практикам. Поскольку во многих социалистических доктринах XIX в. предполагалось, что будущее общество вообще откажется от денег, цен, доходов, ренты и прочих капиталистических пережитков и начнет работать по модели единой фабрики безо всяких опосредующих элементов, то, конечно, экономисты-неоклассики были настроены антисоциалистически — такое общественное устройство было бы полной противоположностью тому, чем они профессионально занимались. Однако, как замечает Бокман, менялись и представления о социализме, и сами неоклассические построения. В итоге, несмотря на жесткую критику трудовой теории стоимости и вроде бы очевидную приверженность принципам свободной конкуренции, неоклассическая теория стала одним из инструментов «нормализации» социализма. В математических моделях, построенных экономистами-неоклассиками, экономика конкурентных рынков оказалась чуть ли не идентичной экономике централизованного планирования. Из вопиющего нарушения всех законов экономической рациональности социализм превратился в одну из возможных вариаций современной индустриальной экономики. «К 90-м годам XIX века экономисты-неоклассики вдруг неожиданно обнаружили, что конкурентная рыночная экономика математически идентична экономике централизованного планирования» [Bockman 2011: 7].

Математическая эквивалентность моделей позволила открепить различные экономические компоненты (рынок, план, регулирование и др.) от их формационных каркасов и начать теоретически и, что еще важнее, практически экспериментировать с комбинация-

ми этих освободившихся, «плавающих» элементов как между собой, так и с разными политическими институтами. Пересборка, конечно, могла просто укрепить прежнюю позицию. Так, например, гипотеза социалистического государства была для правой неоклассики не более чем полезным методологическим инструментом: будучи концептуальным персонажем, негативным двойником, такой «социализм» от противного помогал продумать нюансы собственного подхода. Но, с другой стороны, Бокман напоминает, что уже Леон Вальрас — один из основателей неоклассической доктрины, критик Маркса и автор теории общего экономического равновесия — сочетал стойкую приверженность свободным рынкам с искренними социалистическими убеждениями. Более того, только социализм с его точки зрения и мог обеспечить необходимые условия для настоящей конкуренции. Если государство будет собственником земли и природных ресурсов, оно сможет передавать их в индивидуальную или групповую аренду людям, устраняя тем самым опасности монополизации и создавая необходимую среду для честной конкурентной борьбы. Как замечает Бокман, в концепции Вальраса социалистические институты, рынок и математика не только не исключают друг друга, но и являются друг для друга необходимыми условиями возможности.

91

Победа большевистской революции в России сделала разговор о социализме еще более актуальным и куда более предметным. Из чистой гипотезы он буквально на глазах превращался в реальность. И, конечно, это превращение вызвало острейшие политико-экономические дискуссии и о самой гипотезе, и о получившемся результате, в котором, по мнению одних, гипотеза опознавалась с большим трудом, а по мнению других — слишком хорошо, и именно это как раз и говорило не в пользу гипотезы. В любом случае каждый шаг, который делал советский реальный социализм, породил особое полемическое пространство, где различные альтернативные формы или вариации социалистической идеи существовали в виде нереализованных (пока) теоретических возможностей. И неоклассическое учение играло в этом пространстве одну из ключевых ролей.

Настоящий триумф неоклассических теории вообще и неоклассические модели социализма в частности переживают в 1950–1960-е годы. XX съезд в СССР и конец маккартизма в США открыли новые возможности для взаимодействия между Востоком и Западом, включая интенсивный интеллектуальный обмен в среде ученых-экономистов. Этот обмен, безусловно, не был невинной, чисто научной коммуникацией — исследовательские институции были тесно связаны с разведывательными службами с обеих сторон. Однако то, что формирующаяся академическая сеть тесно переплеталась

с дипломатическими, разведывательными и политико-идеологическими сетями, нисколько не мешало возникновению особых пространств, которые Бокман, используя термин антрополога Виктора Тэрнера, называет лиминальными. Тэрнер, описывая ритуальные процессы африканских племен, определяет лиминальных существ как существующих в промежутках между позициями, предписанными законами, церемониями и обычаями. Нечто похожее мы видим и в образовавшихся промежутках между идеологическими зонами, расчерченными законом и обычаями холодной войны. Да, диалог ученых контролировался политиками, но в результате этого диалога возникали лиминальные концепции, альтернативные и капитализму американского образца, и социализму образца советского. Более того, здесь мы сталкиваемся со сложным рекурсивным процессом — эти концепции начинают оказывать обратное влияние на исходные политико-экономические режимы.

92

Одна из главных уловок современного неолиберализма заключается, согласно Бокман, в том, что он ретроактивно переписывает всю многогранную экономическую историю послевоенного мира как историю собственной триумфальной победы. Драматические и далеко неоднозначные взаимоотношения свободного мира с коммунистическим лагерем интерпретируются как направленная либерализация последнего, закончившаяся крахом тоталитарной утопии и повсеместным распространением капиталистической экономики и парламентской демократии. Главный же тезис Бокман заключается в том, что и первым, и вторым рожденьями неолиберализм обязан лиминальному бульону неоклассических и социалистических идей и практик. Его корневая система питается как справа, так и слева.

Во-первых, неолиберализм — это не только свободные конкурентные рынки, но и авторитарное (хотя и небольшое) государство, способное держать эти рынки открытыми. Во-вторых, внутри фирм и корпораций царит жесткая иерархия менеджмента, не предполагающая никакого самоуправления работников. Как язвительно замечает Бокман, неолибералов не заботит почему-то избыточность и неэффективность внутрикорпоративного управления. Наконец, неолиберализм делает недвусмысленный идеологический выбор в пользу означивающего «капитализм». Любые разговоры о социалистических элементах в экономической системе мгновенно квалифицируются как опасные утопические мечтания. Как мы видим, неолиберализм наследует левому проекту сразу в двух смыслах: «плохом» и «хорошем». С одной стороны, он не менее авторитарен и иерархичен, чем реальный государственный социализм советского образца. С другой, продвигая постфордистскую организацию экономики, он пародийным образом реализует радикальные — «хо-

рошие» — коммунистические требования. Внутри экономического пространства государство «отмирает», труд в его классическом понимании «упраздняется», конвейерное отчуждение сменяется «всесторонним раскрытием способностей и личностным ростом» в условиях прекарной занятости. Как точно заметил итальянский постопераист Паоло Вирно [2013], постфордизм — это что-то вроде «коммунизма капитала».

Принимая во внимание не только доминирующую во всех экономических дебатах ось «государство vs рынок», но и другую, часто не замечаемую ось «иерархия vs самоуправление и демократия», Бокман существенно усложняет картину генезиса и сущности неолиберализма. Как во многих социалистических доктринах элементы рынка вводятся именно для усиления экономической демократии, так и в рыночных неолиберальных концепциях авторитарные методы политического управления предполагаются необходимыми для бесперебойного функционирования этих рынков. Реальная история оказывается куда более гибридной, чем это виделось сквозь идеологические очки, неважно, социалистические или неолиберальные. И любые теоретические спекуляции о неолиберализме должны эту гибридность учитывать.

93

Возвращаясь от проблемы генезиса неолиберализма к его актуальной политике, необходимо вспомнить один из ключевых тезисов этой доктрины. Экономический спад нужно рассматривать как повод для структурных реформ, которые перезагрузят систему и приведут к экономическому росту. Этот тезис обсуждался и в 1960-1970-е годы, но своей кульминации он достиг в эпоху правления М. Тэтчер и Р. Рейгана [Вассаго, Howell 2017; Campbell 2004; Fuchs 2016]. С тех пор именно он определяет неолиберальную мысль. В этом смысле неолиберализм не только появился как ответ на кризис 1930-х годов, но сделал кризис ключевым моментом своего самоопределения. Само по себе замедление темпов экономического роста или даже временный спад еще не являются кризисом: «Кризис возникает не просто как вопрос (экономических) данных, но как модель интерпретации, повествования и конструирования. Возможно, еще более важным является вопрос о характере этого кризиса. <...> Кризис должен быть интерпретирован, и ключевое значение имеет то, какая именно интерпретация возобладает, поскольку диагностика природы кризиса предопределяет его терапию и меры антикризисного управления» [Biebricher 2019: 197]. Символическое кодирование или интерпретация кризиса являются неотъемлемой частью общей ситуации. Экономике невозможно отделить от социальных теорий и культурных стратегий описания — это и динамика обменов, и ее (научное) толкование. С этой точки зрения, кризис кейнсианства в 1970-е был вызван в равной степени энергетическим кризисом,

социальным расслоением, а также растущими теоретическими разногласиями по поводу стратегий преодоления существующих проблем. Лишь в такой ситуации неопределенности прежде маргинальный неолиберальный нарратив смог бросить вызов кейнсианству и в конечном итоге заменить его в качестве господствующей экономической парадигмы.

Подчеркнем, что переплетение экономических, политических и культурных аспектов кризиса провоцирует ситуацию не только риска, но и радикальной неопределенности, когда даже вероятностное прогнозирование на основе прошлого опыта оказывается под вопросом ввиду уникальности ситуации, не имеющей исторических аналогов. Более того, различить ситуации риска и полной неопределенности невозможно исходя из эмпирических данных — это именно открытый вопрос интерпретации. Неолиберализм оказался лучше неокейнсианства подготовлен к работе в изменившихся (не только экономических, но и политических, и культурных) условиях, сделав ставку на символическое кодирование растущей нестабильности в терминологии рисков. И научился извлекать из этого прибыль. В этом смысле не соотношение государства и рынка, а именно неопределенность стала функциональной основой неолиберального проекта. Именно она легла в основу переключения режимов государственного вмешательства или невмешательства в экономику, восстановления авторитаризма или роста гражданских свобод в условиях неолиберального капитализма. Поэтому, как отмечает Т. Бибрихер [Biebricher 2019: 5], «В реальности не ясно, способствует неолиберализм уходу государства из экономики или, наоборот, создает сильное государство — гарант рыночной конкуренции».

При этом возведенная в культ неопределенность позволяет ограничить претензии девелопментального историзма. Хотя, как уже отмечалось выше, неолиберализм моделирует «прогрессивный» переход от «темного» прошлого к рациональному настоящему, сам себя он из исторической динамики исключает. Именно потому, что он и есть воплощенная «естественная рациональность», собственную историчность (неолиберализм — это исторически сложившийся феномен, зародившийся в 1930-е, набравший силу в 1950-1970-е, добившийся повсеместной победы в 1980-е и постепенно устаревающий в 2000-е) он выносит за скобки. Конечно, неолиберальная модель менеджмента постоянно говорит об «устремленности в будущее», постоянно продуцируя различия между «до» и «после» в попытке рационально просчитать риски в ситуации радикальной неопределенности. Но это своего рода будущее без будущего — никакой качественной новизны оно не несет, являясь лишь технически улучшенной версией настоящего. Впрочем, само представление о линейном

времени прогрессивного улучшения до сих пор конститутивно для капитализма, и на современных особенностях этого темпорального режима стоит остановиться чуть подробнее.

Темпоральные стены современного капитализма

Неолиберализм не сменяет общество благосостояния, но соседствует с ним в рамках общей темпоральной логики, где различие прошлого и будущего соотносится с различием страхования прошлых социальных инвестиций и ориентированных на будущие прибыли спекуляций. Внутри такого темпорального диспозитива (символизируемого в массовой культуре «ретроманией» и «футурологией») происходит постоянное переключение с одного полюса на другой, а кризисы являются триггерами такого переключения.

Проблемы темпорального режима модерна и политики времени в последние годы широко обсуждаются в гуманитарных исследованиях [Hartog 2015; Agathangelou, Killian 2016; Олейников 2016], но довольно редко рассматриваются в контексте развития современного капитализма [Dávila 2014; Stewart 2020]. В этой связи достаточно важной представляется идея Дэвида Блэни и Наима Айнаятүла о том, что капитализм возник не просто как экономическая активность, но и как специфическая констелляция пространства и времени. Он представляет собой не только накопление богатств, но и противопоставление прогрессивного типа экономического роста на Западе отсталости незападных стран: «Запад конструирует себя во многом через политэкономия. Политэкономия как теория и как практика становится идеализацией богатства, цивилизованности и модерности Запада. Эта идеализация отделяет Запад от остального мира — бедного, дикого и отсталого» [Blaney, Inayatullah 2010: 15]. Гуманность и цивилизация при этом оказываются неразрывно связаны с накоплением капитала и универсальностью политэкономии, а дикость (в историческом и территориальном планах) — с бедностью и партикулярностью, которыми занимается антропология. Начиная с Адама Смита и шотландского Просвещения капиталистическая политэкономия противопоставляет прошлое и будущее. Прогрессистский (или девелопментальный) исторический нарратив пытается придать определенное направление или смысл этой оппозиции, косвенно легитимируя поддерживающее ее насилие, социальное неравенство и региональные конфликты. Все они совершаются «ради светлого (капиталистического) будущего». Капитализм концентрирует богатства одних за счет бедности других, усиливает центры мир-системы за счет периферии [Cogné 2016]. И поддержание этого неравенства предполагает постоянное наси-

лие, поэтому Б. Блэни и Н. Айнаятула говорят о «ранах» капитализма, экстериоризации его внутренней нестабильности и превращении бедности в неотъемлемую черту сложившейся гегемонии.

Принципиально изменить ситуацию лишь в экономической сфере невозможно: капитализм опирается на социальное неравенство, политические институты и (главное) описанные выше «темпоральные стены» — противопоставление прошлого и будущего. Для выхода за рамки этой системы необходима ревизия границ между экономикой (претендующей на объективность и универсальность) и исследованиями культуры (субъективными и партикулярными). Необходимо вскрыть бессознательные структуры, фундирующие политэкономия, и показать их этические ограничения. Кризис 2008 года и в еще большей степени ситуация 2020 года показывают, что преодоление возникших проблем невозможно без масштабных политических, социальных и культурных изменений. «Экономическая жизнь неразрывно связана с социальными институтами, которые существуют в рамках определенной космологии времени. Поэтому вызов господству свободного рынка и свободы торговли включает не просто использование дефицита времени, но изменение самих наших представлений о возникновении и течении времени. <...> Нужно представить себе “поли-темпоральную” глобальную политэкономия — мир пересекающихся времен. Признание того, что мы всегда находимся на “перекрестке темпоральностей” привлекает внимание к понятию “культуры культур” Саллинса и к экономическим практикам, соединяющим логику накопления как “отложенного возвращения” с совместным использованием (sharing) как “мгновенной отдачей”. Признание мультитемпоральности позволяет изменить нашу политико-экономическую реальность, согласовывать наши идеалы с жизненными возможностями» [Blaney, Inayatullah 2010: 195, 199]. С этой точки зрения необходим «темпоральный диалог» — признание, что время модерна, горизонт прошлого (домодерного) опыта и ожидания (посткапиталистического) будущего постоянно переплетаются. Граница между ними формируется и переосмысливается внутри нас. Кроме того, мультитемпоральность указывает на сохраняющуюся *неопределенность* в отличном от неолиберального смысле. Речь идет о гетерогенности локальных практик и нормативных моделей (которые пытается синхронизировать неолиберальный капитализм), а, следовательно, и об открытости будущего качественным изменениям.

Взаимосвязь темпоральных и функциональных оснований современного капитализма прослеживает Мартен Конингс [Konings 2018] в своей книге «Капитал и время: новая критика неолиберального разума», где доказывает, что неолиберальная политика времени во многом воспроизводит правила двойной бухгалтерии,

которые возникли в эпоху итальянского Ренессанса и до сих пор обеспечивают воспроизводство капиталистической экономики. Идея баланса между дебетом и кредитом переносится на соотношение ожиданий и обязательств, будущего и прошлого. Спекуляции в условиях неопределенности предполагают *одновременно* укрепление крупных капиталов, поддерживаемых государством в рамках антикризисной политики, и подчинение миноритарных акторов режиму экономии (выживания). Речь идет не о циклическом спаде капиталистической экономики в его классическом марксистском или кейнсианском понимании, когда избыток спекуляций требует государственного регулирования. Кризис становится средством *укрепления* позиций крупных финансовых игроков — валоризацией их стратегии капитализации рисков. Он позволяет распространить неолиберальные принципы управления на темпоральность. В зависимости от конъюнктуры включаются разные режимы: либо режим спекуляции (ориентированной в будущее), либо экономии (страхования прошлых инвестиций). Таким образом, речь идет о капитализации темпоральной неопределенности.

Эта неопределенность принципиально важна для современного капитализма не только на уровне поддержания иллюзии личного выбора потребителя, но и в макроэкономике. Известный немецкий социолог Вольфганг Штрик [2019: 16, 17] рассматривает политико-экономические кризисы второй половины XX в. как отложенную проблему — «купленное время»: «Купить время» — дословный перевод английского выражения *buying time*, что означает выиграть время, оттянуть предстоящее событие, чтобы попытаться его предотвратить. <...> Деньги — самый загадочный институт капиталистической современности — были нужны для того, чтобы снять напряжение от потенциально дестабилизирующих социальных конфликтов: сначала с помощью инфляции, потом — растущих государственных долгов, далее — путем расширения рынков частного кредитования и, наконец, сегодня — через покупку центральным банком государственных долгов и банковских обязательств. Как я покажу, «покупка времени», отсрочившая и растянувшая кризис демократического капитализма в послевоенные годы, тесно связана с эпохальным процессом капиталистического развития, который мы называем «финансализацией». По мнению исследователя, в 1968 г. произошел двусторонний разрыв социального контракта: низшие классы активно потребовали расширения государственных социальных программ; верхние — сокращения налогов и ослабления контроля над финансовой сферой. Важно отметить, что речь шла не просто о некоторой экономической конъюнктуре, но о сознательной активности, нацеленной на увеличение капитала. Культура потребления при этом сохранялась, но риторика кризиса позволяла

ограничивать завышенные ожидания *общего* экономического роста. При этом социальная теория (концепции постиндустриального общества) стала частью политической борьбы за перераспределение прибыли.

Финансовый капитал провел ревизию социального (демократического) капитализма: долги (общие для всех), а не налоги (собираемые в основном с богатых) стали основой его экономического развития. Одновременно с 1970-х годов положение большей части западного общества перестало качественно улучшаться: увеличение доходов нивелировалось инфляцией, ростом государственного долга и потребительских кредитов. Важно подчеркнуть, что государство сохранило существенную роль в экономической сфере: именно оно гарантирует выплаты государственного долга, регулирует инфляцию и предоставляет поддержку наиболее крупным финансовым игрокам в условиях кризиса. Кроме того, оно обеспечивает социальную стабильность (важный фактор для привлечения инвестиций) и финансирует фундаментальные научные разработки, прикладными результатами которых пользуется технологический сектор экономики.

98

Кризисы в этой модели оказываются необходимой точкой переключения — регулятором не только финансовых потоков, но и социальных программ и ожиданий. В рамках современного неолиберального капитализма они воспроизводят и легитимируют неравенство. Их экономическая и социальная функция неразрывно взаимосвязаны. С этой точки зрения, неолиберализм представляет собой не радикально новый период развития капитализма, но дополнение/ревизию его версии образца 1960-х годов. Здесь в равной степени важны преемственность и различия, связанные с использованием кризиса как средства укрепления существующей экономической и социальной системы.

* * *

Стремление отделить «плохой» неолиберализм от «хорошего» государства благосостояния конструирует ложную оппозицию, подобную прекрасно нам известному противопоставлению лихих 90-х и позднесоветской стабильности образца 1960-1970-х, ставшей своего рода ностальгическим, аффективным ориентиром для новой стабильности нулевых. Такого рода оппозиции не позволяют увидеть преемственность и/или структурную связь там, где провозглашается разрыв.

Предложенная выше попытка описать неолиберализм и welfare state как различные режимы работы одной и той же «машины» дает возможность и заново поставить по-настоящему трудный вопрос

о реальной альтернативе этой «машине». Действительно, современный капитализм стремится контролировать не только экономику и повседневность, эмоции и техники субъективации [Aoust 2017; Braedley, Luxton 2010; Charf 2015], но и язык описания происходящих изменений и образов возможного будущего. Причем не только реформистский язык возврата социальному государству, но и трансгрессивный язык радикальной критики. Кети Чухров [Chukhrov 2020] убедительно показала, что постструктуралистская критика капиталистического отчуждения, говорящая на языке Желания, остается заложником собственной «либидинальности», по кругу отсылающей к либидинальной экономии капитала. Историческое время перестало быть внешним Законом, отмеряющим срок капиталистической формации, — оно превратилось в ее внутреннюю динамику. С одной стороны, время тут — это по-прежнему время прогресса, но такой прогресс не предполагает никакой качественной перемены. В этом смысле мы имеем дело с девелопментальной предсказуемостью. Но с другой стороны, внутри этих темпоральных стен каждый из нас сталкивается с искусственно поддерживаемой капиталом неопределенностью. Как отмечают многие исследователи, ключевой категорией при этом становится категория жизнестойкости, или устойчивости к кризисам [Madariaga 2020; Callison, Manfredi 2019; Chandler, Reid 2016]. Символическое кодирование кризисов как неизбежной реальности социального развития оказывается неотъемлемой частью темпоральной политики и капиталистической политэкономии в целом. Выиграть время означает сохранить прибыли привилегированного меньшинства в условиях растущей неопределенности. Поэтому для социальной теории так важен вопрос о возможности *будущего без капитализма*. Контуры некапиталистического общества обрисовать сегодня еще труднее, чем в 1933 или 1991 годах, в том числе потому, что существующие языки социально-философского анализа утратили свою проективную мощь, стали диалектами монетаристского дискурса. Но это лишь подчеркивает настоятельность вопроса о будущем, в интересах которого нам уже сегодня необходимо переформулировать как теорию экономической эффективности капитализма, так и двусмысленную политику времени, на которую он опирается.

Библиография / References

Бикбов А. (2011) Культурная политика неолиберализма. *Художественный журнал*, 83 (3). (<http://moscowartmagazine.com/issue/14/article/187>)

— Bikbov A. (2018) Cultural policy of neoliberalism. *Moscow Art Magazine*, 83 (3). — in Russ.

Браун В. (2018) Разрушение демократии: как неолиберализм преобразовывает государство и субъекта. *Неприкосновенный запас*, 120 (4): 99-129. (https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyu_zapas/120_nz_4_2018/article/20096/)

— Brown W. (2018) Undoing democracy: neoliberalism's remaking of state and subject. *NZ*, 120 (4): 99-129. — in Russ.

Вирно П. (2013) *Грамматика множества: к анализу форм современной жизни*, М.: Ад Маргинем Пресс.

— Virno P. (2013) *A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life*, Moscow: Ad Marginem Press. — in Russ.

Дардо П., Лаваль К. (2011) Неолиберализм и капиталистическая субъективация. *Логос*, 80 (1): 103-117.

— Dardot P., Laval C. (2011) Neoliberalism and capitalist subjectivation. *Logos*, 80 (1): 103-117. — in Russ.

Корсани А. (2007) Капитализм, биотехнонаука и неолиберализм: информация к размышлению об отношениях между капиталом, знанием и жизнью в когнитивном капитализме. *Логос*, 61 (4): 123-143.

— Corsani A. (2007) Capitalism, biotechnology and neoliberalism: information for reflection on the relationship between capital, knowledge and life in cognitive capitalism. *Logos*, 61 (4): 123-143. — in Russ.

Олейников А.А. (2016) Политика времени. *Социология власти*, 28 (2): 8-14.

— Oleynikov A. (2011) Politics of time. *Sociology of Power*, 28 (2): 8-14. — in Russ.

Штрик В. (2019) *Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма*. Пер. с нем. И. Женина, М.: ИД ВШЭ.

— Streek W. (2019) *Buying time: the delayed crisis of democratic capitalism*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Agathangelou A.M., Killian K.D. (2016) (eds) *Time, Temporality and Violence in International Relations: (De)fatalizing the Present, Forging Radical Alternatives*, New York: Routledge.

Aoust A.-M. de (2017) (eds) *Affective Economies, Neoliberalism, and Governmentality*, New York: Routledge.

Vaccaro L., Howell C. (2017) *Trajectories of Neoliberal Transformation: European Industrial Relations Since the 1970s*, Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Biebricher T. (2019) *The Political Theory of Neoliberalism*, Stanford: Stanford University Press.

Blaney D.L., Inayatullah N. (2010) *Savage Economics: Wealth, Poverty and the Temporal Walls of Capitalism*, New York: Routledge.

Bockman J. (2011) *Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism*, Stanford: Stanford University Press.

Braedley S., Luxton M. (2010) (eds) *Neoliberalism and Everyday Life*, Montreal: McGill-Queen's University Press.

Brown W. (2017) *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*, New York: Zone Book.

- Brown W. (2019) *In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West*, New York: Columbia University Press.
- Cahill D., Cooper M., Konings M., Primrose D. (2018) (eds) *The SAGE Handbook of Neoliberalism*, Los-Angeles; London: SAGE Publications.
- Callison W., Manfredi Z. (2019) (eds) *Mutant Neoliberalism: Market Rule and Political Rupture*, New York: Fordham University Press.
- Campbell A. (2004) *The Birth of Neoliberalism in the United States: A Reorganisation of Capitalism*. A. Saad-Filho, D. Johnston (eds) *Neoliberalism: A Critical Reader*, London: Pluto Press: 187-198.
- Castles F.G., Leibfried S., Lewis J., Obinger H., Pierson C. (2012) (eds) *The Oxford Handbook of the Welfare State*, Oxford; New York: Oxford University Press.
- Chandler D., Reid J. (2016) *The Neoliberal Subject: Resilience, Adaptation and Vulnerability*, London; New York: Rowman & Littlefield Publishers.
- Chari A. (2015) *A Political Economy of the Senses: Neoliberalism, Reification, Critique*, New York: Columbia University Press.
- Chomsky N. (1999) *Profit Over People: Neoliberalism & Global Order*, New York: Seven Stories Press.
- Chukhrov K. (2020) *Practising The Good: Desire and Boredom in Soviet Socialism*, Minneapolis: University of Minnesota Press (e-flux).
- Cornel B. (2016) *Ruling Ideas: How Global Neoliberalism Goes Local*, Oxford: Oxford University Press.
- Dávila A. (2014) Locating Neoliberalism in Time, Space, and “Culture”. *American Quarterly*, 66 (3): 549-555.
- Dumenil G., Dominique L. (2004) *Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution*, Cambridge: Harvard University Press.
- Eisner M.A. (2000) *From Warfare State to Welfare State*, University Park: Penn State University Press.
- Fuchs C. (2016) Neoliberalism in Britain: From Thatcherism to Cameronism. *TripleC*, 14 (1): 163-188.
- Hartog F. (2015) *Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time*, New York: Columbia University Press.
- Harvey D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Konings M. (2018) *Capital and Time: For a New Critique of Neoliberal Reason*, Stanford: Stanford University Press.
- Kotz D.M. (2015) *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Cambridge, London: Harvard University Press.
- Madariaga A. (2020) *Neoliberal Resilience: Lessons in Democracy and Development from Latin America and Eastern Europe*, Princeton: Princeton University Press.
- Mirowski P., Plehwe D. (2015) (eds) *The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought*, Cambridge: Harvard University Press.
- Pierson C., Castles F.G., Naumann I.K. (2013) (eds) *The Welfare State Reader*, New York: Polity.

Reinhoudt J., Audier S. (2017) *The Walter Lippmann Colloquium: The Birth of Neo-Liberalism*, New York: Palgrave Macmillan.

Saad-Filho A., Johnston D. (2004) (eds) *Neoliberalism: A Critical Reader*, London: Pluto Press.

Springer S., Birch K., MacLeavy J. (2016) (eds) *The Handbook of Neoliberalism*, New York: Routledge.

Starke P., Kaasch A., Hooren F. Van (2013) *The Welfare State as Crisis Manager: Explaining the Diversity of Policy Responses to Economic Crisis*, New York: Palgrave Macmillan.

Stewart I. (2020) On Recent Developments in the New Historiography of (Neo) Liberalism. *Contemporary European History*, 29 (1): 116-124.

Tansel C.B. (2017) (eds) *States of Discipline: Authoritarian Neoliberalism and the Contested Reproduction of Capitalist Order*, London: Rowman & Littlefield.

Рекомендация для цитирования:

Николаи Ф.В., Кобылин И.И. (2021) «Выиграть время», или темпоральные (за) стенки неолиберального капитализма. *Социология власти*, 33 (1): 84-102.

For citations:

102

Nikolai F.V., Kobylin I.I. (2021) "Buying Time" or the Temporal Walls of Neoliberal Capitalism. *Sociology of Power*, 33 (1): 84-102.

Поступила в редакцию: 18.01.2021; принята в печать: 28.01.2021

Received: 18.01.2021; Accepted for publication: 28.01.2021

ВАДИМ Г. КВАЧЕВ

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия

ORCID: 0000-0002-8344-6846

Тайна формы самой по себе: возвращение проблемы стоимости

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-103-124

Резюме:

Теория стоимости является одним из фундаментальных вопросов политической экономии, она закладывает самые основы ее функционирования. То или иное представление о стоимости радикальным образом влияет как на исследовательскую программу, так и на политические представления экономистов и социальных теоретиков.

Сегодня вопрос о стоимости считается решенным, по крайней мере в рамках экономического мейнстрима. Иногда он считается просто несущественным или находящимся за пределами поля исследования «настоящей» науки. Но не является ли само стремление оставить этот вопрос нерешенным (отказаться от рассмотрения теории стоимости вообще) или найти ему временное решение (заниматься вопросами цен вместо вопроса о стоимости) свидетельством того, что мы имеем дело с эпистемологическим препятствием, сама сложность которого отражает некоторые противоречия капитализма?

Вопрос о стоимости не только экономический, его следует рассматривать через призму методологии, которую сегодня называют междисциплинарной. Но, прежде всего, это вопрос социально-философский в широком смысле этого слова. Возвращение к вопросу о стоимости позволит по-новому взглянуть на «тайну формы самой по себе», товарной формы, являвшейся центральным объектом рассмотрения политической экономии Маркса. Сегодня вопрос о стоимости по-прежнему остается нерешенным. Настоящая статья призывает отказаться как от эссенциалистского понимания теории стоимости, существовавшего в ортодоксальном марксизме, и скорее понимать стоимость как политическую проблему. Капиталистическая форма стоимости связана с производством основополагающих конфликтов современной социальной системы, и ключ к пониманию этих конфликтов лежит именно в понимании, как функционирует понятие стоимости. Настоящая статья предлагает снова поставить вопрос о стоимости в качестве социально-философского основания критики современного капитализма.

103

Квачев Вадим Григорьевич — доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Москва. Научные интересы: марксизм, исследование капитализма, теория стоимости, экономика труда, неолиберализм. E-mail: kvachevvg@mail.ru

Ключевые слова: стоимость, трудовая теория стоимости, марксизм, капитал, власть

Vadim G. Kvachev¹

Mystery of the Form Itself: the Return of the Value Problem

Abstract:

The theory of value is one of the fundamental topics of political economy; it lays the very foundation for its functioning. The theory of value radically affects both the research program and the political views of economists and social theorists. Today, the question of value is considered to be settled, at least within the economic mainstream. Sometimes it is considered simply irrelevant or outside the field of study of "real" science. But the very desire to leave this question unresolved (to abandon the consideration of the theory of value in general) or to find a temporary solution for it (to deal with the issues of price instead of the issue of value) represents evidence that we are dealing with an epistemological obstacle, the very complexity of which reflects some of the contradictions of capitalism. The issue of value is not only a matter of economics; it should be viewed through an interdisciplinary perspective. But, first of all, it is a socio-philosophical question in the broadest sense of the word. Returning to the question of value will allow us to take a fresh look at the "mystery of the form in itself", the commodity form, which was the central object of consideration of the political economy of Marx. This article proposes to re-raise the question of value as a socio-philosophical basis for a criticism of modern capitalism.

104

Key words: value, labour theory of value, Marxism, capital, power

Введение

Политическая экономия — дисциплина, которая предшествовала современной экономической теории, или экономикс (Economics), — была одержима проблемой стоимости. Политическая экономия стала политической именно через проблему стоимости, и в этом смысле цепочка интеллектуального наследования от Смита к Рикардо, от Рикардо к Прудону и, наконец, к Марксу отражает радикализацию теории, которая первоначально ставила перед собой задачу относительно нейтральную — объяснить капитализм и дать рекомендации по управлению капиталистическим обществом.

1 Vadim G. Kvachev — Associate Professor at the Plekhanov Russian University of Economics, Moscow. Research interests: Marxism, studies of capitalism, theory of value, labour economics, neoliberalism. E-mail: kvachevvg@mail.ru

Что же такого важного в проблеме стоимости? Ведь она, как считается в современной экономической теории, даже не является предметом экономической науки: когда автор самого популярного неоклассического учебника по экономикс П. Самуэльсон [1993: 6, 7] перечисляет список возможных пониманий предмета экономической теории (выказывая особое предпочтение «использованию людьми редких или ограниченных производительных ресурсов»), в него он не включает стоимость (только «богатство»). Проблема стоимости — это социально-политическая проблема: она отвечает на вопрос, кто (или что) создает современный капитализм. Иными словами, это ответ на вопрос, чьей конституирующей силе мы обязаны тем, что живем в современном обществе, которое можно назвать обществом позднего капитализма.

Ответ на этот вопрос будет политическим, поскольку вопрос, следующий за ним, может быть назван вопросом о справедливости: как вознаграждается (наказывается) то или иное участие в создании стоимости (капитализма)?

Именно такую задачу ставила перед собой классическая политическая экономия. Карл Маркс [Marx 1890] в первой книге «Капитала» начинает свой анализ капитализма с изучения загадки стоимости. С помощью этого анализа Маркс разворачивает масштабное описание капитализма, построенного на «фантастической форме», которую принимает создание стоимости. Стоимость, по Марксу, нельзя объяснить иначе, кроме как через ее двойственный характер: она одновременно является потребительной и меновой стоимостью. Но, если первая представляет собой достаточно универсальную характеристику товара как носителя полезного свойства, способного удовлетворять человеческие потребности безотносительно того, как именно этот товар был добыт, то вторая возникает в исторически конкретном капиталистическом обществе как исторически конкретная форма социального богатства.

Меновая стоимость, являющаяся внешней формой (или, как говорит Маркс, «видимостью») стоимости, выражается как относительная стоимость, которая приравнивается к другим товарам в определенной пропорции. Более того, если мы отвлечемся от конкретных качественно полезных свойств разных товаров, то увидим, что вся система товарного производства основана на чисто количественном приравнивании одних товаров к другим. Капитализм как социальная система построен на возможности трансформировать реальность в товарную форму в ее двойственной природе: как нечто, удовлетворяющее потребности, и как нечто, подлежащее обмену в бесконечной системе уравнений с другими товарами.

Маркс идет несколько дальше в своих выводах: абстрагирование посредством денег, которое осуществляется в условиях капитализ-

ма в акте перехода от качества к количеству (или от потребительной стоимости к меновой стоимости), связано с отвлечением от конкретных потребительных свойств товаров. Единственным общим моментом, который остается после такого абстрагирования, становится для товаров то, что все они являются продуктами человеческого труда. Этот труд, в свою очередь, также предварительно подвергся абстрагированию от конкретного полезного труда конкретного работника к абстрактному труду, которые подвергаются измерению в количественном отношении. Маркс [Marx 1890: 128] формулирует это так: «Все эти вещи представляют собой теперь лишь выражения того, что в их производстве затрачена человеческая рабочая сила, накоплен человеческий труд».

Таким образом социальная форма товара становится квинтэссенцией «общественной субстанции» стоимости. Ряд метафизических операций, которые Маркс подробно описывает в первом томе «Капитала» (в первом и втором отделах первой книги «Процесс производства капитала»), подменяют социально-обусловленный характер стоимости и представляет ее в виде абсолютной субстанции, которая подлежит точному измерению. Эта субстанция является одновременно социальной и политической. Как указывают Адорно и Хоркхаймер [1997: 44], «... товары утрачивают все свои экономические качества за исключением их фетишистского характера, последний, подобно артриту, все более и более распространяется на все аспекты жизни общества. Бессчетными агентурными сетями массового производства и его культуры нормированные способы поведения единичного отчеканиваются в качестве единственно естественных, пристойных, разумных».

106

В настоящей статье меня интересует то, какие политические проблемы и способы их решения ставит теория стоимости, какой критике подвергались постановки этих проблем и их решения, и можно ли сегодня говорить об актуальности теории стоимости как политической доктрины?

Существует как минимум два способа прочтения теории стоимости. И оба эти способа имеют фундаментальные предпосылки в области философии, а не в области экономики или политической экономии. Основной вопрос здесь может быть сформулирован следующим образом: является ли стоимость сущностью?

Стоимость — это сущность товара?

Если стоимость является сущностью в философском смысле слова, то в нашей практической деятельности мы можем выработать более или менее убедительные методы для того, чтобы эту сущность обнаружить. Скажем, если тот или иной товар обладает сущностной

стоимостью, то мы при должном развитии научного метода рано или поздно эту стоимость сможем найти и точно вычислить (а, значит, справедливо и научно обоснованно распределить стоимость в виде вознаграждения между трудом и капиталом). Именно в этом ключе в начале XX века было выработано несколько теорий управления, которые были призваны обнаружить и исчислить стоимость, создаваемую трудом. Самыми известными из них являются система Тейлора на Западе и научная организация труда (НОТ) в СССР.

Показательно, что и НОТ, и тейлоризм следовали трудовой теории стоимости буквально, интерпретировав ее как субстанциональную теорию. Если, по Марксу, товар является выражением величины стоимости, величина стоимости, в свою очередь, исчисляется с помощью абстрактного труда, а последний исчисляется общественно-необходимым рабочим временем, то посчитать последнее достаточно просто. В советской экономике труда это осуществлялось путем нормирования труда и фотографий рабочего времени — сложных техник вычисления среднего необходимого рабочего времени для конкретного предприятия или отрасли. Эти техники фактически заменяли социально-обусловленную процедуру выражения труда в стоимости, которую описывал Маркс.

107

Хорошим современным примером буквально понятой трудовой теории стоимости являются «банки времени» — организации, предлагающие единицы времени (обычно часы) работы в качестве альтернативы общепринятым деньгам. На сайте британской Timebanking UK говорится, что «время каждого одинаково ценно; один час, который вы потратили на то, чтобы поделиться своими навыками или помочь другим, вознаграждается ответным часом времени от того, кому вы помогли, своего рода одним часом в кредит — единицей принадлежности к общности»¹. Хотя в отличие от суровой дисциплины тейлоризма или НОТ эта современная инициатива представляет собой добровольный проект, доктрина, которая лежит в ее фундаменте основана на той же самой идее возможности (и необходимости) поиска количественной репрезентации стоимости.

Политические выводы сущностного понимания трудовой теории стоимости очевидны: единственным способом решить проблему стоимости становится научный метод, и в этом смысле наука заменяет политику, поскольку присваивает себе власть суждения об «истинной» стоимости. Поэтому политические выводы лежат в области деполитизации рабочего процесса: антагонизм труда и капитала можно снять (или как минимум приумень-

¹ TimeBanking. URL: <https://www.timebanking.org/what-is-timebanking/>

шить), если правильно исчислить общественно необходимое рабочее время и справедливо за него вознаградить. В Большой советской энциклопедии [БСЭ, 1977] в статье о стоимости говорится, что в социалистической советской экономике наблюдается «органическое единство стоимости и потребительной стоимости», обеспеченное тщательной системой планирования. Государство, таким образом, выступает в роли своего рода конвертера, который превращает «мистическую форму» стоимости в количественно определенную величину. То же самое касается и тейлоризма, хотя задействуются совершенно другие механизмы (объективная наука управления).

Стоимости не существует?

Второй способ прочтения связан с оспариванием трудовой теории стоимости, вплоть до отрицания понятия стоимости вообще. Классическим вызовом трудовой теории стоимости в XIX века стала теория предельной полезности, которую последовательно развивали У.С. Джевонс, Ф. фон Визер, К. Менгер, Э. Бем-Баверк и др.

108

Джевонс [Jevons 1911] одним из первых заявляет, что задача экономической теории исключительно прагматическая — максимизация удовольствия отдельного индивида. Со стороны производства альтернатива трудовой теории стоимости была сформулирована Фридрихом фон Визером [1992], который разработал теорию вменения на основе теории факторов производства: потребительский спрос «вменяет» стоимость разным факторам производства (труд, капитал, земля), как бы оценивая их значимость в процессе производства. Таким образом, фон Визер утверждает связь между субъективной оценкой стоимости, сформулированной Джевонсом, и «реальным производством».

Если суммировать критики понятия стоимости, которые выдвигались в рамках этого интеллектуального направления, то можно сформулировать их следующим образом: стоимость — это всегда исключительно меновая стоимость, которая представляет собой выраженную в цене полезность товара для индивида. Цены свидетельствуют о желании людей получить товары, которые для них представляют определенную полезность, и обмен служит средством получения этих товаров. Таким образом, теория предельной полезности предполагает, что в количественном уравнении массы товаров капитализма (в конечном итоге) наблюдается баланс, который устанавливается путем постоянного взаимовыгодного обмена. Согласно Менгеру [2005], труд в этом процессе вообще не играет никакой роли, а стоимость имеет исключительно субъективный характер. Пытаясь измерить

эту последнюю количественно, Менгер даже предложил таблицы убывающей предельной полезности, следуя которым можно точно оценить предпочтения индивидов и как следствие их рациональные действия при обмене.

Теория предельной полезности на этапе своей разработки комбинировала методологический индивидуализм [Blaug 1992: 45] и так называемые прагматологические представления о человеке как о рациональном, максимизирующем личную полезность создании [Mises 1957: 272] (отчасти эти представления унаследованы от бентамовского утилитаризма и развиты в своего рода теорию максимизации эффективности, охватывающую все сферы человеческой деятельности). Однако далеко идущие социально-философские и политические представления теории предельной полезности носят вполне постмодернистский характер: это своего рода экономический солипсизм, который признает единственной категорией стоимости цену. Одним из первых, кто сформулировал эту идею, был А. Маршалл [1984], который в своих «Принципах политической экономии», во-первых, приравнял стоимость к реальным издержкам (отбросив описанную Марксом диалектику стоимости), а, во-вторых, постулировал, что процесс формирования цены носит экзогенный характер, в экономической науке выраженный в идее игры спроса и предложения. После Маршалла теория стоимости постепенно была фактически вытеснена из предметной области экономической науки.

109

Обезвреженная таким образом теория стоимости могла более не браться в расчет в политэкономических выводах. Они теперь касались объективных законов рынка, к которым не имело смысла предъявлять социально-обусловленные категории. С другой стороны, важным выводом теории предельной полезности стала получившая позднее популярность постмодернистская идея о неприменимости метанарратива справедливости к создаваемой в капитализме стоимости. Напротив, цена как таковая (в том числе заработная плата как ее разновидность) ретроактивно свидетельствует о справедливости. Цена сама по себе является результатом эквивалентного, справедливого, равностороннего обмена между двумя независимыми и свободными рациональными индивидами. Иными словами, если какая-то цена установлена, то это означает, что она всегда установлена справедливо объективными законами рынка (исключение, может быть, составляет коррупция или другие формы искажения объективных механизмов рынка). Это делает рынок универсальным механизмом решения социальных проблем, прежде всего, установления баланса социальной справедливости. Все остальные общественные институты находятся у рынка в услужении.

Поскольку, как указывает Пьер Розанваллон [2007: 92, 93], общество, как его рисует «экономическая идеология», организовано на основе идеи Адама Смита о тотальности рынка как механизма социальной организации, все индивиды представляются равными атомами, автономными единицами социальной материи. Отсюда далеко идущий политико-философский вывод — плоская онтология социального [Kvashev 2020], в которой индивиды, как пишет один из прямо сформулировавших ее уже во второй половине XX века отцов-основателей Бруно Латур, предстают в роли «подслеповатых термитов», которые не знают и не могут знать ничего за пределами конкретной, сиюминутной практической деятельности. Плоская онтология наследует представления, что концепты не действуют в реальной социальной жизни, а действуют только отдельные индивиды. Этот вывод делает значимым объектом управления только фукольдианского «человека-предприятие» [Фуко 2013], максимизирующего свой человеческий капитал, и подрывает значимость коллективного действия и социальной солидарности в качестве общественных сил.

110 Тройную догму современной критики теории стоимости можно сформулировать в духе постмодернистской идеологии, используя историю, которую рассказывает Славой Жижек об одном из пациентов Фрейда, видевшем следующий сон. Он якобы занял у соседа чайник и испортил его, а в ответ на брань последовательно выдвинул три следующих тезиса: «1) я никогда не брал твоего чайника; 2) я вернул тебе его целым и невредимым; 3) чайник уже был дырявым, когда я взял его у тебя» [Жижек 2003: 9]. Подобным же образом можно представить тезисы, находящиеся в оппозиции к теории стоимости: во-первых, стоимостью как социально-философской категорией вообще не стоит заниматься; во-вторых, стоимость — это то же самое, что и цена, и соответственно формулируется игрой спроса и предложения, т.е. субъективными предпочтениями; в-третьих, стоимость вменена труду и капиталу как факторам производства, и поэтому рынок справедливо вознаграждает по заслугам всех участников капиталистического процесса.

Можно ли сегодня изобрести заново теорию стоимости и ответить на эти возражения? Следует ли нам вернуться к критике основ капитализма или следует отказаться от теории стоимости, не отказываясь от политических предпосылок, стоящих за ней (и, следовательно, найти другие способы критики экономической идеологии)?

Критика слева

В своей знаменитой левой критике трудовой теории стоимости Джоан Робинсон [Robinson 1974: 36-43] указывает, что Маркс не кри-

тикует несправедливость капитализма (что означало бы возможность реформирования системы таким образом, чтобы она в конце концов стала справедливой), но описывает механизмы, которые действуют в полном соответствии с собственными имманентными правилами. Рабочий не производит стоимость — он сам и то, что он делает, оценивается в символическом порядке существующих систем стоимости. Робинсон называет эту систему «метафизической», и это, по ее мнению, ничем не лучше «мифа о бартере», который распространяют сторонники противодействующего лагеря.

Левоцентристская критика, подобная той, которая содержится в классическом аргументе Робинсон, стремится обнаружить нестыковки и разрывы изнутри самой экономической идеологии, не прибегая к фундаментальной философской критике понятий. Современный посткейнсианский экономист Хайман Мински делает то же самое, используя внутренний терминологический аппарат экономикс, чтобы показать, что из него возможны выводы, достаточно радикальные по политическим последствиям (показывающие несправедливость капиталистической системы): «рабочим, участвующим в выпуске потребительских товаров, не позволено “присвоить себе” все продукты, которые они произвели ... с помощью системы цен» [Minsky 2008: 162-165].

111

Существуют и попытки сохранить определенные политические выводы, отказавшись или модифицировав трудовую теорию стоимости. Один из таких примеров — работа «Capital as Power» Джонатана Нитцана и Шимшона Бихлера, которая предлагает то, что можно называть властной теорией стоимости. Нитцан и Бихлер [Nitzan, Bichler 2009: 86-88] указывают на три формы критики трудовой теории стоимости: критику понятия товара как «дифференцированного универсального кванта» капитализма; критику разделения между производительным и непроизводительным (создающим и не создающим стоимость) трудом; критику трансформации (более известную как «проблема трансформации») стоимостей в цены. Нитцан и Бихлер предлагают переосмыслить сконструированный порядок (georder) капитализма через другую единичную форму — цену. В основе капитализма, пишут они, лежит *potmos* капитализации, т.е. логика, алгоритм структурирования и определения цен. Капитализация представляет собой «текущую стоимость будущего потока доходов: она говорит нам, сколько капиталист готов заплатить сейчас для того, чтобы получить некоторую сумму денег позднее» [Ibid.: 153]. На ряде убедительных примеров Нитцан и Бихлер показывают, что для объяснения, как функционирует капитализация, необходимо ввести измерение власти. Стоимость (в узком смысле) основана

не на объективной игре спроса и предложения в поисках баланса, а на возможностях игроков влиять на исход капитализации. Нитцан и Бихлер называют эти возможности «властью» и указывают на отличия капитализма от ранее существовавших форм социальной организации, основывавшихся на прямом принуждении. При капитализме доходность выглядит ненасильственной, основанной на взаимовыгодном обмене автономных максимизирующих прибыль индивидов, но на самом деле над логикой действий экономических игроков господствует невидимая власть владельцев капитала с их способностью управлять доходностью, влиять на цены.

И хотя аргументы Нитцана и Бихлера сильны, они направлены в значительной мере в сторону того, что я называю плоской онтологией стоимости, которая предлагает картину реальности, вдохновленную абсолютным уравниванием всех, кто участвует в экономике. Эта доктрина господствует как в экономическом мейнстриме, так зачастую и в обыденных представлениях. В этой перспективе и капиталист, и рабочий являются лишь носителями определенных форм капитала, абстрактными индивидами, которые во всех остальных отношениях равны. Нитцан и Бихлер вводят переменную власти, показывая радикальную невозможность такого равенства в реальных социальных условиях: правила игры не являются анонимными и объективными, а цена не отражает даже стоимость (в узком смысле). Такая теоретическая концептуализация сохраняет до определенной степени силу выводов трудовой теории стоимости, не затрагивая ее фундаментальных философских предпосылок.

112

Дайан Элсон [Elson 1979: 123] в своей классической критике трудовой теории стоимости указывает, что теория стоимости Маркса не ставила перед собой целью ни разоблачение эксплуатации, ни объяснение ценообразования. По словам Элсон [Elson 1979: 129, 130], объект марксовой теории стоимости — объяснение того, каким образом структурируется общественное производство и соответствующая ей социальность и каким образом и по каким правилам живой труд вписывается в эту структуру. Именно этот структурный эффект Нитцан и Бихлер обозначают понятием власти, но теория стоимости не нуждается в этом экстернализованном понятии, поскольку объяснение возникновения стоимости эндогенно, порождено самим характером капиталистического производства.

Вопрос, таким образом, заключается не в том, чтобы критиковать капитализм с точки зрения некоторой экстернализованной позиции (с помощью понятия справедливости цены или эксплуатации), а в том, чтобы показать, что стоимость в капитализме является

внутренним фундаментальным расколом, некоторым базовым антагонизмом, производящим потенциал политического несогласия. Дэвид Харви [Harvey 2018] в своем эссе о теории стоимости выразил это следующим образом: «форма стоимости ... это постоянно меняющаяся и нестабильная система измерения, находящаяся под меняющимся влиянием анархии рыночного обмена, революционных трансформаций в технологии и организации»; иными словами, стоимость — это форма, которая содержит противоречие в самой себе.

Неразгаданная тайна

Но можем ли мы вернуться назад к Марксу и снова попытаться разгадать неразгаданную тайну мистической товарной формы и скрывающейся за ней формы стоимости? Сегодня существует ряд мыслителей, которые полагают, что вопрос о стоимости не является до конца раскрытым (или закрытым), и политический потенциал этого вопроса намного серьезнее и радикальнее, чем это может представляться.

Один из ведущих современных марксистов Славой Жижек указывает на взаимосвязь между символическим порядком и стоимостью в духе альтюссеррианской школы, делая особый акцент на роли товарного фетишизма: «Мы можем спасти трудовую теорию стоимости, но нам нужно десубстанциализировать ее, ... десубстанциализировать в смысле, чтобы отказаться от буквальной идеи о том, что мой индивидуальный труд делает вклад в товар, который я произвожу. Товары имеют ценность только как товары в процессе обмена» [Zizek 2017].

Что Жижек имеет в виду? Более подробно эта мысль раскрыта в главе «Маркс как читатель Гегеля, Гегель как читатель Маркса» из программной работы «Меньше, чем ничто» [Zizek 2012: 400]. Здесь Жижек указывает, что, если прочесть понятие стоимости у Маркса через гегельянскую призму, оно обретает новое свойство: самореферентность. Дело в том, что стоимость не является просто пассивной «немой» универсальностью, которая служит общим знаменателем для тех форм, в которых проявляется (товар и деньги), она обуславливает их внутреннее движение таким образом, что ретроактивно «устанавливает собственные предпосылки». Но почему так получается? Неужели это какая-то форма магии или метафизики, как указывала Джоан Робинсон?

Жижек пишет, что стоимость является «объективной фантазией», фантазией, которая «не являясь частью реальности», обладает всеми признаками реально действующего феномена. Это и есть в его понимании товарный фетишизм: «они не знают этого, но они это

делают» [Magx 1890: 141]. Эта мысль близка к критике ортодоксального понимания трудовой теории стоимости, высказанной ранним советским марксистом Исааком Рубиным [1929]: «Маркс не уставал повторять, что стоимость есть явление общественное, что бытие стоимости (Werthgegenständlichkeit) имеет “чисто общественный характер” и не заключает в себе ни одного атома материи ... абстрактный труд, образующий стоимость, должен быть понимаем как категория социальная».

Крис О'Кейн [O'Kane 2020] описывает недавно наметившуюся в марксизме тенденцию к возвращению к вопросу о стоимости через понятие реальной абстракции. Понятие реальной абстракции разрабатывалось Зон-Ретелем [Sohn-Rethel 1978], Адорно [Хоркхаймер, Адорно 1997], Лефеввром [Lefebvre 2009] и сегодня возвращается в марксистский дискурс благодаря работам Райхельта [Reichelt 2005], Керра [Kerr 1994], Тоскано [Toscano 2008], Боунфелда [Bonafel 2010] и, конечно же, Постоуна [Postone 2003]. В настоящей статье я буду обращаться именно к детальной реконструкции и обновлению теории стоимости Постоуном.

114

Мойше Постоун в фундаментальном труде о трудовой теории стоимости излагает аргументы в пользу того, что фантазия стоимости функционирует как социальное условие капитализма. Прежде всего, он показывает, что сами субстанциональные понятия, которыми пользуется Маркс (такие как «стоимость», «абстрактный труд» и др.), обладают лишь видимостью субстанциональности, поскольку предстают в качестве таковых в системе товарного фетишизма, воплощаясь в виде субстанций в товарной форме. В действительности анализ Маркса направлен как раз на то, чтобы показать их конкретно исторический характер. В частности, как указывает Постоун, категория стоимости представляет собой конкретно историческую форму проявления социального богатства, которая претендует на внеисторический характер. Постоун отмечает, что «... Марксова теория стоимости идентична его теории фетишизма. Что здесь нуждается в объяснении, так это то, почему продукт труда предполагает товарную форму и почему вследствие этого человеческий труд становится универсальным измерителем стоимости вещей» [Postone 2003: 146].

Марксисты довольно редко пытались объяснить категорию абстрактного труда в качестве источника стоимости. По большей части ее принимали в качестве «мысленного обобщения различных видов конкретного труда», и, как указывает Постоун [Ibid.: 146], если его понимать именно так, то Бем-Баверк был прав, заявляя, что стоимость — это потребительная стоимость.

Постоун с этим заявлением не согласен. Абстрактный труд парадоксальным образом не является абстракцией, он содержит-

ся в труде как выражение его функции социальной медиации: абстракция через свое количественное выражение качественно разнообразных форм труда и производства соединяет общественный организм капиталистической формации воедино. В других общественно-экономических формациях, разумеется, тоже существует труд как деятельность по созданию потребительной стоимости, однако эта потребительная стоимость распределяется посредством того, что сегодня бы охарактеризовали в качестве неэкономических механизмов: власть, статус, сословие и т.п. Только при капитализме труд начинает функционировать не просто как способ создания потребительной стоимости, но и как социальный медиатор, положение которого в качестве такового обосновано его социально-конститутивным характером. Иными словами, труд вытесняет и замещает все прочие формы социальных отношений, становясь фундаментальной матрицей социальности [Ibid.: 149-151]. Советский правовед Пашуканис [1929] показывал, как это работает на примере юридических отношений в капиталистическом обществе: «продукт труда приобретает свойство товара и становится носителем стоимости, человек приобретает свойство юридического субъекта и становится носителем права», и, таким образом, более общее и абстрактное право является продуктом социальной медиации общественного производства.

115

Абстрактный труд не представляет собой простую сумму каждого конкретного труда, отвлеченную от своих качественных характеристик и приведенную к некоторому количественному показателю. Абстрактный труд работает, по мысли Постоуна, только как категория тотальности: «... каждый акт труда представляет собой социальную медиацию; и поскольку каждый индивидуальный акт труда функционирует как социальный медиатор.., абстрактный труд каждого из них представляет собой в совокупности не простой набор различных абстрагированных актов труда, но общий взаимосвязанный процесс медиации, иными словами, социально тотализированный абстрактный труд. Продукт социальной тотализированной медиации есть стоимость. Общность этой медиации заключается не только в том, что она соединяет всех производителей, а еще и в том, что ее характер абстрагирован от любой вещественной специфичности, а также от любой социальной частности. Медиация, таким образом, выступает в общем виде как на индивидуальном уровне, так и на уровне общества в целом. С точки зрения общества в целом, конкретный труд человека является частным и составляет часть качественно разнообразного целого; однако как абстрактный труд он представляет собой индивидуализированный момент качественно гомогенной общей социальной медиации».

ции, конституирующей социальную тотальность» [Postone 2003: 152].

Когда эта медиация начинает действовать в капиталистическом обществе, ее эффект, прежде всего, проявляется в установлении стоимости и абстрактного труда как общих категорий. То, что ранее не считалось конкретным трудом и не предполагалось имеющим потребительную стоимость, начинает восприниматься так, как будто оно является тем или другим. Таким образом, категория стоимости как бы выходит за пределы тех конкретно исторических условий, в которых она формировалась и претендует в качестве медиатора на социальную универсальность.

Но зачем нужен такой медиатор? Давайте вновь обратимся к Постону, который дает этому убедительное объяснение. Для Постона стоимость функционирует как то, что Жижек называет «объективной иллюзией», придающей фантазматическую силу простому материальному богатству.

116

Материальное богатство и стоимость отличаются в том отношении, что первое — продукт конкретного труда, овеществленный в форме товаров. Но прежде чем богатство станет богатством, необходимо, чтобы ему была придана социально значимая стоимость, чтобы оно было оценено и помещено в контекст социальных отношений. Стоимость является как раз такой формой социальной медиации, которая опирается на объективацию абстрактного труда. Стоимость отражает не количественную измеримость одних товаров в других (которая является ее следствием), а сам факт, что эти товары могут измеряться с помощью социального опосредования. Таким образом принципиальным является наличие у них общей социальной составляющей — затраченного на их создание труда. Труд, в свою очередь, подвергается измерению с помощью времени, но не индивидуального и конкретного, а «общественно необходимого», т.е. также подвергнутого абстрагированию. Здесь необходимость не имеет никакого отношения к простым средним арифметическим временным затратам на производство какого-то товара. Время, потраченное на производство конкретного товара, опосредовано социально и трансформировано в то среднее значение, которое ретроактивно определено стоимостью товара. Общественно необходимое рабочее время нужно в смысле фетишизированных социальных отношений, которые принимают вид (квази)объективной системы правил, подчиняющих себе трудящегося и производителя.

Социальное богатство в условиях капитализма распадается на две взаимосвязанные формы: материальное богатство, которое выражается в количестве и качестве товаров; и «величина стоимости» (понятие из первого тома «Капитала»), которая из-

меряется в «созидающей стоимости субстанции» абстрактного труда, в свою очередь, измеренного в общественно необходимом рабочем времени. Величина стоимости пропущена через тройной узел социального опосредования: стоимость измеряется абстрактным трудом, абстрактный труд — абстрактным (общественно необходимым) временем, а абстрактное время — абстракцией денег.

Если здесь стоимость функционирует не как субстанция в метафизическом смысле, а как «система социальной медиации», система правил, по которым определяется значимость социальной деятельности (труда и времени), значимость социального статуса того или иного человека, значимость тех или иных классов, то не является ли предлагаемое, например, властной теорией стоимости понятие власти попыткой на уровне прагматической теории ухватить те эффекты стоимости, которые являются формой видимости фундаментальной логики капитализма?¹

Стоимость в этом смысле — эффект того, что Зон-Ретель [Sohn-Rethel 1978: 20] называл «реальной абстракцией», которая противопоставляется концептуальной абстракции — форме мышления, развивающейся вместе с общественными отношениями капитализма. В отличие от нее реальная абстракция возникает в деятельности, в процессе обмена, в рамках которого конкретность товаров абстрагируется до формы чистой стоимости. Эта реальная абстракция функционирует в акте обмена как «постулат об эквивалентности двух товаров»; «они являются эквивалентными потому, что они обмениваются, а не обмениваются потому, что они содержат в себе некоторую эквивалентность» [Ibid.: 46]. Абстракция никак не следует из опыта участников обмена, являясь мысленным допущением; ее реальность доказывается прагматически: она функционирует как часть реальности в акте обмена, не будучи эмпирически ее частью.

Реальная абстракция

Ипликатор Кузнецова — тип массажного коврика, разработанный как средство так называемого рефлексологического воздействия

1 Понятие власти, конечно, здесь может быть необходимым для того, чтобы отразить политические последствия политической экономии стоимости: богатство и эксплуатацию, отчуждение и социальное неравенство и т.д. Однако на более фундаментальном уровне здесь имеет смысл говорить не о власти в смысле способности влиять (на цену или условия продажи и производства), а о структурном эффекте капитализма как конкретно исторической социальной формации.

на тело с целью лечения определенных заболеваний. Коврики такого типа можно купить в исполнении разных производителей, отличающихся модификаций.

Некоторое время назад произошло возрождение этой модели под брендом Pranamat ESO. Новинка позиционируется как «удобный экологичный аксессуар для здорового образа жизни, в котором сочетаются древние принципы и современное исполнение»¹. Цена этой версии коврика в несколько раз выше, чем аналогичные товары других компаний.

Посмотрим, как эта разница в цене может быть интерпретирована в рамках разных вариантов теории стоимости. Ортодоксальный (традиционный) марксизм скажет, что разница между ценой обычного и элитного коврика обусловлена либо эксплуатацией работников, создающих более качественный товар (производительный труд), либо усилиями работников, которые обеспечивают товару рекламу и продвижение (непродуктивный труд, т.е. косвенное участие в эксплуатации труда других). Теория предельной полезности будет утверждать, что цена отражает ценность (полезность) этого товара для тех, кто может заплатить за него более высокую цену, поэтому бессмысленно говорить о стоимости.

118

Что же отражает разница в цене между более простыми и дешевыми версиями массажных ковриков и ковриками, представленными как экотовар люкс-класса? Предположим, они действительно примерно одинаковы с точки зрения материалов, затраченного труда, качества. Согласно властной теории стоимости, цена представляет собой (по крайней мере в какой-то степени) возможность влиять на покупателей и на условия, в которых происходит продажа. Коврики Pranamat ESO широко рекламировались блогерами-миллионниками — инфлюэнсерами, к мнению которых прислушиваются подписчики. Кроме того, эта власть основана на асимметрии информации. Коврики рекламируются как уникальное средство по решению разнообразных проблем со здоровьем, и покупателю, который не обладает специальными медицинскими знаниями, оценить реальный эффект достаточно сложно. С точки зрения политической экономии (или даже экономической политики), эта разница может быть устранена путем возвращения к «справедливой» ситуации, если будет устранено рекламное воздействие инфлюэнсеров и информационная асимметрия. В таком случае цена коврика класса люкс и обычного коврика должны сближаться, и в них отразятся только качественные различия двух то-

1 <https://pranamateco.ru>

варов. К этой идеальной ситуации можно подойти не путем поиска истинной стоимости, а путем преодоления того, что может восприниматься как искажения ценообразования: слишком высокие, несправедливые цены, сопутствующие образу жизни и потребления «праздного класса».

Как видно, властная теория стоимости потенциально позволяет до известной степени реформировать распределения власти, выжив места ее концентрации и восстановив баланс. Рассмотренная политически, властная теория стоимости напоминает практику позитивной дискриминации, которая предполагает преодоление внешних негативных эффектов капитализма (расизм или неравенство) через регулирование баланса между находящимися из-за этих эффектов в неравном положении индивидами или группами.

На мой взгляд, сегодня задача критической политической экономии намного ближе к философской проблеме. Она заключается в том, чтобы продемонстрировать, что негативные внешние эффекты являются проявлением внутренней логики динамики капитализма. Что может нам сказать трудовая теория стоимости о кейсе с массажными ковриками? Для этого нужно рассмотреть тройной узел социального опосредования между деньгами, общественно необходимым временем, абстрактным трудом и стоимостью, о котором писал Постоун.

119

Не имеет значения, относится ли конкретный труд рабочих завода Rpanamat ESO в Латвии к производительному или непроизводительному труду: каждый акт их труда абстрагируется от конкретного содержания и превращается в форму социальной медиации. Вкладывая конкретный труд в производство массажных ковриков, они участвуют в глобальной системе разделения труда, которая сегодня выходит за пределы конкретной страны: зарплата обеспечивается спросом на произведенные товары в России. В этом смысле конкретный труд рабочего, производящего коврики, приравнивается к конкретному труду любого другого человека. Чтобы это приравнивание стало действительным, нужен второй узел: между абстрактным трудом и общественно необходимым временем. Конкретное время каждого работника измеряется в определенных менеджментом и указанных в формальных или неформальных трудовых контрактах единицах времени, которое рабочий должен провести на фабрике и приложить усилия к производству ковриков. Третий узел соединяет деньги и выражаемую ими цену рабочего времени, потраченного на создание массажных ковриков.

Но все сказанное выше будет не более чем системой механических уравнений до тех пор, пока в ней не появится социаль-

ная медиация — стоимость. Именно здесь ключевую роль играет сложная система взаимосвязей, которая называется капитализмом. Пол Мейсон говорит об этом так: «В трудовой теории рынок является передаточным механизмом между этим глубинным, непознаваемым процессом и лежащим на поверхности результатом. Только рынок может превращать индивидуальные решения в совокупный результат. Только рынок может показать нам, какой объем рабочего времени является социально необходимым. В этом смысле трудовая теория — это величайшая теория рынка, которая когда-либо выдвигалась. Согласно ей, рынок и только рынок превращает скрытую реальность в конкретику» [Мейсон 2016: 205].

120 Стоимость как «система социальной медиации» (по Постоуну) функционирует как скрытая переменная, двигатель накопления, явно проявляющийся на рынке. Когда в одной длинной цепочке соединяется необходимый для его выживания труд рабочего из Латвии и статусное потребление представителя верхнего среднего класса из Москвы, именно стоимость функционирует как «объективная иллюзия», позволяющая выразить соотношение между ними данным конкретным образом. Эта объективная иллюзия конституируется из тотальности общественных отношений, представлений и актов, каждый из которых может подвергаться сколько угодно количеству субъективных сомнений («Действительно ли у рабочих справедливая зарплата?»; «Стоит ли коврик тех денег, которые за него просит производитель?» и т.д.), но в совокупности, вне зависимости от индивидуальных действий и представлений, стоимость работает и приводит в движение людей, товары и деньги. Это становится возможно благодаря предложенному Жижекком гегельянскому ходу ретроактивного установления собственных предпосылок. Grammat ESO может организовать определенный процесс производства и продажи ковриков с определенными уровнями зарплат, только ретроактивно определив отношения стоимости между всеми участниками процесса. Этот ретроактивный акт, в свою очередь, возможен только благодаря социальным условиям, которые существуют на рынках сбыта. Например, высокая цена для ковриков класса люкс возможна только при условии их рекламы через влиятельных блогеров, которая повышает цену коврика для потребителя, а потребитель оказывается готов и способен платить эту цену благодаря специфическим условиям, которые складываются в процессе производства и дистрибуции.

Возможность влиять на эти условия можно было бы назвать властью, но, если точнее следовать марксистской терминологии, то корректнее говорить о капитале, определенных общественных

отношениях. Они приводятся в движение стоимостью, которая попеременно принимает видимости абстрактного труда, общественно необходимого рабочего времени и денег, каждая из которых пытается выразить, репрезентировать стоимость, но каждый раз терпит неудачу. Но сама эта неудача, а именно отсутствие возможности однозначно репрезентировать стоимость товара, и является свидетельством действия самой этой стоимости как категории реальной абстракции.

Политическое несогласие, т.е. конфликт теорий, подразумевающих реальные политические последствия, порождаемые теорией стоимости, производит препятствие для согласованной позиции среди интеллектуалов. Например, если мы придерживаемся ортодоксальной трудовой теории стоимости, то не можем рассматривать капиталиста иначе как паразита; а, если придерживаемся властной теории стоимости, то вынуждены будем признать необходимость государственного вмешательства в цепочки создания стоимости. Но в конечном итоге «то, что сперва казалось эпистемологическим препятствием, оборачивается свидетельством того, что мы “коснулись истины”; то, что представлялось свидетельством непостижимости “вещи в себе”, оказывается проникновением в ее суть» [Жижек 1999: 179].

121

Так теория стоимости позволяет ответить на критику «старой» трудовой теории стоимости (как правую, так и левую). Прежде всего, теория стоимости позволяет сместить фокус с изучения ценообразования на описание логики капитализма, стоящей за ним. Основным выводом теории стоимости радикален: тайна формы самой по себе скрывает глубокие антагонизмы капитализма, которые связаны с принципиальной невозможностью установить баланс между стоимостью и ее видимостями. И этот вывод ставит новые вопросы о политических конфликтах, скрывающихся по ту сторону чисто теоретических споров экономистов и философов.

Библиография / References

Визер Ф. (1992 [1914]) Теория общественного хозяйства (избр. гл.). *Австрийская школа в политической экономии*: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер. Пер. с нем., предисл., коммент., сост. В.С.Автономова, М.: Экономика.

— Wieser F. (1992 [1914]) The theory of social economy (selected chap.). *Austrian School in Political Economy*: K. Menger, E. Boehm-Bawerk, F. Wieser. Trans. From German, foreword, commentary, comp. V.S. Avtonomova, M.: Economics. — in Russ.

Вирно П. (2013) *Грамматика множества: к анализу форм современной жизни*, М.: Ад Маргинем Пресс.

— Virno P. (2013) *A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life*, Moscow: Ad Marginem Press. — in Russ.

Дардо П., Лаваль К. (2011) Неолиберализм и капиталистическая субъективация. *Логос*, 80 (1): 103-117.

— Dardot P., Laval C. (2011) Neoliberalism and capitalist subjectivation. *Logos*, 80 (1): 103-117. — in Russ.

Жижек С. (1999) *Возвышенный объект идеологии*, М.: Художественный журнал.

— Žižek S. (1999) *Sublime object of ideology*, Moscow: Khudozhestvennyj zhurnal. — in Russ.

Жижек С. (2004) *Ирак: история про чайник*. М.: Издательская группа «Праксис».

— Žižek S. (2004) *Iraq: a story about a teapot*. Moscow: Praxis Publishing Group.

Маршалл А. (1984) *Принципы политической экономии*, М.: Прогресс.

— Marshall A. (1984) *Principles of Political Economy*, М.: Progress. — in Russ.

Мейсон П. (2016) *Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему*, М.: Ад Маргинем.

— Mason P. (2016) *Post-capitalism. Guide to our future*, М.: Ad Marginem. — in Russ.

122

Менгер К. (2005) *Избранные работы*, М.: Территория будущего.

— Menger K. (2005) *Selected works*, М.: Territory of the future. — in Russ.

Пашуканис Е.Б. (1929) *Общая теория права и марксизм*, М.: Коммунистическая Академия. (http://kritikaprava.org/library/31/obschaya_teoriya_prava_i_marksizm)

— Pashukanis E.B. (1929) *General theory of law and Marxism*, Moscow: Communist Academy. (http://kritikaprava.org/library/31/obschaya_teoriya_prava_i_marksizm) — in Russ.

Рубин И. (1929) *Очерки по теории стоимости Маркса*, М.: Государственное издательство. (<https://zarya.xyz/ocherki-po-teorii-stoimosti-marкса/21>)

— Rubin I. (1929) *Essays on the theory of value by Marx*, Moscow: State Publishing House. (<https://zarya.xyz/ocherki-po-teorii-stoimosti-marкса/21>) — in Russ.

Самуэльсон П. (1993) *Экономика*, М.

— Samuelson P. (1993) *Economics*, М. — in Russ.

Сергеев А.А. (1977) Стоимость. *Большая советская энциклопедия*. Т.24. Часть 3. М.: Советская энциклопедия: 2493.

— Sergeev A.A. (1977) Value. *Great Soviet Encyclopedia*. Т.24. Part 3. М.: Soviet encyclopedia: 2493. — in Russ.

Фуко М. (2010) *Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году*, М.: Наука.

— Foucault M. (2010) *The Birth of Biopolitics. A course of lectures given at the College de France in the 1978-1979 academic year*, М.: Science. — in Russ.

Хоркхаймер М., Адорно Т. (1997) *Диалектика просвещения: философские фрагменты*, М.; СПб.: Медиум, Ювента.

- Horkheimer M., Adorno T. (1997) *Dialectics of Enlightenment: Philosophical Fragments*, M.; SPb.: Medium, Juventa. — in Russ.
- Blaug M. (1992) *The methodology of economics, or, How economists explain*, Cambridge; New York: Cambridge University Press.
- Bonefeld W. (2010) Abstract labour: Against its nature and on its time. *Capital & Class*, 34 (2).
- Elson D. (1979) The value theory of labour. *The Representation of Labour in Capitalism*, London: CSE Books.
- Jevons W.S. (1911) *The Theory of Political Economy*. (<https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/jevons/TheoryPoliticalEconomy.pdf>)
- Kerr D. (1994) Trial by space. *Common Sense*, 15: 18-35.
- Kvachev V. (2020) Unflat Ontology: Essay on the Poverty of Democratic Materialism. *Stasis*, 9 (1).
- Lefebvre H. (2009) *Dialectical Materialism*. Minnesota: The University of Minnesota Press.
- Marx K. (1890) *Das Kapital*. Vol. I. (<https://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/cap1.pdf>).
- Minsky H.P. (2008 [1986]) *Stabilizing the Unstable Economy*. New Haven: Yale University Press.
- Mises L. von (1957) *Psychology and Thymology*. London: Theory and History: 272.
- Nitzan J., Bichker Sh. (2009) *Capital as Power*, N.Y.: Routledge.
- O’Kane C. (2020) The Critique of Real Abstraction: from the Critical Theory of Society to the Critique of Political Economy and Back Again. *Marx and Contemporary Critical Theory*. New York: Springer.
- Postone M. (2003) *Time, labor, and social domination: A reinterpretation of Marx’s critical theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Pranama ECO (2020) Веб-сайт. (<https://pranamateco.ru/>)
- Reichelt H. (2005) Social Reality as Appearance: Some Notes on Marx’s Conception of Reality. *Human Dignity*, Routledge.
- Robinson J. (1974) *Economic Philosophy*, Suffolk: Pelican Books.
- Sohn-Rethel A. (1978) *Intellectual And Manual Labour: A Critique Of Epistemology*. *Atlantic Highlands*, New Jersey: Humanities Press.
- Toscano A. (2008) The Open Secret of Real Abstraction. *Rethinking Marxism. A Journal of Economics, Culture & Society*, 20 (2): 273-287.
- Harvey D. (2018) *Marx’s Refusal of the Labour Theory of Value*. (<http://davidharvey.org/2018/03/marxs-refusal-of-the-labour-theory-of-value-by-david-harvey/>)
- Zizek S (2012) *Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism*. London: Verso.

Рекомендация для цитирования:

Квачев В.Г. (2021) Тайна формы самой по себе: возвращение проблемы стоимости. *Социология власти*, 33 (1): 103-124.

For citations:

Kvachev V.G. (2021) Mystery of the Form Itself: the Return of the Value Problem. *Sociology of Power*, 33 (1): 103-124.

Поступила в редакцию: 01.03.2021; принята в печать: 12.03.2021

Received: 01.03.2021; Accepted for publication: 12.03.2021

ДМИТРИЙ М. ЖИХАРЕВИЧ

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Россия

ORCID: 0000-0002-2518-7858

Элементы прагматической теории капитализма

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-125-168

Резюме:

В статье представлен обзор современной историко-социологической литературы, посвященной осмыслению капитализма с прагматических позиций. Социологическая дискуссия о капитализме, представленная в историко-социологической и экономико-социологической литературе, фокусировалась на его институциональных атрибутах — рынках, деньгах, правах собственности и т. д. В отличие от доминирующего в социологической литературе атрибутивного подхода к анализу капитализма прагматический подход перемещает фокус внимания с институтов на практики придания ценности, в ходе которых компетентные агенты наделяют экономической ценностью различные объекты. В этой перспективе капитализм рассматривается не как совокупность институтов, но как исторически специфичный набор практик, в ходе которых объекты собственности трансформируются в приносящие доход активы. В первой части статьи дается краткая характеристика предпосылок формирования прагматического подхода к капитализму в прагматической экономической социологии и «новой» истории капитализма. Для экономических социологов «прагматический поворот» стал следствием переосмысления дискуссии формалистов и субстантивистов в рамках теоретического проекта, предложенного К. Чальшканом и М. Каллоном и направленного на эмпирическое изучение практик «экономизации». Для историков капитализма аналогичный теоретический маневр мотивировался необходимостью переосмысления экономической природы плантационного рабства в контексте истории США и трансатлантического капитализма в целом. Вторая часть статьи посвящена об-

125

Жихаревич Дмитрий Михайлович — PhD, научный сотрудник Центра STS, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Научные интересы: социальная теория, капитализм, исследования науки и технологий. E-mail: Dzhikharevich@eu.spb.ru

Автор признателен за полезные комментарии Наталье Трегубовой, Давиду Хумаряну и Илье Коновалову. Особая благодарность Антону Смолькину и Александру Павлову за титаническое терпение и толерантность к просроченным дедлайнам.

Acknowledgements: The author is grateful to Natalya Tregubova, David Khumaryan and Ilya Konovalov for useful comments. A special thanks is due to the editors of this journal and this issue, Anton Smol'kin and Alexander Pavlov, for their heroic patience and tolerance for the author's perennially failed timing.

зору основных расхождений между прагматическим и доминирующим в социологии атрибутивным подходами к анализу капитализма. Прагматический анализ предполагает поворот от репрезентации к действию, проблематизацию темпоральной организации капитала, перенос акцента с процессов коммодификации на процессы капитализации, а также внимание к роли компетентных агентов в этих процессах. В заключение приводятся некоторые соображения относительно перспективы развития прагматической теории капитализма.

Ключевые слова: капитализм, прагматизм, экономическая социология, история капитализма

Dmitrii M. Zhikharevich¹

European University at St Petersburg, Russia

Elements of a Pragmatic Theory of Capitalism

Abstract:

This paper offers a review of the recent literature on capitalism in history and sociology inspired by the Pragmatist perspective. In historical sociology and economic sociology, capitalism has largely been discussed in terms of its institutional attributes, e. g. property rights, money, markets, proletarianization of labor, supportive governments, etc. This approach can tentatively be called “attribute-based.” In contrast to the “attribute-based” approach, the pragmatic approach takes a different perspective on capitalism, treating it as a set of practices rather than a set of institutions. Thus, capitalism appears as a set of historically specific valuation practices, whereby legal property is transformed into income-generating assets. The first part of the paper describes the origins of the “pragmatic turn” in the study of capitalism in economic sociology and the “new” history of capitalism. For the former, the emergence of the pragmatic approach to capitalism resulted from the development of the research program on “economization” elaborated by Koray Çalışkan and Michel Callon. For the latter, the impetus came from the necessity to rethink the economic characteristics of chattel slavery in the history of American capitalism, as well as the history of the trans-Atlantic economy more generally. The second part of the paper focuses on the divergences between “attribute-based” and pragmatic approaches to capitalism. The latter presupposes a turn from representation to action, putting the temporal organization of capital as a process into the centre of analysis, a turn from commodification processes to the processes of capitalization or assetization, as well as the role of competent agents in these processes. In conclusion, several tentative generalizations are offered regarding the prospects of the pragmatic approach to capitalism.

Keywords: capitalism, pragmatism, economic sociology, history of capitalism

1 Dmitrii M. Zhikharevich — PhD, research fellow, STS Centre, European University at St Petersburg. Research interests: social theory, capitalism, science and technology studies (STS). E-mail: Dzhikharevich@eu.spb.ru

Введение

Происходящее в последние годы оживление интереса к понятию капитализма [Boldizzoni 2008; Hodgson 2015; Коска 2016], резко контрастирующее с его «исчезновением» из репертуара социальных наук на рубеже веков [Heilbroner 1998; Arrighi 2001], пока не привело к значительному обновлению социологической дискуссии. Как понятие и проблема капитализм наиболее интенсивно обсуждался в двух социологических литературах: сравнительно-исторической макросоциологии, где пик дискуссий пришелся на 1970–1980-е годы, и экономической социологии конца 1990–2000-х годов. Историко-социологические дебаты строились вокруг двух основных эмпирических проблем. Во-первых, это была «проблема перехода» от феодализма к капитализму, то есть вопрос о том, «почему капитализм развился вначале в определенный момент в отдельных частях Европы» [Лахман 2010: 31]; во-вторых, обратная «проблема „фальстартов капитализма“», то есть вопрос о том, почему капитализм *не* развился в другое время в других частях Европейского континента, где к этому существовали предпосылки [Emigh 2009; Lachmann 1989; Лахман 2010: 86–175; 2016: 38–59; Грэбер 2014: 39–46]. Эти вопросы имели значение не только в рамках исторической полемики о периодизации: предметом дискуссии были альтернативные объяснения генезиса капитализма и его «фальстартов» в конкретных регионах в конкретные исторические периоды, согласованные в рамках единой теоретической схемы, как правило, опирающейся на синтез марксистских и веберовских подходов¹.

127

В 1990-е и 2000-е годы дискуссия о капитализме возобновилась в экономической социологии и сравнительной политэкономии, которые фокусировались, с одной стороны, на проблеме «перехода к рынку» в странах бывшего СССР и «рыночных реформах» в Восточной Европе, Китае и Латинской Америке, с другой стороны — на сравнительном изучении «вариантов капитализма» (*varieties of capitalism*) и различных форм институциональной укорененности рынков². В отличие от исторической социологии экономико-социологическая дискуссия о капитализме фокусировалась уже не на контингентных исторических процессах его генезиса, а на синхронической «картографии» институциональных разли-

1 Точку в этих дебатах, по-видимому, поставил в своих работах Ричард Лахман [2010] (см. обзор в работе [Жихаревич, Резаев 2013]).

2 См., например, работы [Дор 2008; Биггарт, Гиллен 2008; Флигстин 2013; Hall, Soskice 2001; Nee, Swedberg 2005; Swedberg 2005a; Swedberg 2005b; Nee, Swedberg 2007; Streeck 2012; Hall 2015; Reinert et al. 2016].

чий между национальными моделями капитализма¹. Поскольку как «старая», так и «новая» экономическая социология избежали прямого влияния марксизма [Aggighi 2001], теоретическим ориентиром для этой дискуссии стал синтез веберовской концепции капитализма и работ Карла Поланьи по сравнительно-историческому анализу хозяйственных систем [Поланьи 2002; 2010; Swedberg 2005a; 2005b; Beckert, Asperts 2010].

В обеих литературах под капитализмом понималась совокупность институциональных атрибутов, предположительно исчерпывающих теоретическое содержание этого понятия: частная собственность на землю и другие средства производства, пролетаризация труда, государственная защита прав собственности и т.д. [Ллахман 2010: 27; Флигстин 2013; Beckert 2013; Swedberg 2005a; 2005b]². В историко-социологической дискуссии они рассматривались как необходимые и достаточные условия для возникновения капитализма, в политэкономии и экономической социологии — как переменные для межстрановых сопоставлений. Поэтому в порядке грубого обобщения доминирующий в социологии подход к анализу капитализма можно назвать атрибутивным.

128

Атрибутивный подход располагает понятие капитализма на пересечении трех категориальных рядов. Во-первых, вслед за марксистской теорией капитализм противопоставляется «докапиталистическим экономическим формациям», в которых превалировало внеэкономическое принуждение к труду, а товарный обмен не имел генерализованного характера [Hobsbawm 1965; Hindess, Hirst 1975]. Во-вторых, вслед за Вебером и его последователями под капитализмом понимается эпоха в истории хозяйства, когда доминирующим способом удовлетворения повседневных потребностей становится доходное предприятие — особый тип экономического действия, ориентированного на получение прибыли и капитальный расчет,

1 Наиболее последовательно этот подход развил Н. Флигстин в своих работах об институциональной архитектуре рынков [Флигстин 2013], но наиболее отчетливая формулировка общего принципа принадлежит не ему, а Р.М. Унгеру, назвавшему понятие рыночной экономики «институционально недетерминированным», то есть допускающим многообразие институциональных и правовых форм реализации [Unger 2010: 9], на изучении которых и сфокусировались экономические социологи [Флигстин 2013; Knudsen, Swedberg 2009; Granovetter 2009; Жихаревич 2018].

2 Подобного подхода придерживается и современная экономическая история, определяя институциональное «ядро» капитализма, характерное для любых национальных «вариантов», через четыре атрибута: частные права собственности; контракты, обязательные к исполнению третьими сторонами; рынки с гибкими (responsive) ценами; поддерживающие правительства [Neal 2014: 2; Neal, Williamson 2014a; 2014b].

в противоположность домохозяйству, направленному на непосредственное удовлетворение потребностей путем соотнесения предельных полезностей [Вебер 2001: 12, 13; 254-257; Collins 1980; Swedberg 1998]¹. В свою очередь капитальный расчет может быть более или менее рационален в зависимости от наличия определенных институциональных атрибутов². Наконец, в концепции Поланьи, от которой отталкивается экономико-социологическая дискуссия о капитализме, последний отождествляется с «рыночным обществом», где рынок становится центральным экономическим институтом, опосредующим размещение факторов производства, и противопоставляется нерыночным механизмам интеграции хозяйственных систем: взаимности, перераспределению и автаркии [Поланьи 2002: 55-68; Swedberg 2005a; 2005b].

В последние 10 лет в исторической и социологической литературе начал складываться новый подход к анализу капитализма, независимый от предыдущих дискуссий в исторической и экономической социологиях. Этот подход можно назвать прагматическим, поскольку он пересматривает понятие капитализма, интерпретируя его не как совокупность экономических *институтов* (рынки, деньги, права собственности и т.д.), но как набор специфических *практик*, в ходе которых агенты придают экономическую ценность широкому кругу объектов и процессов (*valuation practices*) [Kornberger et al. 2015]. Основные элементы прагматического подхода были намечены в двух литературах, первоначально развивавшихся независимо друг от друга, — прагматической экономической социологии и «новой» истории американского капитализма. Их формальное объединение произошло в конце 2010-х годов с выходом первых работ, содержащих взаимные цитирования [Giraudeau 2019; Muniesa et al. 2017; Cook 2017; Levy 2017; Abourhame, Jabary-Salamanca 2016; Giraudeau 2016; см. также Birch,

- 1 Согласно Веберу [2001: 255], «целая эпоха может быть названа... типично-капиталистической... когда покрытие потребностей совершается капиталистическим путем... в таком объеме, что с уничтожением этой системы пала бы возможность их удовлетворения вообще».
- 2 В разных вариантах они включают: присвоение автономными частными предприятиями свободной собственности на вещные средства производства, вольный рынок, рациональную технику, рациональное право, свободный труд, коммерческую организацию хозяйства, а также рациональный дух и рациональную этику [Вебер 2001: 254-257, 285-286, 317-320]. См. подробнее об этом в работах Р. Коллинза и Р. Сведберга [Collins 1980; Swedberg 1998: 7-21]. Собственно, сам способ рассуждения об институциональных предпосылках капитализма, характерный для значительной части исторической социологии, можно охарактеризовать как веберианский [Ragin, Zaret 1983; Sewell 1990].

Muniesa 2020]. С содержательной точки зрения, социологическую и историческую версии прагматического подхода к анализу капитализма также объединяет ряд общих черт.

Во-первых, обе литературы испытали интеллектуальное влияние американского прагматического движения XIX–XX веков, хотя и в разной степени [Muniesa 2016; 2011; Hodgson 2004; Livingston 2000; Уопану 1998]. Если теоретическими ориентирами дискуссии в исторической и экономической социологии выступали работы Маркса, Вебера и Поланьи, то для прагматического анализа капитализма релевантными классиками оказываются институциональные экономисты «старой» школы, прежде всего, Т. Веблен и Дж. Коммонс. Во-вторых, прагматический подход предполагает отказ от рассмотрения экономической ценности (стоимости) терминах имманентных качеств и их репрезентаций (труд как источник стоимости vs деньги как ее репрезентация)¹. Прагматические теории смещают акцент с репрезентации на деятельность и предлагают мыслить ценность как результат практик придания ценности. В-третьих, такой подход переориентирует анализ на рассмотрение процессов, а не сущностей: вместо капитализма-как-состояния прагматические теоретики предпочитают говорить о капитале-как-процессе *капитализации*, которая понимается как частный случай практик придания ценности. В-четвертых, рассмотрение капитала как капитализации смещает акцент с товарного производства и рынка труда на инвестиции капитала, в анализе которых ключевой категорией оказываются не товары, а капитальные активы [Birch, Tyfield 2013; Girardeau 2016; Birch 2017]. Эта категория позволяет увидеть общие черты у рабовладельческого капитализма XVIII–XIX веков и современного «когнитивного» или «платформенного» капитализма, извлекающего ренту из прав собственности на знание и большие данные. В обоих случаях ключевым политэкономическим процессом является не коммодификация (рабского труда или единиц знания), а капитализация, в рамках которой рабы и знание превращаются в активы, обладающие ценностью одновременно как «факторы производства», и как приносящая доход собственность. Наконец, в-пятых, фокус на практиках предполагает помещение в центр анализа деятельности людей как компетентных агентов, без практических действий, знаний и навыков которых невозмо-

130

1 Отказ от анализа в терминах репрезентации является ключевой особенностью прагматического подхода, как он понимается в настоящей статье, и отличает его от других попыток построения прагматической теории капитализма или развития теоретических интуиций Веблена и Коммонса [Deutschmann 2011; Nitzan, Bichler 2009].

жен процесс капитализации [Çalışkan, Callon 2009; Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2002].

В первой части статьи дается краткая характеристика предпосылок формирования прагматического подхода к капитализму в социологической и исторической литературах. Вторая часть посвящена обзору основных расхождений между прагматическим и атрибутивным подходами к анализу капитализма. В заключение приводятся некоторые соображения относительно перспективы развития прагматической теории капитализма.

От процессов экономизации к практикам придания ценности

Прагматический поворот в анализе капитализма был подготовлен в рамках программы исследования процессов «экономизации», предложенной М. Каллоном и К. Чальшканом. Каллон впервые использовал этот термин как собирательное обозначение «оформления и форматирования» экономики-как-вещи экономикой-как-дисциплиной, в ходе которого последняя обнаруживает свой перформативный характер [Callon 1998: 32-46; Callon, Latour 1998]. Под экономизацией понимается совокупность практик, конституирующих формы поведения, организации, институты и в более общем смысле объекты, которые в том или ином обществе квалифицируются в качестве «экономических», причем осуществляют эту квалификацию как эксперты (например, экономисты), так и «обычные» люди [Çalışkan, Callon 2009: 369-370; ср. Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2002]. Другими словами, границы «экономического» невозможно установить априори: они контингентны и конституируются в практиках экономизации [Çalışkan, Callon 2009: 369]. Задача исследователя состоит не в уточнении этих границ, а в изучении конкретных ситуаций, в которых они проводятся на практике, например в ситуациях рыночного обмена [Çalışkan, Callon 2010]. Экономическая социология и антропология не могут претендовать на то, что изучают онтологический регион «экономического», границы которого заранее ясны. Напротив, они должны включить сами процессы проведения этих границ в область своего интереса.

Развивая свою исследовательскую программу, эксплицитно обозначенную как прагматическая, Чальшкан и Каллон [Çalışkan, Callon 2009: 386] предприняли ревизию ключевой дискуссии в экономической антропологии 1960-х годов — полемики формализма и субстантивизма, посвященной формальному и содержательному значению «экономического». С точки зрения формализма, «экономическое» — это не отдельная сфера человеческой деятель-

ности, а специфический аспект *любого* поведения, присущий ему в той мере, в какой оно связано с осуществлением более или менее рационального выбора между альтернативными целями в условиях ограниченности средств для их достижения [Роббинс 1993]. С точки зрения субстантивизма, «экономическое» — это процесс удовлетворения людьми материальных потребностей во взаимодействии со своей социальной и природной средой в процессах производства, распределения и потребления [Поланьи 2010]. Конвенциональная интерпретация этой полемики рассматривала формализм как «продолжение экономики», а субстантивизм — как «продолжение социологии» другими средствами [Грановеттер 2002: 45–46; Çalıřkan, Callon 2009: 374]. Ключевым инсайтом Чалышкана и Каллона стал симметричный подход к этой дискуссии: они показывают, что субстантивизм тоже опирается на экономическую теорию, а у формализма есть собственный социологический проект.

132

Социологи и антропологи выдвигали два аргумента против формализма. Во-первых, критики указывали на его зависимость от неоклассической экономической теории, определяющей «экономическое» через индивидуальное поведение и игнорирующей социальный контекст [Грановеттер 2002]. Во-вторых, критике подвергались претензии формализма на универсальность, не учитывающие различия экономической мотивации в современных рыночных и досовременных нерыночных обществах [Поланьи 2010]. Чалышкан и Каллон показывают, что оба аргумента верны и в отношении субстантивизма. Во-первых, субстантивизм тоже находится в зависимости от экономической теории, просто от другой ее разновидности — классической политэкономии, где «экономическое» определяется через «логику-эмпирическую» триаду производства, распределения и потребления [Çalıřkan, Callon 2009: 375]. С прагматической точки зрения, предметом полемики тогда оказывается не определение «экономического», а распределение агентности в процессе экономизации: для формалистов ее агентами являются индивиды, для формалистов — общества [Ibid.: 376–377]. Во-вторых, субстантивистское определение экономического тоже претендует на универсальность. Там, где формализм постулирует, что экономическое поведение индивидов устроено одинаково во все времена, субстантивизм утверждает, что все общества должны удовлетворять свои материальные потребности¹. В обоих случаях универсализм «экономического» нуждается

1 Ср.: «Редкость средств, предназначенных для удовлетворения целей разной значимости, — это почти универсальное свойство среды, в которой

в социологическом дополнении. Поскольку формы и модальности индивидуального экономического поведения отличаются друг от друга в разных культурах, формализм приводит к необходимости сравнительного изучения культур. Поскольку удовлетворение обществами материальных потребностей по-разному устроено в разных обществах, субстантивизм приводит к необходимости сравнительного изучения экономических институтов [Ibid.: 376].

Отталкиваясь от этих рассуждений, Чалышкан и Каллон обратились к проблематике экономической ценности, где теоретические позиции тоже тяготеют к полюсам формализма и субстантивизма. Формалистская позиция предполагает междисциплинарное разделение труда, которое Д. Старк остроумно назвал «пактом Парсонса»: «мы, экономисты, изучаем ценность; вы, социологи, изучаете ценности» [Stark 2000; Çalıřkan, Callon 2009: 381]¹. С одной стороны, экономическая теория изучает ценность как количественную характеристику объектов, поддающуюся точному исчислению и подлежащую рациональной оценке экономическими агентами². С другой стороны, ее дополняет сравнительное изучение «систем ценностей», понимаемых как «предельные цели» человеческой деятельности, придающие ей смысл, обладающие качественным своеобразием и несводимые друг к другу [Kornberger et al. 2015; Graeber 2001: 1-22; Spates 1983]. «Пакт Парсонса» в социологии и формализм в антропологии предполагают, что исчисление экономической ценности устроено одинаково везде и во все времена, однако степень его рациональности отличается в зависимости от ценностей той или иной культуры. Прототип этой аргументации — веберовский ана-

совершается человеческая деятельность» [Роббинс 1993: 18]; «Разумеется, никакое общество не могло бы жить, не располагая экономикой того или иного типа, однако вплоть до нашей эпохи не существовало экономики, которая, хотя бы в принципе, управлялась законами рынка» [Поланьи 2002: 55].

- 1 Старк подчеркивает роль парсоновского теоретического проекта в расщеплении проблематики ценностей на единичную экономическую ценность и множественные культурные ценности [Parsons 1935; Camic 1987; Spates 1983]. «Пакт Парсонса» предполагает разделение труда, в рамках которого в профессиональной юрисдикции экономистов оказывается человеческое поведение, связанное с осуществлением выбора в условиях альтернативности целей и ограниченности ресурсов, тогда как социологам надлежит сосредоточиться на изучении рамочных условий, в которых осуществляется этот выбор, в частности, культурных ценностей и норм, «канализирующих» экономическое поведение [Stark 2000].
- 2 Такой подход к ценности восходит к утилитаризму И. Бентама. См. [Kornberger et al. 2015].

лиз культурных предпосылок развития рационального капитализма, развитый Парсонсом и легший в основу теории модернизации.

Если для формализма решающее значение имеет разрыв между экономической ценностью и культурными ценностями, для субстантивизма аналогичную роль играет разрыв между современными и досовременными обществами, поскольку в них по-разному организованы производство, распределение и потребление. Логическим развитием субстантивистской программы становится проект исторической социальной науки, изучающей несводимые друг к другу системы правил, по которым в разных обществах устроено удовлетворение материальных потребностей. Экономическая ценность рассматривается как имманентная этим системам правил, будет ли это «закон стоимости» (Маркс), характерный для капиталистического товарообмена, или «тотальные поставки» (Мосс), логике которых подчиняется архаический обмен дарами [Çalışkan, Callon 2009: 385, 386]. Субстантивизм утверждает, что все общества должны производить, распределять и потреблять материальные блага, однако на длинных исторических промежутках эти процессы организованы по-разному, складываясь в несводимые друг к другу способы производства, системы обмена или «режимы ценности»¹. Прототипом этой аргументации является анализ генезиса буржуазного способа производства, предложенный Марксом и развитый его последователями в концепции материалистического понимания истории.

134

Как показывают Чалышкан и Каллон, в обоих случаях агентам отводится пассивная роль. Если ценностью («полезностью») обладают сами объекты, задача агентов сводится к ее более или менее верной оценке, а культурные ценности могут способствовать или препятствовать решению этой задачи. Например, рационализация хозяйственной этики, исходно имеющая ценностную природу, приводит к устранению таких иррациональных препятствий для развития рынка, как концепция справедливой цены, и делает возможной строго рациональную оценку обмениваемых благ [Вебер 2001: 317-332; Collins 1980]. Если ценность объектов задается правилами обмена, агенты превращаются в пассивных посред-

1 Маркс использовал терминологию способов производства, Поланьи — механизмов интеграции экономических систем, в экономической антропологии принято говорить о системах обмена или режимах ценности [Gregory 198; Çalışkan, Callon 2009; Graeber 2001]. Как показал К. Каратани, возможен синтез этих концепций через понятие способа обмена (mode of exchange) [Karatani 2008], что особенно актуально в свете ограничений понятия способа производства [Graeber 2006]. Для целей настоящей статьи далее используется собирательный термин «правила обмена».

ников структурной логики. Например, «закон стоимости» (Маркс) или «тотальная поставка» (Мосс) суть взаимоисключающие системы таких правил, которые, однако, в равной мере принудительны для агентов [Çalışkan, Callon 2009: 384–388; Маркс 1952; Мосс 2012]. Опираясь на прагматическую интуицию, Чалышкан и Каллон приходят к выводу о необходимости пересмотра понятия ценности как производного не от внутренних свойств самих объектов и не от институционально определенных правил их циркуляции, но от активной деятельности людей как компетентных агентов, чьи практические действия, знания и навыки в конечном счете и придают ценность вещам [Çalışkan, Callon 2009: 388; Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2002]. Вопреки субстантивизму границы разных систем обмена не являются непроницаемыми: антропологические исследования показывают, что дары могут становиться товарами, а товары — дарами; статус вещи определяется контекстом и практиками придания ценности, к которым прибегают агенты [Gregory 1982; Thomas 1991; Callon, Latour 1998]. Вопреки формализму деятельность агентов не сводится к корректной (рациональной) количественной оценке характеристик объектов: агенты придают ценность объектам в непрерывном процессе их коллективной (ре) квалификации и переоценки, причем как внутри, так и за пределами конкурентного рынка [Çalışkan, Callon 2009: 389, 390; Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2002]. Как и в случае процессов экономизации, Чалышкан и Каллон предлагают «фланговый маневр»: не редуцировать проблему ценности ни к рациональности индивидуальных оценок характеристик объектов, ни к эффектам системы правил, по которым эти объекты циркулируют, но эмпирически изучать практики, в ходе которых компетентные агенты придают ценность объектам.

«Фланговый маневр» вокруг проблемы ценности оказался теоретически продуктивным для переосмысления понятий капитала и капитализма. Атрибутивный подход к капитализму, доминирующий в социологической дискуссии, фокусируется на институтах и депроблематизирует ценность (стоимость), рассматривая ее либо как эффект системы отношений, либо как свойство самих вещей. Так, Маркс анализирует ценность (стоимость) как «стоимостное отношение», то есть специфическую форму, которую принимает общественный характер человеческого труда в условиях товарного производства. Стоимостное отношение — это отношение продуктов труда как стоимостей; оно «есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык», и обладает принудительной силой «регулирующего естественного закона», который управляет товарным обменом [Маркс 1952: 80–81]. Агенты выступают пассивными посредниками этой структурной логики: «они

не сознают этого, но они это делают» [Там же: 80]. Напротив, Вебер [2016: 113, 118, 119]¹ намеренно избегает «спорного понятия» ценности (стоимости), вместо которого применяет неоклассическое понятие полезности. Носителями полезности (как вещными, так и не вещными) выступают различные блага, каждое из которых рассматривается как совокупность «отдельных, *оцениваемых* как желаемые, предполагаемых возможностей их использования» [Там же: 118, 119]. Агенты могут делать различные блага объектами своего стремления к полезности или связанным с ней экономическим возможностям, преследуя их более или менее рациональным образом, однако сами эти возможности ограничены природой благ как носителей полезности. Концепцию Поланьи можно интерпретировать как промежуточный случай: «великая трансформация» была неудачной попыткой подчинить экономическую ценность рынку, то есть произволу эгоистичных индивидов².

136

Таким образом, атрибутивный подход сводит ценность либо к полезности конкретных благ с точки зрения агентов, либо к эффекту структурной логики, управляющей процессами производства и обмена. В обоих случаях ценность рассматривается как нечто данное, будет ли это полезность благ, обусловленная возможностями их использования в хозяйственной деятельности, или исторически сложившееся общественное отношение, опосредованное вещами, в то время как агентам отводится пассивная роль. Прагматический подход возникает из попытки обойти обе позиции с помощью «флангового маневра» Чалышкана и Каллона: переосмыслить капитализм как специфическую разновидность практик придания ценности — *капитализацию*, рассматривая капитал процессуально и реляционно как «форму действия, метод контроля, акт конфигурации,

1 В немецком оригинале Вебер использует слово Wert (ценность), которое русский перевод передает как стоимость. Веберовское определение полезности включает «конкретные *особенные*, реальные или воображаемые, *возможности* сегодняшнего или будущего использования чего-либо, на обеспечение которых направлены усилия хозяйствующих лиц, воспринимающих эти возможности как средства достижения целей хозяйствования» [Вебер 2016: 118, курсив в оригинале]. Ср. с неоклассическим определением предмета экономической науки «через редкость» [Роббинс 1993: 16–18].

2 Поланьи [2002: 269] считал рыночное общество опасной утопией, приводящей к деструктивным эффектам в случае полной реализации: «Рыночное общество заслуживает критики не потому, что оно основывалось на экономике — последняя представляет собой в известном смысле необходимый фундамент любого общества, — а за то, что в основе его экономики лежал принцип эгоизма. Подобная организация экономической жизни является совершенно неестественной и необычной — в строго эмпирическом смысле чего-то *исключительного и уникального*».

операцию» [Muniesa et al. 2017: 14; Giraudeau 2016; Muniesa 2011]. В свою очередь прагматический анализ капитализма должен начинаться не со списка его институциональных атрибутов, а с изучения форм самого капитала, понятого как совокупность исторически изменяемых практик капитализации [Muniesa et al. 2017].

«Капитализм рабства»

Историческая версия прагматического поворота в анализе капитализма сформировалась в рамках «новой» истории американского капитализма. Эта литература сложилась в США на рубеже 1990-х и 2000-х годов как попытка возобновить историческую дискуссию об американском капитализме, отказавшись от телеологических концепций предыдущей историографии и учитывая последние достижения других социальных наук. Решающее влияние на ее формирование оказала дискуссия о природе плантационного рабства на американском Юге и островах Карибского бассейна в XVIII-XIX веках. В традиционной историографии рабство интерпретировалось как архаичный институт, основанный на неэкономическом принуждении и коммодификации самого труда, а не рабочей силы, на смену которому приходит капитализм, базирующийся на эксплуатации формально свободного наемного труда [Johnson 2004; Beckert, Rockman 2016: 9-10; O'Sullivan 2018: 762-777; Hilt 2017]. Теоретической основой подобного анализа выступала политическая экономия, либо постулировавшая неэффективность рабского труда (Смит), либо выводившая «рабское хозяйство» за скобки анализа капиталистического способа производства в его индустриальной форме, парадигматическим примером которого выступала английская текстильная промышленность (Маркс)¹. Однако в XVIII-XIX веках Англия, американский Юг и Вест-Индия были частью единой атлантической экономики, в рамках которой регионы наемного и рабского труда связывались общими товарными, денежными и миграционными потоками². Отказываясь рассматривать планта-

1 Маркс признавал, но подробно не исследовал роль рабства в развитии капитализма: «Вообще для скрытого рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента неприкрытое рабство в Новом Свете» [1952: 763]. Джонсон указывает, что эта фраза интерпретировалась в свете стадийной концепции перехода от рабовладения к капитализму, однако возможно и «синхроническое» прочтение, акцентирующее взаимозависимость «неприкрытого рабства» в Новом Свете и «скрытого рабства» наемных рабочих в Старом Свете [Johnson 2004].

2 Так, до Гражданской войны выращенный рабами хлопок был самым ценным экспортным товаром США, сыгравшим значительную роль в разви-

ционное рабство как самостоятельный хозяйственный уклад, не являющийся частью капитализма *tout court*, хотя и связанный с ним экономическими отношениями,¹ «новые» историки капитализма сфокусировались на анализе их взаимозависимого сосуществования в рамках единого социально-экономического порядка, обозначаемого как «капитализм рабства» (*slavery's capitalism*) [Beckert, Rockman 2016].

Ключевым инсайтом «новых» историков в интерпретации «капитализма рабства» стал фокус на капитале, а не на труде. Если в качестве ключевой переменной рассматривать труд и формы его контроля, «капитализм рабства» вполне сопоставим с другими режимами принудительного труда, возникшими в периферийных регионах мир-системы после их вовлечения в орбиту европейской торговли в «долгом XVI веке». Наемный труд и рабство не противоречат друг другу как элементы разных способов производства, а являются разными способами контролировать труд, сосуществующими в едином пространстве международного разделения труда и перемещения прибавочного продукта [Валлерстайн 2015: 99-129]. Но если сосредоточиться не на труде, а на инвестиционной привлекательности предприятий, в которых этот труд задействуется, рабство приходится признать важнейшим капиталистическим институтом, ведь на протяжении большей части XVIII и XIX веков хлопковые и сахарные плантации были наиболее предпочтительным объектом для «безопасного» вложения капитала [Beckert et al. 2014: 51]. В фокусе внимания тогда оказывается не коммодификация рабского труда, а рабовладение как специфический режим собственности, а плантационное рабство предстает не только как способ организации *труда* и форма контроля над ним, но и как способ размещения *капитала* и форма управления активами.

«Новые» историки капитализма приводят два аргумента в пользу такого рассмотрения. Во-первых, плантационное рабство в южных штатах США было «финансиализированным»: рабы использовались не только как рабочая сила, но и как капитализированная

тии европейской текстильной промышленности, а плантационное рабство было глубоко интегрировано в международную финансовую систему [Беккерт 2018; Beckert, Rockman 2016: 1-2; Rosenthal 2020: 3].

1 В традиционной историографии американского рабства этот парадоксальный статус обозначался с помощью формулы «внутри, но не часть [капиталистического способа производства]» — «in, but not of», принадлежащей Элизабет Фокс-Дженовезе [Fox-Genovese 1988: 55]. Напротив, «новые» историки капитализма рисуют образ Юга как «общества рантье», живших на доходы со своего капитала, заключенного в тела плантационных рабов [Sklansky 2014: 40-41].

собственность, под залог которой можно было привлекать инвестиции и кредиты [Baptist 2012: 90-91; Rockman 2014: 446; Levy 2017: 497]¹. Они «работали как физически, так и финансово», выступая в роли ликвидного актива, способного генерировать постоянный доход для своих владельцев [Martin 2010: 866]. Если рабство и задержало развитие промышленности на Юге, поглотив инвестиционный капитал, который мог бы быть использован для создания инфраструктуры, одновременно с этим оно подстегнуло развитие финансов, банковского дела и рынков капитала, ставших наиболее продвинутыми в стране [Sklansky 2014: 40, 41]. Во-вторых, в целом ряде аспектов плантационное хозяйство было передовой формой экономической организации, а плантаторы-рабовладельцы — образцовыми капиталистическими акторами своей эпохи [Maggog 2016; Rosenthal 2018; 2020]². В частности, они анализировали производительность рабского труда, используя рациональные методы, и рассматривали рабов как капитальные активы, обладающие определенным «сроком службы», исходя из которого рассчитывалась их «амортизация» [Rosenthal 2018]. Как пишет Розенталь [Rosenthal 2020], плантационное рабство представляло собой форму капитализма, в которой «труд был капиталом». Ключевым аспектом рабства тогда оказывается не столько возможность работорговли как формы коммодификации, сколько использование рабского труда как формы капитализации: африканские рабы, находившиеся в собственности американских плантаторов, были скорее «живым капиталом», нежели «живым товаром».³

- 1 Например, в 1820-е годы европейские банки активно занимались секьюритизацией ценных бумаг, обеспеченных «человеческим капиталом» рабов: они формировали «пулы» закладных на рабов, которые затем перепродавались иностранным инвесторам, позволяя им получать доход от продажи хлопка, не будучи рабовладельцами; в конце 1830-х резкий рост цен на хлопок и рабов даже привел к формированию спекулятивного «пузыря» [Sklansky 2014: 41; Baptist 2012].
- 2 Плантаторы входили в число самых богатых бизнесменов своего времени, занимались научным сельским хозяйством, полагаясь на рационализированные практики учета и управления трудовыми ресурсами, аналогичные появившемуся позднее тейлористскому научному управлению, и пользовались услугами наемных управляющих. Изучение их бухгалтерских архивов показывает, что хлопковые плантации американского Юга и сахарные плантации Вест-Индии стали «испытательными полигонами» современного менеджмента, где внедрялись разделение собственности и контроля, сложные формы административной иерархии и продвинутые методы финансового и управленческого учета [Rosenthal 2018; Rosenthal 2020; см. также: Clegg 2015; Ott 2014; Rockman 2014; Johnson 2004].
- 3 Идея о том, что рабы представляли собой часть «основного капитала» плантаций, звучала в дискуссиях экономических историков 1970-х годов. «Новых» историков капитализма в меньшей степени интересует эффектив-

В этой перспективе наиболее «чистым» случаем «капитализма рабства» являются сахарные плантации Вест-Индии. Культивация сахарного тростника была трудоемким и капиталоемким процессом, требовавшим существенных стартовых инвестиций в основной капитал, окупить которые можно было лишь при помощи экономии от масштаба. Поэтому карибские островные плантации зависели от внешних инвестиций и вовлекались в трансатлантические финансовые сети, что определило специфику их социальной структуры. Будучи практически полностью населены рабами, островные плантации так и не смогли развиваться в полноценные переселенческие сообщества [Cook 2017: 6, 54]. В отличие от южных штатов США, где рабы были заняты не только производством хлопка, но и работали в господском домохозяйстве, карибские плантации были инвестиционными проектами. Находясь в заочном владении, они управлялись наемными менеджерами, чьей задачей была максимизация прибыли в интересах собственников и их кредиторов, предоставлявших займы под залог земельной и «человеческой» собственности плантаторов [Cook 2017: 53, 54, 95]. С этой точки зрения социальная организация островных плантаций Вест-Индии, считавшаяся признаком их «отсталости» по сравнению с сообществами переселенцев колониальной Америки, предстает как свидетельство административной сложности и управленческой рациональности плантационной экономики [Cook 2017; Rosenthal 2018].

Капиталистический характер плантационного рабства не согласуется с атрибутивным подходом. Маркс и Вебер исключали принудительный труд из понятия капитализма, хотя и признавали важную роль европейской колониальной экспансии и плантационного рабства в его развитии [Маркс 1952: 768-777; Вебер 2001: 272-276]. Специфическим атрибутом капитализма они считали «свободный труд», то есть наличие критической массы юридически свободных людей, вынужденных продавать свою рабочую силу на рынке труда, без чего была бы невозможна эксплуатация через экономическое принуждение к труду (Маркс) или рациональный расчет капитала (Вебер) [Маркс 1952: 175; Вебер 2001: 256]. Аналогичным образом Поланьи считал рабочую силу одним из трех «фиктивных товаров», а рынок труда — важнейшим капиталистическим институтом [2002: 92-100 и др.]¹. В исторической социологии проблема включе-

ность плантационной экономики по сравнению с экономикой свободного труда, а категория капитальных активов используется не для расчета рентабельности плантаций, а для описания управленческих практик самих плантаторов [O'Sullivan 2018; Hilt 2017; Beckert, Rockman 2016; Clegg 2015].

1 В «Великой трансформации» Поланьи вполне отчетливо высказывается о роли рынка труда, в отсутствие которого «попытка создать капиталисти-

ния принудительного труда в понятие капитализма была решена мир-системным анализом, где капитализм переопределяется как капиталистическая мир-экономика, в разных регионах которой используются разные формы контроля над трудом [Валлерстайн 2015: 99-129]. Теоретическим фундаментом этого решения становится политэкономия: капиталистическая мир-экономика — это, прежде всего, структура разделения *труда*, ограниченного рамками системы международной торговли [Вегнер 1982]. Таким образом, ключевым атрибутом капитализма становится не рынок труда, а мировой рынок, объединяющий регионы с разной экономической специализацией и формами контроля над трудом. Участники международной торговли не обязательно полагаются на экономическое принуждение к труду, однако сам этот труд используется, чтобы производить товары для продажи на мировом рынке.

Помещая в центр анализа международную торговлю, мир-системная перспектива неявно отождествляет капитализм с процессами коммодификации и коммерциализации хозяйственной жизни [Lachmann 1989: 58; Skocpol 1977], отчасти воспроизводя модернизационный нарратив о «рыночной революции» [Wood 1994; Cook 2017]. «Новые» историки капитализма предложили альтернативное решение проблемы капиталистического характера рабства, сфокусировавшись не на труде, а на капитале. Как пишет И. Кук, рыночное или коммерческое общество и капитализм не совпадают друг с другом ни логически, ни исторически. Рынки, потребительские товары и коммодификация являются необходимыми, но недостаточными элементами капитализма, а его отличительная черта — это *капитализация*. Под капитализацией понимается совокупность практик, с помощью которых «базовые элементы общества и жизни, в том числе природные ресурсы, технологические открытия, культурные произведения, городские пространства, образовательные институты, человеческие существа и фискальное национальное государство превращаются (или «капитализируются») в генерирующие доход активы», оцениваемые в соответствии с ожиданиями относительно их способности приносить доход в будущем [Cook 2017: 5; ср.: Giraudeau 2016; Levy 2017; Muniesa et al. 2017; Birch, Muniesa 2020].

Важнейшим достижением мир-системного анализа была пространственная интерпретация модернизационного нарратива. Представив феодализм и капитализм не как стадии развития, а как

ческий строй» обречена на «катастрофический провал» [Поланьи 2002: 95], а также о невозможности «говорить о существовании промышленного капитализма как социальной системы» в Англии до 1830-х годов, когда сложился конкурентный рынок труда [Там же: 97].

элементы единой структуры мир-системы, размещенные в разных географических регионах, мир-системный анализ выступил против эссенциализации капитализма. «Новая» история капитализма решает ту же задачу другими средствами, дополняя вопрос о генезисе структуры разделения труда, сложившейся между различными регионами мир-системы, и распределения форм контроля над трудом внутри этих регионов, вопросом о генезисе различных «инвестиционных режимов», в рамках которых разные активы подлежат капитализации на разных условиях [Cook 2017; Levy 2017]. В этой перспективе ключевой переменной становятся не формы контроля над *трудом*, а объекты собственности, выступающие привилегированными формами *капитала*, — будут ли это рабы, земля или индустриальные фабрики. История капитализма, рассматриваемого прагматически, предстает как история *практик* — различных форм капитализации, направленных на разные активы и укорененных в разных инвестиционных режимах.

Капитал как капитализация

142

Социологическая и историческая литературы развивались параллельно друг другу и пришли к необходимости прагматической реконцептуализации капитализма независимыми маршрутами. Однако решающий шаг — формулировка понятия капитализации — был сделан уже после их формального объединения в 2017–2020-е годы, когда впервые появились работы, содержащие взаимные цитирования [Muniesa et al. 2017; Cook 2017; Birch, Muniesa 2020]. Сегодня можно говорить о единой литературе, анализирующей капитализм с прагматических позиций, хотя говорить о прагматической *теории* капитализма, вероятно, преждевременно [Deutschmann 2011]. Элементы прагматического *подхода* к капитализму можно суммировать в четырех тезисах, каждый из которых по-своему артикулирует базовую прагматическую установку на рассмотрение капитализма как практики капитализации: переход от репрезентации к действию; процессуальный анализ капитала; поворот то товаров к активам; внимание к компетентным агентам, которые осуществляют процессы капитализации.

От репрезентации к действию

Общей чертой различных вариантов атрибутивного подхода к анализу капитализма является редукционистское рассмотрение экономической ценности: она сводится либо к правилам обмена, либо к свойствам самих объектов. Как пишет Ф. Муниеса, в основе такого подхода лежит идея репрезентации. Предполагается, что ценность

того или иного объекта обусловлена его фундаментальными качествами, которые с большей или меньшей точностью репрезентируются в рыночных ценах на товары или в пропорциях, по которым обмениваются блага, обладающие разной полезностью для разных агентов [Muniesa et al. 2017: 14-17; Ott 2018: 64-68; Hodgson 2014: 16; Levy 2017: 501-502; Muniesa 2011]. Исторические истоки «репрезентационного» анализа восходят к средневековым теориям «справедливой цены», а раннюю попытку его теоретической разработки можно найти в классической политической экономии, однако этот стиль мышления в равной мере характерен и для марксизма, и для неоклассической экономической теории. Все они рассматривают ценность как производную от некоторого набора «аутентичных» качеств объектов, расходясь в определении этих качеств [Фуко 1977; Muniesa et al. 2017: 15; Levy 2017: 501-502]¹. Аналогичная двойственность присутствует и в истории понятия капитала, где существовали фондовая (денежная) и материалистическая (факторная) концепции. Первая появилась в средневековой коммерческой практике и отождествляет капитал с суммой денег, вторая окончательно сложилась в неоклассической экономической теории на рубеже XIX и XX веков и приравнивает капитал к совокупности «капитальных благ» (capital goods) или «факторов производства», ценность которых отражает их физическую продуктивность [Levy 2017; Hodgson 2014; Boldizzoni 2008; Nicks 1974].

Атрибутивный подход к анализу капитализма рассматривает ценность и *a fortiori* капитал в терминах репрезентации, противопоставляя, с одной стороны, ценность как социальную конструкцию, конвенцию или проекцию, с другой стороны — ценность как сумму издержек производства или иных «аутентичных» качеств [Muniesa 2011]. Маркс рассматривает стоимость и капитал реляционно, как исторически специфичные общественные отношения. Капитал — это классовое отношение, возникающее в результате исторического процесса отделения непосредственных производителей от средств производства и превращения их в наемных работников [Маркс 1952: 719]. Капиталистический способ производства «производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он про-

1 Согласно Фуко, классическая политэкономия отделила «образование стоимости от условий ее репрезентативности», так что любая стоимость стала определяться «условиями производства, которые ее породили», а сами эти условия — «количеством труда, затраченного на их производство» [Фуко 1977: 280, 281]. В марксизме ключевой переменной для определения величины стоимости является уже не количество труда, а общественно-необходимого рабочего времени, в неоклассической теории — соотношение предельных полезностей.

изводит и воспроизводит само капиталистическое отношение, — капиталиста на одной стороне, наемного рабочего — на другой» [Там же: 583]. Маркс противопоставляет свой реляционный анализ фетишизму политической экономии, однако и в трудовой теории стоимости Смита и Рикардо, и в «стоимостной теории труда» [Elson 2015] самого Маркса отношение между стоимостью (ценностью) и ценой мыслится как отношение репрезентации. В политэкономии стоимость рассматривается как сумма затрат рабочего времени, необходимых для производства продукта, в марксизме — как определенная величина «общественно необходимого рабочего времени», то есть как исторически специфичная общественная форма материального богатства [Маркс 1952: 53, 54]¹. Однако, как и у политэкономов, у Маркса цена является «выражением» стоимости и может отклоняться от нее в зависимости от конкретных обстоятельств обмена, а также принимать «мнимую» форму, когда приписывается объектам, не имеющим стоимости [Там же: 109].

144

Логика репрезентации в анализе ценности и капитала обнаруживается и у Вебера, ориентиром которого была ранняя версия неоклассической экономической теории. С одной стороны, он определяет капитал, понимаемый в «строго бухгалтерском и «частнохозяйственном»» смысле, как «установленную с целью балансирования капитальных расчетов сумму денежной оценки имеющихся в распоряжении предприятия средств получения дохода» [Вебер 2016: 142, 139; 2001: 254]. С другой стороны, Вебер также заимствует из неоклассической экономики понятие капитальных благ, введенное Дж.Б. Кларком [Levy 2017: 494]. Капитальные блага, согласно Веберу [2016: 142], это все блага, «которыми распоряжаются... ориентируясь на капитальный расчет», то есть на счетный контроль

1 Как пишет Маркс, «люди сопоставляют продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вещными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот. Приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают» [1952: 80]. Эта интерпретация получила развитие в работах Д. Элсон, М. Постона и других исследователей, указывавших на то, что Маркс использует политэкономические категории не тран исторически, как это делали политэкономы, а как исторически специфические категории буржуазного способа производства. Так, если трудовая теория стоимости классической политэкономии рассматривала труд как источник стоимости в любом обществе и в любую эпоху, то Маркс задавался обратным вопросом: почему в буржуазном способе производства продукты труда принимают форму стоимости? Таким образом, его теорию правильнее именовать «стоимостной (ценностной) теорией труда» (value theory of labor) [Elson 2015; Postone 1993].

доходности предприятия посредством составления бухгалтерского баланса [Вебер 2001: 254]. Веберовское определение благ как носителей полезности не отличается от определения, принятого в неоклассической экономической теории и формалистской антропологии, однако в отличие от них Вебер противопоставляет капиталистическое предприятие и домохозяйство как две формы распоряжения этими благами (две формы экономического действия). Если домохозяйство ориентируется на предельную полезность благ, которыми распоряжается, то капиталистическое предприятие ориентируется на рентабельность, которая зависит от того, как конечные потребители, исходя из собственных доходов, оценивают предельные полезности благ, производимых предприятием [Вебер 2016: 138-147]. Иначе говоря, как и Маркс, Вебер подчеркивает исторически специфичный характер капиталистических форм хозяйства, однако отношения между полезностью благ и их ценами мыслится им по модели репрезентации.

В отличие от Маркса и Вебера Поланьи не занимался теоретической разработкой понятий ценности (стоимости) и капитала и совмещал субстантивистскую и формалистскую аргументации. Он рассматривает стоимость как структурный эффект разделения труда, а в качестве ее источников называет, с одной стороны, человеческие потребности, с другой стороны — редкость благ, необходимых для их удовлетворения [Поланьи 2002: 275]. Однако в отличие от экономистов Поланьи [Там же: 55, 56; 71-81] отрицает взаимосвязь между разделением труда и рынком. Используемая им трактовка понятия капитала как совокупности факторов производства не отличается от неоклассической, однако в отличие от экономистов-неоклассиков Поланьи [Там же: 82-91] считает рыночное размещение факторов производства дисфункциональным: труд, земля и деньги суть «фиктивные товары», поскольку не создаются для продажи. Таким образом, анализ Поланьи направляется логикой репрезентации: попытка создания рыночного общества была попыткой интегрировать экономическую систему на основе фикции, то есть *ложной репрезентации*, превратив в товары труд, землю и деньги, изначально товарами не являющиеся.

Постановка проблемы ценности в терминах репрезентации открывает возможность для «двухтактного» или «бинарного» анализа, который рассматривает ценность *одновременно* и как социальную конструкцию или конвенцию, и как субстанцию [Muniesa 2011; Латур 2015]. Такой анализ открывает возможность для критики одной позиции с точки зрения другой, противопоставляя друг другу труд и заработную плату, рыночную цену и «фундаментальную стоимость» финансовых активов, «реальную» и «финансовую» экономики и т.д. [Muniesa et al. 2017: 15; Muniesa 2011; Birch, Tyfield 2013: 316;

Ott 2018]. Расхождение между объектом (ценностью-как-субстанцией) и его репрезентацией (ценностью-как-конструкцией) лежит в основе критики капитализма в ортодоксальном марксизме, веберовской критики социализма и поланьянской критики рыночного общества¹. И наоборот, институциональные атрибуты капитализма, которые выделяет атрибутивный подход, обеспечивают совпадение объекта и его репрезентации: функционирование закона стоимости (Маркс), рациональность капитального расчета (Вебер) или негативным образом, поскольку речь идет о «фикции» или ложной репрезентации, интеграцию хозяйственной системы (Поланья).

Более существенной проблемой являются аналитические ограничения репрезентационной перспективы. Редукция капитала к совокупности физических объектов «изымает» его из исторического времени². Темпоральное измерение капитала тогда сводится к процессам постепенного исчерпания физической продуктивности факторов производства (износ оборудования, снижение производительности почв и т.д.). История вмешивается в эти процессы только внешним образом. Например, денежная ценность капитала может быть недооценена или переоценена в результате эксцессов ценообразования (спекулятивного «пузыря»), однако такого рода эпизоды — лишь временные отклонения репрезентации (цены) от своего объекта («внутренней» ценности) [Levy 2017: 494, 495; Ott 2018]. В марксистской терминологии эти процессы описываются как расхождения между действительным капиталом, обладающим стоимостью, и «фиктивным» капиталом, который ее лишен. Редукция капитала к социальным отношениям приводит к аналогичным результатам: история сводится к последовательности спо-

146

1 В случае марксизма имеется в виду критика капитализма «с точки зрения труда» [Postone 1993], где труд понимается как трансисторическая категория, обозначающая процесс взаимодействия человека и природы, взятый безотносительно его социальных форм. Такая критика разоблачает стоимость и другие категории капиталистического способа производства как ложные репрезентации, скрывающие истинную природу общественного богатства, источником которого является труд [Postone 1993]. В случае Вебера имеется в виду отсутствие в социалистической экономике условий, необходимых для обеспечения рациональности капитального расчета — рыночной борьбы [Вебер 2016: 140-141]. В случае Поланьи речь идет о концепции «фиктивных товаров» [Поланья 2002].

2 Другим следствием интеллектуального доминирования материалистической концепции капитала является превращение материального производства в привилегированный объект для анализа экономической ценности, которая отождествляется с ценностью материальных вещей и физическим трудом, вытесняя альтернативные концепции ценности, например ценности как заботы [Грэбер 2020].

собов производства, в пределах которых правила обмена остаются неизменными. Капиталистическое отношение исторично как этап социальной эволюции, но раз установившись, оно остается стабильным, пока текущий способ производства не сменяется следующим [Маркс 1959].

Темпоральная организация капитала

Несмотря на их приверженность историзму, разные варианты атрибутивного подхода различают между генезисом и «нормальным» функционированием капитализма, относя их к разным «эпохам». Следствием этого становится выведение за рамки исторического процесса самого капитала. У Маркса [1952: 719] это различие принимает следующий вид. С одной стороны, в ходе процесса «так называемого первоначального накопления» происходит силовой захват общинной собственности и превращение ее в абсолютную частную собственность. Этот процесс образует «предысторию капитала и соответствующего ему способа производства», на смену которому приходит эксплуатация в наемном труде, основанная на формально эквивалентном обмене. Аналог этого различия у Вебера [2001: 332] — противопоставление «раннего капитализма», еще зависимого от предпосылок собственного развития, и капитализма «железного века XIX столетия», приобретшего собственную динамику¹. Наконец, у Поланьи [2002: 54] появление «машинного производства в коммерциализированном обществе» делает необходимым саморегулирующийся рынок, который создается политическими средствами, но работает по собственным законам. Так или иначе, процесс перехода от «общества с рынками» к «рыночному обществу» [Там же: 272, 273] не идентичен процессу функционирования последнего, пусть даже оно никогда в полной мере и не реализовалось на практике².

147

1 Наиболее известной формулировкой этого аргумента является метафора «стального панциря», в который превратился «победивший капитализм», оторвавшийся от своей религиозной опоры [Вебер 2020: 206]. Однако та же логика присутствует и в «структурной» версии веберовской теории капитализма, где религиозный фактор является лишь одной из его предпосылок [Вебер 2001: 255–332; Collins 1980]. Артур Стинчкомб обобщил эту логику в понятии «исторических причин» (historical causes), когда социальное явление продолжает воспроизводиться, хотя обстоятельства его возникновения более не имеют места [Stinchcombe 1968].

2 Попытка реализации утопического проекта рыночного общества была остановлена, натолкнувшись на спонтанное сопротивление общества. Поланьи [2002: 90–91] описывает этот процесс как «двойное движение».

Во всех случаях процессуальным и событийным характером обладает не сам капитал, а формирование институциональных атрибутов, делающих возможным его накопление, будет ли это развитие городской торговли, классовая борьба или рационализация хозяйственной этики. Напротив, прагматический подход рассматривает капитал процессуально, помещая в центр анализа его темпоральную организацию, поскольку именно специфическая темпоральность позволяет отграничить капитализацию от других практик придания ценности [Muniesa et al. 2017: 12; Giraudeau 2016]¹. Капитал — это процесс капитализации, частный случай практики придания ценности, связанный с инвестициями и поиском денежной (ресуниагу) выгоды [Levy 2017: 487; Giraudeau 2016; Muniesa 2011]. В отличие от материального богатства, являющегося результатом прошлого накопления, и в отличие от товара, подлежащего «мгновенному» обмену на рынке, капитализация перспективна: ценность того или иного объекта определяется ожиданиями относительно его способности приносить доход в будущем [Muniesa et al. 2017: 12; Levy 2017; Giraudeau 2016; Michell 2016; Beckert 2016]. Наоборот, с точки зрения атрибутивного подхода, капитал обращен в прошлое и как процесс накопления чужого труда (Маркс), и как процедура счетного контроля результатов деятельности предприятия (Вебер) [Levy 2017: 499]. Иначе говоря, темпоральность атрибутивного подхода — это темпоральность накопления, которое является необходимым, но недостаточным условием капитализации.

Именно потому, что она имеет дело с будущим, капитализация всегда происходит в условиях неопределенности, которая должна быть учтена в процессе оценивания капитала [Levy 2017: 487; Beckert 2016]. Это означает, что результат капитализации никогда не предопределен и, следовательно, ее изучение должно включать в себя анализ практических механизмов снижения неопределенности, используемых агентами, — от социальных сетей и институтов до финансовых моделей и калькулятивных устройств [Beckert 2009; Asperts 2018]. Такой подход возвращает контингентность в процессы накопления капитала, фокусируясь на практиках, в ходе которых агенты устанавливают соизмеримость (commensuration)

1 Любопытно, что и в исторической, и в социологической версиях прагматической теории капитализма присутствует амбиция сохранить узко экономический смысл понятия капитала, противопоставляя его, с одной стороны, теории П. Бурдьё [2002], отождествляющей капитал и власть, с другой стороны, экономическим и социологическим теориям социального и человеческого капитала [Levy 2017: 501; Muniesa et al. 2017: 13]. В неортодоксальном марксизме близкий по смыслу аргумент, подчеркивающий темпоральную специфику капитала, высказывал М. Постон [Postone 1993].

между прошлым и будущим, в том числе при помощи различных технологий придания ценности (valuation devices) [Doganova 2018; Birch 2017; Espeland, Stevens 1998; ср. Muniesa et al. 2007]. С другой стороны, капитализация ориентирована на будущее как «институционально оформленный процесс» [Поланьи 2010], поэтому ее темпоральный режим не является просто производным от диспозиций агентов или калькулятивных технологий, которыми они располагают. Необходимым, но недостаточным условием капитализации становится материальное или нематериальное богатство, накопленное в прошлом и зафиксированное с помощью институтов прав собственности и денег, также эволюционирующих в ходе истории. Однако капитал не тождествен ни богатству как таковому, ни экономико-правовым институтам, позволяющим его накапливать¹. Чтобы стать капиталом, любые формы богатства — будь то тело плантационного раба, денежная прибыль, индустриальное оборудование, диффузное социальное знание или финансовые инструменты — должны быть капитализированы, то есть оценены в свете своей ожидаемой способности генерировать доход в будущем.

Ценность капитала не является производной от имманентных характеристик объектов капитализации: деньги могут обесцениться, физическая продуктивность оборудования исчерпаться, знание потерять актуальность. Она появляется в результате процесса капитализации, то есть оценки инвесторами способности капитала приносить доход в будущем независимо от его конкретного материального или нематериального воплощения. Таким образом, процесс капитализации направлен в будущее, однако опирается на институты, конвенции и техники, унаследованные из прошлого, поэтому капитал может существовать лишь как процесс, разворачивающийся в историческом времени [Levy 2017: 495–499; Giraudeau 2016; ср. Sewell 1990; 2008]. При этом не всякое богатство становится капиталом — в соответствии с прагматической установкой, это зависит от того, каким образом границы ценного и неценного будут проведены конкретных практических контекстах. Поэтому в каждый момент времени капитализм представляет собой не просто один из «этажей» в исторической «иерархии обменов», располагаясь над рынком и материальной жизнью [Бродель 1993: 56–57]; он внутрен-

1 Близкое по смыслу различие предложил в своих работах об «экономике обогащения» Люк Болтански: он противопоставляет «форму актива», ориентированную на будущее повышение ценности, «коллекционной форме», связанной с богатством, накопленным в прошлом; при этом ни активы, ни предметы коллекционирования не тождественны товарам [Boltanski, Esquerre 2016].

не дифференцирован в соответствии с конкретно-исторической «иерархией активов» [Pistor 2019]¹.

От товаров к активам

Ключевой аналитической категорией атрибутивного подхода к анализу капитализма является товар. Маркс [1952: 153] исходил из того, что «товарное обращение есть исходный пункт капитала», и поместил в центр анализа капиталистического способа производства товар как элементарную форму буржуазного богатства [Маркс 1952: 41; 1959: 13]. Вебер [2016: 202] видел в товарах «зародыш капитальных благ» и считал развитие товарных рынков одним из необходимых условий развития капитализма, поскольку лишь в условиях «вольного рынка» достижима наибольшая формальная рациональность капитального расчета [Вебер 2001: 255-257; 2016: 138-140]. Для Поланьи [2002: 82-92]² категория товара играла центральную роль в анализе «рыночного общества», поскольку в его основе лежат рынки «фиктивных товаров»: труда, земли и денег. Напротив, для прагматических теорий в роли «экономической клеточки» капитализма выступают не товары, а активы, прототипом которых становятся не аршин холста или сюртук, а патенты и права интеллектуальной собственности.

150

Понятие активов пришло в прагматические теории капитализма из работ Т. Веблена и Дж.Р. Коммонса, предложивших его в качестве альтернативы неоклассическому понятию капитальных благ, связывающему ценность капитала с его физической продуктивностью [Levy 2017]. С точки зрения Веблена, капитал не тождествен «капитальным благам», обладающим стабильной внутренней ценностью, независимой от человеческой деятельности по капитализации различных форм богатства. Капитальные блага являются *благами*, так как обладают определенной технологической полезностью

-
- 1 Бродель разграничивал три структурных уровня экономической жизни, различая «материальную жизнь» в смысле адаптации человеческих сообществ к окружающей среде, над которой надстраивается «рыночная экономика» как пространство «автоматической» координации спроса и предложения, над которой, в свою очередь, находится капитализм, понимаемый как «противорынок», то есть совокупность коммерческих стратегий, направленных на избегание рыночной конкуренции [Бродель 1988: 220].
 - 2 Как пишет Поланья, «утверждение Маркса о фетишизированном характере стоимости товаров относится к меновой стоимости подлинных товаров и совершенно не касается фиктивных товаров», фиктивный характер которых вытекает из их несоответствия с *эмпирическим* определением товара [Поланья 2002: 86, 87]. Несмотря на эти различия, в обоих случаях товар является ключевой аналитической категорией.

(serviceability) в производственном процессе, однако *капиталом* они становятся не благодаря своей полезности, а потому, что приносят доход своим владельцам. Производительность капитальных благ в качестве факторов производства зависит от физических характеристик «элементов богатства», из которых они состоят, однако их ценность в качестве капитала определяется тем, как собственники оценивают их способность приносить доход в будущем. Материальное или нематериальное богатство, являющееся объектом собственности, становится осязаемым или неосязаемым активом, когда получает денежную оценку в результате процесса капитализации, который Веблен [Veblen 1908a: 121] считал частным случаем процесса придания ценности (valuation).

Коммонс пришел к сходным идеям, интерпретируя эволюцию понятия собственности в судебных прецедентах. На рубеже XIX и XX веков американские суды постепенно отказались от определения экономической ценности через физические качества оцениваемого объекта или его рыночную цену в пользу критерия, связанного с ожидаемой способностью генерировать доход [Коммонс 2011; Birch, Muniesa 2020: 15-16; Muniesa 2016]. Таким образом, произошел переход от «вещественного» к «поведенческому» пониманию ценности, юридическим коррелятом которой стало понятие «нематериальной собственности» или активов (assets), «чья ценность зависит от права доступа на товарный рынок, рынок труда и т.д.» [Коммонс 2011: 28; Commons 1995 [1924]: 19], а не от физических или вещественных свойств объектов собственности¹. Как и Веблен, Коммонс считал ключевой характеристикой активов не степень их материальности или осязаемости, но их способность генерировать доход. Подчеркивая необходимость абстрагироваться от вещественного состава капитала, Коммонс [2011: 29] отождествлял активы с «нематериальной собственностью», а Веблен писал, что «субстанциальным ядром всего капитала является нематериальное богатство» [Veblen 1908c: 117; Levy 2017: 496].

Опираясь на идеи Веблена и Коммонса, прагматический подход пересматривает аналитическую топологию исследования капитализма: его ключевыми «топосами» оказываются не производство и обращение товаров, а капиталистические предприятия как финансовые объекты (совокупности активов), не процессы

1 «Активы — это ожидаемая меновая ценность чего угодно, будь то репутация, лошадь, дом, земля, способность к труду, гудвилл, патент, хорошая кредитная история, акции, облигации или банковские вклады; короче говоря, нематериальная собственность — это все то, что позволяет одному человеку получать прибыль от других [...] в рамках любой сделки современного бизнеса» [Коммонс 2011: 29; Commons 1995 [1924]: 19]. Перевод скорректирован.

коммодификации, в ходе которых вещи превращаются в товары, а процессы капитализации, в ходе которых материальное или нематериальное богатство трансформируется в приносящую доход собственность [Birch 2017: 462-469]. Категория активов позволяет разграничить «аналитический» (фактор производства) и «эмпирический» (богатство) аспекты капитала. Он обладает ценностью не только как ресурс, используемый в производственном процессе, но и как приносящая доход собственность [Birch, Muniesa 2020: 12, 13; Veblen 1908a; 1908b; Birch, Tyfield 2013; Birch 2017]. Эти аспекты не исключают друг друга: собственность, находящаяся в форме актива, может быть условием возможности коммодификации. Например, лицензии на патент, предметом которого являются результаты научных исследований, позволяют превратить знание в товар, однако даже после покупки лицензии сам патент остается под контролем своих владельцев как капитализированная собственность [Birch, Tyfield 2013: 316-319].

152

Логика капитализации активов порой оказывается важнее логики товарного производства для целых отраслей. Как пишет К. Бёрч, многие биотехнологические компании не производят никаких товаров, а их стоимость определяется ценностью принадлежащей им интеллектуальной собственности и величиной полученных финансовых инвестиций. Чтобы окупить стартовые вложения, биотехнологические компании стремятся монетизировать свои неосязаемые активы с помощью экономико-юридических механизмов, не связанных с производством товаров (лицензии, роялти, партнерства). Например, они финансируют долгосрочные исследования и разработки за счет монетизации прав интеллектуальной собственности [Birch, Tyfield 2013: 312-322]. Подобная практика еще больше снижает стимулы к производству товаров (например, лекарств или биоматериалов), поскольку такие активы, как права интеллектуальной собственности, оказываются самостоятельным источником дохода (монопольной ренты) и при этом сохраняют стоимость в качестве объектов собственности [Birch 2017: 465].

С юридической точки зрения, активы и товары отличаются друг от друга по структуре разделения собственности и контроля. Если товарный обмен основан на формальном равенстве участников сделки, в ходе которой передача контроля над предметами обмена происходит вместе с трансфером прав собственности, то активы предполагают иерархию различных прав [Pistor 2013; 2019; ср. Boltanski, Esquerre 2016; Stinchcombe 1990]. Например, владельцы прав собственности на «информационные блага» не просто получают доход от продажи их копий в форме цифровых товаров, но и имеют возможность ограничить использование этих копий: покупка музыки, фильма или электронной книги, как правило, не предпо-

лагают передачу права на воспроизведение (копирование) и распространение этих объектов¹. Кроме того, как юридические конструкции, активы позволяют ранжировать притязания различных групп по приоритетности, например, отдавая предпочтение кредиторам компании перед остальными инвесторами; регулировать действие приоритетных притязаний во времени и пространстве (в разное время и в разных юрисдикциях), а также конвертировать частные обязательства в государственные деньги, тем самым защищая и сохраняя их номинальную стоимость [Pistor 2019: 1-22]. Правовое «кодирование» активов, создающее иерархии доступа и приоритета, влияет на их ценность не в меньшей степени, чем их потенциальная роль как ресурсов в процессе производства.

С экономической точки зрения, активы и товары отличаются друг от друга логикой ценообразования. По мере увеличения стоимости актива растет и спрос на него, что делает возможным формирование спекулятивных пузырей, тогда как в случае товаров верно обратное: по мере того как растет спрос на тот или иной товар, все большее число производителей входят на рынок, что приводит к усилению конкуренции и снижению цены [Birch, Tyfield 2013; Birch 2017; 2020]. Это различие объясняется тем, что ценность товаров определяется в результате дискретных, «точечных» актов рыночного обмена (*arm's-length transactions*), предметы которого стандартизированы, в то время как ценность активов конституируется в процессе активного управления ими. В него вовлечены разные группы акторов, находящихся как внутри (менеджмент), так и за пределами (финансовые аналитики, инвесторы, регуляторы) юридического периметра организации [Birch 2017]. На стабильных рынках ценность товаров устанавливается в результате компромисса сторон, находящихся в формально равном положении, в то время как оценка активов отражает иерархию вовлеченных в этот процесс «профессионалов капитализации», занимающих неравные позиции с точки зрения владения специализированными формами экспертизы, а также дифференциации прав собственности и контроля. Кроме того, поскольку различные политико-экономические акторы преследуют разные стратегии и исходят из горизонтов ожиданий разной длительности, ценность активов контингентна, как и сам капитал [Idid.: 470].

1 Таким образом, несмотря на то что теоретически «информационные блага» являются неконкурентными в потреблении, поскольку издержки производства дополнительной единицы такого блага пренебрежимо малы, на практике распространение копий усиливает монополистическую позицию обладателей прав собственности [Birch 2020: 17].

Компетентные агенты

Фокусируясь на институтах, а не на практиках, атрибутивный подход абстрагируется от агентов и их компетенций. Для Маркса [1952: 239] капиталисты суть «персонифицированный капитал», посредники структурной логики способа производства, работающей «поверх» индивидуальных отклонений. Для Вебера [2016] они — носители хозяйственной рациональности, достигающей своего максимума в современном западном капитализме, где в полной мере реализовались условия формальной рациональности капитального расчета; индивидуальные отклонения от этого стандарта не отменяют его универсального характера. Наконец, для Поланьи [2002: 58] экономические агенты дорыночного общества «полностью подчинены общей системе их социальных связей», на смену которой в рыночном обществе приходят законы саморегулирующегося рынка, подчиняющие индивидов «строгим правилам» [Там же: 45–68; 275]. Во всех вариантах атрибутивного подхода капитализация происходит непроблематично и не предполагает активного участия агентов. У Маркса [1952: 584–593] превращение денег и других жизненных средств в капитал подчиняется неизменным законам товарного производства, у Вебера [2016: 142] любые блага становятся капиталом, поскольку ими распоряжаются, ориентируясь на капитальный расчет, процедура которого может в большей или меньшей степени приближаться к рациональным стандартам. Поланьи [2002: 275] рассматривает капитал как совокупность факторов производства, а их ценность — как неизменную часть «исходной парадигмы социальной действительности, которая не есть продукт человеческой воли»; иначе говоря, ценность капитала существует объективно, хотя и искажается в рамках рыночного общества.

Напротив, прагматический подход, рассматривающий капитал процессуально, предполагает, что капитализация не происходит автоматически — формы богатства и собственности сами по себе еще не являются капиталом. Они становятся активами в результате деятельности компетентных агентов, задействующих различные практики, формы экспертизы и инструменты, конкретные комбинации которых требуют эмпирического изучения [Birch 2020: 15, 16]. В отличие от первоначального накопления в ортодоксальном марксизме капитализация никогда не заканчивается: «физические факторы производства или любые другие формы капитала всегда должны капитализироваться — трансформироваться в легальные активы с денежной ценностью, которые, как ожидается, будут приносить денежный доход в будущем» [Levy 2017: 487]. Как элементарные «единицы» капитала, активы возникают в результате процессов капитализации: «чтобы капитализировать что-то, оно должно

либо рассматриваться как *актив*, либо быть превращено в него» [Muniesa et al. 2017: 12, 13]¹. В этой перспективе в центре исследовательского внимания неизбежно оказываются сами капиталисты и другие «профессионалы капитализации», а также используемые ими практики придания ценности, выбор которых не нейтрален с точки зрения результирующего распределения экономических благ, поскольку разные активы капитализируются разными агентами неодинаковым образом [Muniesa 2017; Levy 2014; O'Sullivan 2018; Birch 2020].

Это особенно характерно для неосязаемых активов, ценность которых в значительной степени зависит от того, как их оценивают сами держатели этих активов, а также другие профессиональные публики, обладающие специализированной экспертизой, — финансовые аналитики, брокеры, инвестиционные банкиры и т.д. [Birch 2020: 17; 2017: 477; Çalışkan, Callon 2009: 389; ср. Каллон, Меадель, Рабехарисоа 2002]². Например, венчурные капиталисты конвертируют результаты исследований современной технонауки в неосязаемые активы, комбинируя собственную экспертизу в области бизнеса и финансов с экспертизой, воплощенной в научных результатах или технологиях. В результате возникают «знаниеемкие» права собственности (knowledge-intensive property rights), торгуемые на фондовом рынке в виде акций фирмы [Antonelli, Teubal 2008]. Среди других «профессионалов капитализации» особенно важную роль играют юристы, контролирующие «код капитала», то есть основные юридические инструменты, позволяющие конституировать активы [Pistor 2019]. Другая влиятельная группа — финансовые аналитики, чья деятельность играет решающую роль в классификации финансовых активов, от которой во многом зависит их оценка рынком [Zuckerman 1999; 2012; Wansleben 2013; Beckert 2016]. Значительная часть управления ценностью активов заключается в процессах их категоризации или, в терминах Чалышкана и Каллона, «постоянной квалификации и реквалификации» компетентными агентами [Çalışkan, Callon 2009: 389].

С другой стороны, деятельность «профессионалов капитализации» может быть направлена не только на сохранение или увели-

1 В литературе понятие ассетизации (производное от англ. asset — актив) является эквивалентным понятию капитализации [Birch, Muniesa 2020].

2 Одним из первых эту идею сформулировал Коммонс, писавший: «Если бы ценность была неизменным внешним объектом, обладающим физическим существованием, то в одно и то же время и в одном и том же месте вещь обладала бы только одной ценностью. Но если ценность — это процесс оценивания (valuation), то цели оценки определяют то, чем будет ценность» [Коммонс 2011: 232; Commons 1995 [1924]: 211].

чение ценности активов, но и на трансформацию их формы (из осязаемых в неосязаемые или наоборот), а также на их намеренное обесценивание. Обесценивание и изъятие инвестиций — не менее важные феномены, чем капитализация и инвестиции [Levy 2017: 508; Birch, Muniesa 2020: 15], поскольку в практиках придания ценности конституируется не только ценность конкретного объекта или класса объектов, но также и сама граница, отделяющая ценное от неценного [Çalışkan, Callon 2009; 2010; Muniesa 2011]. Например, одним из последствий капитализации промышленного производства и индустриального труда стало обесценивание (преимущественно женского) труда в сфере воспроизводства [Levy 2017; ср. Грэбер 2020]. Важнейшим вопросом политэкономии капитализма поэтому становится вопрос о том, какие активы выбираются для того, чтобы быть «закодированными как капитал» и получить соответствующие юридические привилегии, а также какие группы акторов осуществляют этот выбор и чьими интересами они руководствуются [Pistor 2019: 4]. Решения, какие активы будут капитализироваться и на каких условиях, конституируют исторически изменчивые «инвестиционные режимы» [Levy 2017: 507, 508], в рамках которых одни активы получают преимущество перед другими. Таким образом, появляется возможность рассматривать исторические трансформации капитализма, например, переход от аграрного или рабовладельческого капитализма к индустриальному, а затем к постиндустриальному или когнитивному не телеологически, как стадии в трансисторическом процессе развития технологий, изменения «вещественного» состава капитала или «материальности» труда [Лаззарато 2008], а как контингентные результаты политической конституции инвестиционных режимов, устанавливающих иерархии форм капитала.

Заключение

Прагматический подход к анализу капитализма сформировался на стыке двух литератур: прагматической экономической социологии и «новой» истории американского капитализма, которые разными путями пришли к необходимости переосмыслить капитализм как совокупность практик придания ценности. Эта перспектива отличается от атрибутивного подхода, доминирующего в социологической дискуссии о капитализме и опирающегося на синтез идей Маркса, Вебера и Поланьи. Атрибутивный подход анализирует экономическую ценность и капитал в терминах соответствия объектов и репрезентаций, а капитализм рассматривает как совокупность институтов, обеспечивающих это соответствие. Напротив, прагматический подход рассматривает экономическую ценность

и капитал процессуально как совокупность практик, в ходе которых компетентные агенты придают ценность общественному богатству, делая его капиталом. Хотя он пока не представляет собой единой теории, уже сейчас можно увидеть некоторые эвристические преимущества, которые такая теория могла бы дать.

Во-первых, прагматический подход по-новому артикулирует различие капитализма, рынка и рыночного общества, подчеркивая, что они не тождественны ни логически, ни исторически. Атрибутивный подход проводит это различие иначе, рассматривая капитализм как генерализацию рыночного обмена, который из «возможности» превращается в структурный «императив» [Wood 1994]. С прагматических позиций отличительной чертой капитализма является не столько «императивная» модальность рынка, сколько наличие капитализации как формы воображения и как совокупности практик, «кодирующих» объекты в качестве активов. Как пишет Дж. Леви, капитализмом можно назвать любую экономическую форму жизни, в которой капитализация, или «экономическая логика капитала как процесса», стала привычной и начала доминировать над экономической жизнью, подчинив себе процессы производства и распределения общественного богатства [Levy 2017: 487, 504, 505; Cook 2017: 1-16; Giraudeau 2016]. В этом смысле капитализм — не столько «производство для рынка», сколько «производство для капитала». В капиталистическом обществе экономическая жизнь подчинена императиву ожидаемой доходности капиталовложений, а не прибыли от сбыта товаров. Коммодификация и капитализация суть разные практики придания ценности, отличающиеся друг от друга своей темпоральной организацией. Ценность товаров устанавливается в рамках «мгновенных» обменов на конкурентном рынке, в то время как ценность капитальных активов является продуктом иерархии ожиданий разных групп инвесторов, а также усилий по снижению неопределенности, предпринимаемых «профессионалами капитализации», и существует в иной, направленной на будущее темпоральности. В этой перспективе в центре исследовательского внимания неизбежно оказываются сами капиталисты, а также другие «профессионалы капитализации» и используемые ими категории, конвенции и инструменты, направленные на снижение неопределенности.

Во-вторых, прагматический подход снимает с повестки дня споры о различиях между индустриальным, постиндустриальным или когнитивным капитализмами [Moulier-Boutang 2011; Smith 2013]. Рассмотрение капитала как совокупности практик капитализации позволяет абстрагироваться от его «вещественного состава» и избежать гипостазирования той или иной конкретной исторической его формы. Объектом капитализации, то есть потенциальным или

действительным «активом», может быть как тело плантационного раба, так и индустриальная фабрика или диффузное социальное знание [Birch, Muniesa 2020]. Промышленные предприятия предстают тогда лишь одной из форм капитальных активов, доминирующей на ограниченном историческом промежутке: например, в доиндустриальную эпоху наиболее важными активами были земля и рабы, а после стагфляции 1970-х годов эту роль стали играть финансовые инструменты [Levy 2017; 2014]. Это рассуждение наследует знаменитому тезису Фернана Броделя о том, что капитализм противостоит специализации, находясь «у себя дома», когда капитал пребывает в денежной или финансовой форме, и «в гостях», когда он инвестируется в промышленное производство или другие формы активов, например, хлопковые или сахарные плантации [Бродель 1988]¹. Однако если Бродель понимает капитал эссенциалистски как неизменный «уровень» в исторической иерархии обменов, то прагматический подход позволяет анализировать трансформации капитала как политический процесс трансформации «инвестиционных режимов» и иерархий активов. Таким образом, история капитализма выстраивается не столько вокруг институциональных или технологических «стадий» (доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный капитализм), сколько вокруг инвестиционных режимов, определяющих, какие активы могут капитализироваться и на каких условиях.

В-третьих, прагматический подход предлагает новый взгляд на взаимодействие государства и капитала. Вслед за Ф. Броделем в обобщенном виде можно выделить две модальности вовлечения государства в экономическую жизнь: как «регулятор» оно действует в интересах потребителей, ограничивая концентрацию рыночной власти в руках монополистов и защищая конкуренцию, но как «гарант» государство выступает источником и защитником монопольных привилегий [Бродель 1993; Wallerstein 1991]. В отличие от атрибутивного подхода, фокусирующегося на роли государств в создании и регулировании рынков, для прагматического подхода более существенной становится роль государства в создании и поддержании инвестиционных режимов. «Контракты и права собственности поддержива-

1 Согласно Броделю, инвестиции капитала в промышленное производство в XIX веке были похожи на специализацию, так что возникла тенденция «представлять машинную промышленность как завершающий этап развития капитализма», однако «после первого бума машинного производства самый развитый капитализм возвратился к эклектичности», чтобы «не замыкаться в [рамки] единственного выбора; быть в высшей степени способным к адаптации и, следовательно, быть неспециализированным» [Бродель 1988: 377; 1992: 247; Wallerstein 1991; Arrighi 2001].

ют свободные рынки, но капитализм требует большего — правовых привилегий для некоторых активов, что дает их владельцам сравнительное преимущество в обогащении» [Pistor 2019: 4, 79]. С этой точки зрения роль государств в развитии капитализма не ограничивается обеспечением прав собственности, так как более важными функциями оказываются обеспечение возможности частнопроводного кодирования активов, их конвертации в законное платежное средство (деньги), а также создание иерархий активов путем наделения некоторых из них правовыми привилегиями [Pistor 2019].

В заключение следует отметить две теоретические развилки, которые прагматическому подходу предстоит пройти, чтобы трансформироваться в полноценную теорию. Во-первых, в понятии капитализации присутствует амбивалентность. Она представляет собой одновременно и форму воображения, способность «видеть как инвестор», и реальный процесс, в ходе которого объекты трансформируются в капитал путем ограничения доступа к ним и юридического кодирования. Как соотносятся «культурная» и «структурная» трактовки капитализации в качестве мировоззрения и «институционально укорененного» процесса? Возможна ли общая теория капитализации, учитывающая роль коллективного воображения [Cook 2016; Muniesa et al. 2017], права и других институтов [Levy 2017; Pistor 2019], технологий и экспертизы [Birch 2020; Birch, Muniesa 2020] в процессах трансформации людей, вещей и отношений в активы? Во-вторых, остается непроясненным вопрос о критериях, которые позволяют говорить о капитализме как о сложившейся «экономической форме жизни» [Levy 2017: 504, 505]. В какой момент капитализация становится «привычной» и подчиняет себе экономическую жизнь общества, а капитал превращается в доминирующую форму ценности как таковой? Дальнейшее движение на пути к прагматической теории капитализма будет зависеть от ответов на эти вопросы.

Библиография / References

Арриги Дж. (2006) *Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени*, М.: ИД «Территория будущего».

— Arrigi G. (2006) *The Long Twentieth Century*, М.: Territoriya Budushchego. — in Russ.

Беккерт С. (2018) *Империя хлопка: Всемирная история*, М.: Институт Гайдара.

— Beckert J. (2018) *The Empire of Cotton*, М.: Gaidar Institute. — in Russ.

Биггарт Н., Гиллен М. (2006) Выявление различий: социальная организация и формирование автомобильных производств в Южной Корее, Тайване, Испании и Аргентине. *Экономическая социология*, 7 (2): 23–55.

— Biggart N., Guillen M. (2006) Developing Difference: Social Organization and the Rise of the Auto Industries of South Korea, Taiwan, Spain and Argentina. *Economic Sociology*, 7 (2): 23-55. — in Russ.

Бродель Ф. (1988) *Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.* Т. 2. *Игры обмена*, М.: Прогресс.

— Bruadel F. (1988) *Material Civilization, Economy, and Capitalism. XV-XVIIIth Centuries*. Vol. 2. *Games of Exchange*, М.: Progress. — in Russ.

Бродель Ф. (1992) *Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.* Т. 3, М.: Прогресс.

— Bruadel F. (1992) *Material Civilization, Economy, and Capitalism. XV-XVIIIth Centuries*. Vol. 3, М.: Progress. — in Russ.

Бродель Ф. (1993) *Динамика капитализма*, Смоленск: Полиграмма.

— Braudel F. (1993) *Dynamics of Capitalism*, Smolensk: Polygramma. — in Russ.

Бурдые П. (2002) Формы капитала. *Экономическая социология*, 3 (5): 60-74.

— Bourdieu P. (2002) Forms of Capital. *Economic Sociology*, 3 (5): 60-74. — in Russ.

Валлерстайн И. (2015) *Мир-система Модерна. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке*, М.: Университет Дмитрия Пожарского.

— Wallerstein I. (2015) *The Modern World-System*, М.: Universitet Dmitriya Pozharskogo. — in Russ.

Вебер М. (2001 [1923]) История хозяйства. *История хозяйства. Город*, М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле: 5-332.

— Weber M. (2001 [1923]) *General Economic History*, М.: Kanon-Press, Kuchkovo Pole. — in Russ.

Вебер М. (2016 [1920]) Предварительные замечания. *Избранное: Протестантская этика и дух капитализма*, М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга: 7-18.

— Weber M. (2016 [1920]) Preliminary Remarks. *Selected Writings: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, М.; SPb.: Center for Humanities Initiatives; University Book: 7-18. — in Russ.

Вебер М. (2016) *Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии*. В 4 т., М.: ИД ВШЭ.

— Weber M. (2016) *Economy and Society*, М.: HSE. — in Russ.

Вебер М. (2020 [1905]) *Протестантская этика и дух капитализма*, М.: АСТ.

— Weber M. (2020 [1925]) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, М.: AST. — in Russ.

Грэбер Д. (2014) *Фрагменты анархистской антропологии*, М.: Радикальная теория и практика. — Graeber D. (2014) *Fragments of an Anarchist Anthropology*, М.: Radical Theory and Practice. — in Russ.

Грэбер Д. (2020) *Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда*, М.: Ad Marginem.

- Graeber D. (2020) *Bullshit Jobs: A Theory*, М.: Ad Marginem. — in Russ.
- Дор Р. (2008) Различия японской и англо-саксонской моделей капитализма. *Экономическая социология*, 9 (1): 65–78.
- Dore R. (2008) Differences between Japanese and Anglo-Saxon Models of Capitalism. *Economic Sociology*, 9 (1): 65–78. — in Russ.
- Жихаревич Д.М., Резаев А.В. (2013) Тупики и повороты исторического анализа раннего капитализма: «Капиталисты поневоле» Р. Лахмана. *Экономическая социология*, 14 (4): 125–136.
- Zhikharevich D.M., Rezaev A.V. (2013) Dead-ends and Crossroads in the Historical Analysis of Early Capitalism. A Review of Richard Lachmann's Capitalists in Spite of Themselves. *Economic Sociology*, 14 (4): 125–136. — in Russ.
- Жихаревич Д.М. (2018) Двадцать пять лет после СССР: перспективы сравнительных исследований капитализма. *Экономическая социология*, 19 (1): 188–203.
- Zhikharevich D. (2017) 25 Years After the USSR: Prospects of the Comparative Studies of Capitalism. A Review Essay. *Economic Sociology*, 16 (1): 188–203. — in Russ.
- Каллон М., Меадель С., Рабехарисоа В. (2008) Экономика качеств. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 11 (4): 59–87.
- Callon M., Meadel C., Rabeharisoa V. (2008) The Economy of Qualities. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, 11 (4): 59–87. — in Russ.
- Коммонс Дж.Р. (2011) *Правовые основания капитализма*, М.: ИД ВШЭ.
- Commons J.R. (2011) *Legal Foundations of Capitalism*, М.: HSE. — in Russ.
- Лаззарато М. (2008) Нематериальный труд. *Художественный журнал*, 69. (<http://moscowartmagazine.com/issue/23/article/369>)
- Lazzarato M. (2008) Intermaterial labor. *Art Magazine*, 69. (<http://moscowartmagazine.com/issue/23/article/369>). — in Russ.
- Лахман Р. (2010) *Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени*, М.: ИД «Территория будущего».
- Lachmann R. (2010) *Capitalists in Spite of Themselves*, М.: Territoriya Budushego. — in Russ.
- Лахман Р. (2016) *Что такое историческая социология?* М.: ИД «Дело».
- Lachmann R. (2016) *What is Historical Sociology?* М.: ID «Delo». — in Russ.
- Маркс К. (1952 [1867]) *Капитал. Критика политической экономии*. Т. 1, М.: Госполитиздат.
- Marx K. (1952 [1867]) *Capital. Critique of Political Economy*. Vol. 1, М.: State publishing house of political literature. — in Russ.
- Маркс К. (1959 [1859]) *К критике политической экономии*. Т. 13. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е, М.: Госполитиздат.
- Marx K. (1959 [1859]) *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Vol. 13. Marx K., Engels F. *Works*. Second edition, М.: State publishing house of political literature. — in Russ.

Мосс М. (2011 [1925]) Опыт о даре. *Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии*, М.: КДУ: 134–285.

— Mauss M. (2011 [1925]) *The Gift. Societies. Exchange. Personality*, М.: KDU. — in Russ.

Поланьи К. (2002 [1944]) *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*, СПб.: Алетейя.

— Polanyi K. (2002 [1944]) *The Great Transformation: Political and Economic Origins of Our Times*, SPb.: Aleteia. — in Russ.

Поланьи К. (2010 [1957]) Экономика как институционально оформленный процесс. *Избранные работы: сборник научных трудов*, М.: ИД «Территория будущего»: 47–88.

— Polanyi K. (2010 [1957]) *The Economy as an Instituted Process.. Selected Writings*, М.: Territoriya Buduschego. — in Russ.

Роббинс Л. (1993 [1935]) Предмет экономической науки. *THESIS*, 1: 10–23.

— Robbins L. (1993 [1935]) *The Subject Matter of Economics. THESIS*, 1: 10–23. — in Russ.

Флигстин Н. (2013) Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века, М.: ИД ВШЭ.

162 — Fligstein N. (2013) *The Architecture of Markets: An Economic Sociology of 21st Century Capitalist Societies*, М.: HSE. — in Russ.

Фуко М. (1977 [1966]) *Слова и вещи. Археология гуманитарных наук*, М.: Прогресс.

— Foucault M. (1977 [1966]) *Words and Things. Archaeology of Humanities*, М.: Progress. — in Russ.

Abourahme N., Jabary-Salamanca O. (2016) Thinking Against the Sovereignty of the Concept: A Conversation with Timothy Mitchell. *City*, 20 (5): 737–54.

Antonelli C., Teubal M. (2008) Knowledge-intensive property rights and the evolution of venture capitalism. *Journal of Institutional Economics*, 4 (2): 163–182.

Arrighi G. (2001) Braudel, Capitalism, and the New Economic Sociology. Review. Fernand Braudel Center for the Study of Economies. *Historical Systems and Civilizations*, 24 (1): 107–123.

Aspers P. (2018) Forms of uncertainty reduction: Decision, valuation, and contest. *Theory and Society*, 47 (2): 133–149.

Baptist E.E. (2012) Toxic Debt, Liar Loans, Collateralized and Securitized Human Beings, and the Panic of 1837. M. Zakim, G. J. Kornblith (eds) *Capitalism takes command: The social transformation of nineteenth-century America*, Chicago; London: The University of Chicago Press: 68–92.

Beckert J. (2013) Capitalism as a System of Expectations. *Politics & Society*, 41 (3): 323–350.

Beckert J. (2016) *Imagined futures: Fictional expectations and capitalist dynamics*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Beckert J., Aspers P. (2011) Value in Markets. *The worth of goods: Valuation and pricing in the economy*, Oxford; New York: Oxford University Press: 3–38.

- Beckert J. (2009) The social order of markets. *Theory and Society*, 38 (3): 245-269.
- Beckert S. et al. (2014) Interchange: The History of Capitalism. *The Journal of American History*, 101 (2): 503-536.
- Beckert S., Rockman S. (2016) *Slavery's Capitalism (Early American studies)*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Birch K., Tyfield D. (2013) Theorizing the Bioeconomy: Biovalue, Biocapital, Bioeconomics or... What? *Science, Technology, Human Values*, 38 (3): 299-327.
- Birch K., Muniesa F. (2020) *Assetization: Turning Things into Assets in Technoscientific Capitalism*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Birch K. (2017) Rethinking Value in the Bioeconomy. *Science, Technology, Human Values*, 42 (3): 460-490.
- Birch K. (2020) Technoscience Rent: Toward a Theory of Rentiership for Technoscientific Capitalism. *Science, Technology, Human Values*, 45 (1): 3-33.
- Boldizzoni F. (2008) *Means and ends: The idea of capital in the West, 1500-1970*, Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
- Boltanski L., Esquerre A. (2016) The Economic Life of Things: Commodities, Collectibles, Assets. *New Left Review*, 98: 31-54.
- Brenner R. (1982 [1977]) The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism. H. Alavi, T. Shanin (eds) *Introduction to the Sociology of "Developing Societies"*, London: Palgrave.
- Çalışkan K., Callon M. (2009) Economization, part 1: Shifting attention from the economy towards processes of economization. *Economy and Society*, 38 (3): 369-398.
- Çalışkan K., Callon M. (2010) Economization, part 2: A research programme for the study of markets. *Economy and Society*, 39 (1): 1-32.
- Callon M. (1998) Introduction: The Embeddedness of Economic Markets in Economics. M. Callon (ed.) *The laws of the markets. Sociological Review*, Oxford; Malden, MA: Blackwell. .
- Callon M., Latour B. (1998) "Thou shall not calculate!" or How To Symmetrize Gift and Capital. (<http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-71%20CAPITALISME-MAUSS-GB.pdf>)
- Camic C. (1987) The Making of a Method: A Historical Reinterpretation of the Early Parsons. *American Sociological Review*, 52 (4): 421-439.
- Clegg J. (2015) Capitalism and Slavery. *Critical Historical Studies*, 2 (2): 281-304.
- Collins R. (1980) Weber's Last Theory of Capitalism: A Systematization. *American Sociological Review*, 45 (6): 925-942.
- Commons J.R. (1995 [1924]) *Legal Foundations of Capitalism*, London; New York: Routledge.
- Cook E. (2017) *The pricing of progress: Economic indicators and the capitalization of American life*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Doganova L. (2018) Discounting and the Making of the Future. *Uncertain Futures*, Oxford: Oxford University Press.

- Elson D. (2015 [1980]) *Value: The representation of labour in capitalism (Radical thinkers)*, London: Verso.
- Emigh R.J. (2009) *The Underdevelopment of Capitalism: Sectors and Markets in Fifteenth Century Tuscany*, Philadelphia: Temple University Press.
- Espeland W.N., Stevens M.L. (1998) Commensuration as a Social Process. *Annual Review of Sociology*, 24 (1): 313-343.
- Fox-Genovese E. (1988) *Within the Plantation Household Black and White Women of the Old South*, Chapel Hill; London: The University of North Carolina Press.
- Giraudeau M. (2016) The Business of Continuity. B. Latour (ed.) *Reset Modernity!* Cambridge, MA: MIT Press: 278-85.
- Giraudeau M. (2019) The Predestination of Capital: Projecting E. I. Du Pont de Nemours and Company into the New World. *Critical Historical Studies*, 6 (1): 33-62.
- Graeber D. (2001) *Toward an anthropological theory of value: The false coin of our own dreams*, New York: Palgrave.
- Graeber D. (2006) Turning Modes of Production Inside Out. *Critique of Anthropology*, 26 (1): 61-85.
- Granovetter Mark (2009) Comment on "Capitalist Entrepreneurship: Making Profit through the Unmaking of Economic Orders". *Capitalism and Society*, 4 (2): 8.
- 164 Gregory C. (1982) *Gifts and commodities (Studies in political economy)*, London: Academic Press.
- Hall P., Soskice D.W. (2013) *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*, Oxford: Oxford University Press.
- Hall P.A. (2015) *Varieties of Capitalism*. In *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences* (<https://doi.org/10.1002/9781118900772.etrds0377>)
- Heilbroner R. L. (1998) The "Disappearance" of Capitalism. *World Policy Journal*, 15 (2): 1-7.
- Hicks J. (1974) Capital Controversies: Ancient and Modern. *The American Economic Review*, 64 (2): 307-316.
- Hilt E. (2017) Economic History, Historical Analysis, and the "New History of Capitalism". *The Journal of Economic History*, 77 (2): 511-536.
- Hindess B., Hirst P.Q. (1975) *Pre-capitalist modes of production*, London: Routledge.
- Hobsbawm E.J. (1965) *Pre-capitalist economic formations*, New York: International Publishing.
- Hodgson G. (2015) *Conceptualizing capitalism: Institutions, evolution, future*, Chicago; London: The University of Chicago Press.
- Hodgson G.M. (2004) Reclaiming habit for institutional economics. *Journal of Economic Psychology*, 25 (5): 651-660.
- Hodgson G.M. (2014) What is capital? Economists and sociologists have changed its meaning: Should it be changed back? *Cambridge Journal of Economics*, 38 (5): 1063-1086.
- Johnson W. (2004) The Pedestal and the Veil: Rethinking the Capitalism/Slavery Question. *Journal of the Early Republic*, 24 (2): 299-308.

- Karatani K. (2008) Beyond Capital-Nation-State. *Rethinking Marxism*, 20 (4): 569-595.
- Knudsen Th., Swedberg R. (2009) Capitalist Entrepreneurship: Making Profit through the Unmaking of Economic Orders. *Capitalism and Society*, 4 (2): 3.
- Kocka J., Linden M. (2016) *Capitalism: The reemergence of a historical concept*, London; New York: Bloomsbury Academic.
- Kornberger M., Justesen L., Madsen A.K., Mouritsen J. (2015) Introduction. *Making things valuable*. (First ed., Oxford: Oxford University Press: 1-17.
- Lachmann R. (1989) Origins of Capitalism in Western Europe: Economic and Political Aspects. *Annual Review of Sociology*, 15 (1): 47-72.
- Langley P. (2020) Assets and assetization in financialized capitalism. *Review of International Political Economy: RIPE*, 28 (2): 382-393.
- Levy J. (2014) Accounting for Profit and the History of Capital. *Critical Historical Studies*, 1 (2): 171-214.
- Levy J. (2017) Capital as Process and the History of Capitalism. *Business History Review*, 91 (3): 483-510.
- Livingston J. (1994) *Pragmatism and the political economy of Cultural Revolution, 1850-1940* (Cultural studies of the United States), Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Maggor N. (2016). The Great Inequalizer: American Capitalism in the Gilded Age and Progressive Era. *The Journal of the Gilded Age and Progressive Era*, 15 (3): 241-245.
- Maggor N. (2017) *Brahmin Capitalism: Frontiers of Wealth and Populism in America's First Gilded Age*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Martin B. (2010) Slavery's Invisible Engine: Mortgaging Human Property. *Journal of Southern History*, 76 (4): 817-866.
- Moulier Boutang Y. (2011) *Cognitive capitalism*, Cambridge: Polity.
- Muniesa F., Doganova L., Ortiz H., Pina-Stranger A. et al. (2017) *Capitalization: A cultural guide (Sciences sociales)*, Paris: Presses des Mines.
- Muniesa F. (2011) A flank movement in the understanding of valuation. *The Sociological Review (Keele)*, 59 (S2): 24-38.
- Muniesa F. (2016) Setting the Habit of Capitalization: The Pedagogy of Earning Power at the Harvard Business School, 1920-1940. *Historical Social Research (Köln)*, 41 (156): 196-217.
- Neal L. (2014) Introduction. L. Neal, J. Williamson (eds). *The Cambridge History of Capitalism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Neal L., Williamson J.G. (2014a) The Cambridge history of capitalism. Vol. I. *The Rise of Capitalism: From Ancient Origins to 1848*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Neal L., Williamson J.G. (2014b) The Cambridge history of capitalism. Vol. II. *The spread of capitalism: From 1848 to the present*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nee V., Swedberg R. (eds) (2005) *The Economic Sociology of Capitalism*. Princeton; Oxford:: Princeton University Press.
- Nee V., Swedberg R. (eds) (2007) *On Capitalism*, Stanford: Stanford University Press.

Nitzan J., Bichler S. (2009) *Capital as power: A study or order and creorder (RIPE series in global political economy)*. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

O'Sullivan M. (2018) The Intelligent Woman's Guide to Capitalism. *Enterprise & Society*, 19 (4): 751-802.

Ott J. (2014) *Slaves. The Capital That Made Capitalism*. April 9. (<https://publicseminar.org/essays/slavery-the-capital-that-made-capitalism/>)

Ott J. (2018) What Was the Great Bull Market? Value, Valuation, and Financial History. *American Capitalism*, New York; Chichester, West Sussex: Columbia University Press: 63-95.

Parsons T. (1935) The Place of Ultimate Values in Sociological Theory. *International Journal of Ethics*, 45(3): 282-316.

Pistor K. (2019) *The code of capital: How the law creates wealth and inequality*, Princeton; Oxford: Princeton University Press.

Pistor K. (2013) A legal theory of finance. *Journal of Comparative Economics*, 41 (2): 315-330.

Postone M. (1993) *Time, labor, and social domination: A reinterpretation of Marx's critical theory*. Cambridge (England); New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Ragin C., Zaret D. (1983) Theory and Method in Comparative Research: Two Strategies. *Social Forces*, 61 (3): 731-754.

Reinert E., Ghosh J., Kattel R. (2016) *Handbook of alternative theories of economic development*, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Rockman S. (2014). What Makes the History of Capitalism Newsworthy? *Journal of the Early Republic*, 34 (3): 439-466.

Rosenthal C. (2018) *Accounting for Slavery: Masters and Management*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rosenthal C. (2020) Capitalism when Labor was Capital: Slavery, Power, and Price in Antebellum America. *Capitalism: A Journal of History and Economic*, 1 (2): 296-337.

Rosenthal C. (2020) Capitalism when Labor was Capital: Slavery, Power, and Price in Antebellum America. *Capitalism: A Journal of History and Economic*, 1 (2): 296-337.

Sewell W.H. (1990) *Three Temporalities: Towards a Sociology of the Event*. Presented at a conference on "The Historic Turn in the Human Sciences," at the University of Michigan, October 1990. (<http://hdl.handle.net/2027.42/51215>)

Sewell W.H. (2008) The temporalities of capitalism. *Socio-economic Review*, 6 (3): 517-537.

Sklansky J. (2014). Labor Money, and the Financial Turn in the History of Capitalism. *Labor (Durham, N.C.)*, 11 (1): 23-46.

Skocpol T. (1977) Wallerstein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique. *American Journal of Sociology*, 82 (5): 1075-1090.

Smith T. (2013) The "General Intellect" in the Grundrisse and Beyond. *Marx's Laboratory: Critical Interpretations of the Grundrisse. Historical Materialism Book Series*; 48, Leiden: Brill:213-232.

Spates J. (1983) The Sociology of Values. *Annual Review of Sociology*, 9: 27-49.

- Stark D. (2000) *For a Sociology of Worth. Keynote address for the Meetings of the European Association of Evolutionary Political Economy*, Berlin, November (<https://www.peopleandprocess.com/wp-content/uploads/2011/11/For-a-Sociology-for-Worth.pdf>)
- Stark D. (2017) For What It's Worth. *Justification, Evaluation and Critique in the Study of Organizations*, 52: 383-397.
- Stinchcombe A. (1968) *Constructing social theories*, New York: Harcourt, Brace and World.
- Stinchcombe A.L. (1985) Contracts as Hierarchical Documents. *Information and organizations*, Berkeley: California University Press: 194-237.
- Streeck W. (2012) How to Study Contemporary Capitalism? Archives Européennes De Sociologie. *European Journal of Sociology*, 53(1): 1-28.
- Swedberg R. (1998) *Max Weber and the idea of economic sociology*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Swedberg R. (2005a) The Economic Sociology of Capitalism: An Introduction and Agenda. R. Swedberg, V. Nee (eds) *The Economic Sociology of Capitalism*, Princeton: Princeton University Press: 3-40.
- Swedberg R. (2005b) Towards an Economic Sociology of Capitalism. *L'Année sociologique*, 2 (2): 419-449. (<https://doi.org/10.3917/anso.052.0419>)
- Thomas N. (1991) *Entangled objects: Exchange, material culture, and colonialism in the Pacific*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Toscano A. (2007) From Pin Factories to Gold Farmers: Editorial Introduction to a Research Stream on Cognitive Capitalism, Immaterial Labour, and the General Intellect. *Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory*, 15 (1): 3-11.
- Unger R. (2010) *Free trade reimagined: The world division of labor and the method of economics*, Princeton: Princeton University Press.
- Veblen T. (1908a). On the Nature of Capital: Investment, Intangible Assets, and the Pecuniary Magnate. *The Quarterly Journal of Economics*, 23 (1): 104-136.
- Veblen T. (1908b) On the Nature of Capital. *The Quarterly Journal of Economics*, 22 (4): 517-542.
- Veblen T. (1908c) Fisher's Capital and Income. *Political Science Quarterly*, 23 (1): 112-128.
- Wallerstein I. (1991). Braudel on Capitalism, or Everything Upside Down. *The Journal of Modern History*, 63 (2): 354-361.
- Wansleben L. (2013) Dreaming with BRICs. *Journal of Cultural Economy*, 6 (4): 453-471.
- Wood E. (1994) From Opportunity to Imperative: The History of the Market. *Monthly Review*, 46: 14-40.
- Yonay Y. (1998) The struggle over the soul of economics. *Institutionalist and neoclassical economists in America between the wars*, Princeton: Princeton University Press.
- Zuckerman E.W. (1999) The Categorical Imperative: Securities Analysts and the Illegitimacy Discount. *The American Journal of Sociology*, 104 (5): 1398-1438.
- Zuckerman E.W. (2012) Construction, Concentration, and (Dis)Continuities in Social Valuations. *Annual Review of Sociology*, 38 (1): 223-245.

Рекомендация для цитирования:

Жихаревич Д.М. (2021) Элементы прагматической теории капитализма. *Социология власти*, 33 (1): 125-168.

For citations:

Zhikharevich D.M. (2021) Elements of a Pragmatic Theory of Capitalism. *Sociology of Power*, 33 (1): 125-168.

Поступила в редакцию: 11.03.2020; принята в печать: 19.03.2021

Received: 11.03.2020; Accepted for publication: 19.03.2021

АЛИНА Ю. КОНТАРЕВА

Университет Осло, Норвегия; Томский государственный университет, Россия
ORCID: 0000-0002-0609-8374

Платформы как рынки, архитектуры, экосистемы: обзор основных подходов к изучению интернет-компаний

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-169-192

Резюме:

Интернет-платформы (online digital platforms) — это новый тип компаний, чьи операции построены на больших данных. Платформы используют бизнес-модель посредника, объединяя участников стороны спроса и стороны предложения, и извлекают выгоду за счет сетевых эффектов. Сегодня платформы стали ключевыми фирмами капиталистических экономик. Они трансформируют социальную и экономическую жизнь современного общества: структурируют социальные взаимодействия, меняют рынок труда и трудоустройство, определяют практики медиапотребления и производства культуры. Цель настоящей статьи — представить читателю обзор ключевых принципов работы платформенных компаний и платформенной бизнес-модели. Статья основана на работе с обширным списком научной литературы и охватывает три подхода: экономический (теория сетевых рынков), инженерно-технологический и подход стратегического управления. Экономический подход важен для понимания принципов работы платформенной бизнес-модели, природы сетевых эффектов и отличий платформ от до-платформенных бизнесов. Инженерно-технологический подход раскрывает взаимосвязь технологической архитектуры и организационной формы платформ и объясняет, как архитектурные решения способствуют достижению сетевых эффектов. Подход стратегического управления объясняет принципы роста платформенных компаний и учитывает практики интернет-навигации и потребления контента аудиторией пользователей, особенности национального законодательства и технологическое развитие индустрии. Статья делает акцент на инструментари, пригодном для со-

169

Контарева Алина Юрьевна — PhD Candidate, аспирантка Центра технологий, инноваций и культуры (ТИК), Университет Осло, Норвегия; научный сотрудник НОЦ «Социально-политические исследования технологий» (PAST-Центр) Научно-исследовательского Томского государственного университета. Научные интересы: стратегии и инновации, рынок телекоммуникаций, цифровая экономика, методы исследования. E-mail: alina.kontareva@tik.uio.no

циально-политического анализа платформ, уделяя особое внимание социально-культурному контексту, в котором они функционируют. Заключение поднимает проблему географического распределения платформенных компаний и связанную с этим неравномерность распределения и накопления капитала. Различия стран в социальном, экономическом и политическом устройствах приводят к тому, что одни становятся производителями, а другие — потребителями платформенных сервисов и продуктов. Анализ географического распределения платформ обозначен в качестве направления для дальнейших исследований.

Ключевые слова: платформы, экономика платформ, платформенная бизнес-модель, сетевые эффекты, география платформ, платформенная стратегия

Alina Yu. Kontareva¹

University of Oslo, Norway; National Research Tomsk State University, Russia

Platforms as Markets, Architectures, and Ecosystems: A Review of the Dominant Approaches in the Platform Literature

170

Abstract:

Online digital platforms are a new type of firm; they are data-driven, software-based companies established in the late 90s due to increased digitization and the extensive adoption of the Internet for economic and social activities. Platforms are market intermediaries as they mediate transactions between groups of users and benefit from network effects. Platforms disrupt the conventional organization of firms and industries and have become key players in capitalist economies. Platforms structure social interactions, transform employment and the labor market, and determine media consumption and cultural production practices. The paper offers a comprehensive theory review covering three approaches: the economic approach (industrial organization of network markets), the technology engineering approach, and the strategic management approach. The economic approach explains the nature of network effects and highlights the differences between network markets and traditional industries. The engineering technology approach demonstrates how platforms can achieve network effects through technological architecture. The strategic management approach explores platform growth strategies and highlights how a platform firm deals with the external environment

1 Alina Yu. Kontareva — PhD Candidate at TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Norway; researcher of Centre for the Policy Analysis and Studies of Technology (PAST-C), National Research Tomsk State University. Research interests: strategy and innovation, telecommunications market, digital economy, research methods. E-mail: alina.kontareva@tik.uio.no

that includes user preferences, national regulations, and technology convergence. The review focuses on the theoretical instruments most relevant for the sociological and political-economic analysis of platforms. The paper concludes with remarks on the uneven geographical distribution of platforms.

Keywords: platforms, platform economy, platform business model, network effects, platform geography, platform strategy

Введение

В 1990-е годы произошло значительное совершенствование программного обеспечения и проектирования технологических инфраструктур, что привело к использованию интернета для экономической деятельности [Greenstein 2015; Jacobides, Cennamo, Gawer 2018; Steinberg 2019]. Фирмы получили возможность накапливать данные транзакций между пользователями и интегрировать их в бизнес-модели. В результате появился новый тип компаний [Срничек 2019], которые используют бизнес-модель посредника [Evans, Gawer 2016] и чьи операции построены на больших данных. Интернет стал не просто новым каналом продаж, а новым способом выстраивания конвейера [Parker, Van Alstyne, Choudary 2016]. На смену вертикально-интегрированным организациям пришли платформы: новые организационные формы, которые стали отражением управленческой логики нашего времени и принципом коммерческой логики интернета [Steinberg 2019]. Сегодня платформы получили широкое распространение в разных сервисах: коммерции (Amazon, AliExpress, Ozon), такси (Uber, Lyft, Grab, Bolt), стриминг онлайн-видео (Netflix, HBO, ivi), образовании (Coursera, Duolingo), операционных системах (iOS, Android, Microsoft Windows) и многих других.

171

За последние пятнадцать лет интернет перестал быть общественным пространством для обмена информации между пользователями и стал мощным инструментом, который определяет природу социальных взаимодействий и структурирует повседневную жизнь [Van Dijck 2013]. Колоссальное влияние интернета и алгоритмов на экономическую и социальную деятельности привело к появлению понятий «платформенной экономики» [Kenney, Zysman 2016] и «капитализма платформ» [Срничек 2019].

Социальные сети (Facebook, Twitter, WeChat, ВКонтакте и проч.) были первыми платформами, которые привлекли внимание, поскольку они опосредуют большой спектр коммуникаций. Платформы других сегментов повлекли за собой такие явления, как экономика совместного потребления («sharing economy») и экономика подработок («gig economy»), которые трансформируют рынок

труда и трудоустройство [Kenney, Zysman 2019; Kenney, Rouvinen, Seppälä et al., 2019]. Платформы создают новые формы зависимого предпринимательства [Cutolo, Kenney 2019], при котором и без того прекарная позиция предпринимателей усугубляется за счет решений владельцев платформ, которые меняют условия деятельности в одностороннем порядке и из расчета собственной выгоды. Платформы стали ключевыми фирмами капиталистических экономик [Kenney, Zysman 2019], что определяет актуальность исследования платформ для понимания современной стадии развития капитализма.

Платформенные рынки имеют тенденцию тяготеть к одной доминирующей платформе [Rysman 2009], что открывает дискуссии об антимонопольном регулировании интернет-компаний, отношений между ИТ-корпорациями и государством [Dunleavy, Margetts, Tinkler et al., 2006], и о том, насколько государство должно вмешиваться в регулирование платформенных монополий [Pasquale 2016]. Данные постепенно становятся важным политическим ресурсом, и это позволяет говорить о платформах как о важной национальной инфраструктуре, которая находится под угрозой монополизации частными компаниями [Srnicek 2017].

172

Цель настоящей статьи — представить читателю обзор ключевых принципов работы платформенных компаний и платформенной бизнес-модели. Академическая литература об устройстве интернет-платформ стала появляться в конце 90-х годов, и на данный момент существует активно растущий корпус работ. Академическое знание о платформенных компаниях фрагментарно: исследователи, которые обращаются к феномену интернет-платформ, дают определения и формируют повестку исследований, исходя из интеллектуальной традиции своих дисциплин. Предложенные в литературе классификации платформ также отражают разнообразие дисциплинарных подходов (см., например, [Gawer 2009; Evans, Gawer 2016; Срничек 2019; Steinberg 2019] и др.). В ответ на фрагментированный характер знания стали появляться обзоры литературы, предлагающие объединить несколько перспектив [Gawer 2014; Plantin, Lagoze, Edwards et al., 2018]. Определение платформы как единицы анализа в академических исследованиях пока не устоялось и нуждается в концептуальной четкости [de Reuver, Sorensen, Basole 2017].

В обзоре я более подробно остановлюсь на трех подходах, которые позволяют понять механизмы извлечения выгоды и анализа конкурентного преимущества платформ: экономический, инженерно-технологический подходы и подход стратегического управления [McIntyre, Srinivasan 2017]. Экономический подход важен для понимания принципов работы платформенной бизнес-модели, приро-

ды сетевых эффектов и отличий платформ от до-платформенных бизнесов. Инженерно-технологический подход раскрывает взаимосвязь технологической архитектуры и организационной формы платформ и объясняет, как сетевые эффекты достигаются за счет архитектурных решений. Подход стратегического управления объясняет принципы роста платформенных компаний и стратегий, которые принимает фирма для достижения лидерства на рынке. Обзор не претендует на детальное освещение проблематики подходов, а выбирает тот инструментарий, который может понадобиться для социально-политического анализа платформ. В соответствии с подходами я структурирую обзор через метафоры, которые используются для концептуализации платформ: многосторонние рынки, технологические архитектуры и экосистемы.

В заключении я поднимаю проблему неравномерного географического распределения платформенных компаний и предлагаю ее как направление для дальнейших исследований.

Платформы как рынки: сетевые эффекты и природа конкуренции

173

Под платформами экономисты подразумевают двусторонние рынки, которые организуют транзакции между разными типами лиц и организаций [Rochet, Tirole 2003; Rysman 2009]. Они «объединяют до этого не объединенных (разрозненных) участников стороны спроса и стороны предложения через инновационные формы создания стоимости, доставки ценности потребителю и извлечения прибыли» [Täuscher, Laudien 2018: 319].

Платформы извлекают выгоду за счет сетевых эффектов — динамики, при которой ценность продукта/сервиса для отдельного пользователя увеличивается по мере того, как им пользуется все большее число пользователей [Rochet, Tirole 2003; Rysman 2009; Hagiu, Wright 2011]. Существует два типа сетевых эффектов. Прямые, или односторонние сетевые эффекты, возникают среди пользователей одного рынка. Классический пример прямых сетевых эффектов — телефонная сеть пользователей: чем больше сеть абонентов, тем выше ценность использования телефона для каждого из них в отдельности. По такому же принципу устроена работа интернет-сервисов, которые ориентируются на группу конечных пользователей, например сервис обмена файлами Dropbox и интернет-телефонии Skype. Для двусторонних рынков важны косвенные, или кросс-групповые сетевые эффекты [Farrell, Saloner 1985; Katz, Shapiro 1986; Eisenmann, Parker, Van Alstyne 2008], когда группа пользователей на одной стороне получает выгоду от количества пользователей на другой стороне [Hagiu, Wright 2011]. Кросс-группо-

вые сетевые эффекты работают в обоих направлениях и «отражают изначально существующую взаимозависимость и комплементарность между двумя или более типами пользователей» [Gawer 2014: 1241]. Среди интернет-сервисов можно привести пример магазинов мобильных приложений App Store и Google Play: чем больше разработчиков и доступного контента, тем охотней присоединяются к платформе пользователи, а когда число пользователей растет, это увеличивает выгоду для разработчиков. Многие современные платформы комбинируют прямые и кросс-групповые сетевые эффекты. Например, чем больше пользователей присоединились к социальным сетям вроде ВКонтакте и Instagram, тем ценней становится сервис для каждого из них в отдельности. В то же время рост пользовательской базы приводит к увеличению количества разработчиков приложений и рекламодателей, находящихся на другой стороне платформы [Tiwana 2013].

174

Принципы работы сетевых рынков привлекают внимание экономистов [Rochet, Tirole 2003, 2006; Caillaud, Jullien 2003 и проч.], поскольку они характеризуют рынки новой экономики и поднимают вопросы конкуренции, механизма ценообразования и появления монополий [Etro 2013]. Сетевые эффекты характерны и для традиционных рынков, однако интернет расширил спектр индустрий, в которых могут функционировать платформенные бизнес-модели, уменьшил расходы, связанные с расстоянием, и позволил заменить неэффективных посредников данными и алгоритмами [Parker, Van Alstyne, Choudary 2016; Stallkamp, Schotter 2019]. У фирм появились возможности легко присоединять и координировать участников, в результате чего интернет-компаниям легче достичь масштабирования. В отличие от традиционных отраслей, где монополии возникают за счет роста производства, то есть сокращения издержек на производство единицы продукта по мере увеличения объема производства, в случае сетевых рынков спрос формирует спрос, и ценность продукта/сервиса увеличивается в соответствии с числом его пользователей [Parker, Van Alstyne, Choudary 2016].

Поскольку платформа создает ценность через выстраивание между пользователями новых связей, платформы иначе выстраивают конвейер и формируют цепочку создания ценности¹. Традиционные отрасли создают ценность за счет линейной цепочки [Porter

1 Цепочка создания ценности — это последовательность видов деятельности, которые «производят финальный продукт большей ценности (стоимости), чем величина прироста ценности каждой из частей в отдельности» [Greenstein 2015: 189].

2001], то есть когда фирма получает выгоду за счет создания продукта и продажи его поставщикам, которые доводят его до потребителя. При этом стоимость произведенного фирмой товара или услуги последовательно возрастает при движении от компании к клиентам. Платформа, напротив, не владеет средствами производства, но владеет средствами связи пользователей и способствует транзакции между ними. Платформы создают экосистему создания ценности, цель которой — генерировать большие данные для достижения сетевых эффектов. Экосистема строится вокруг базовой транзакции, которая сводит спрос и предложение и привлекает пользователей на платформу. С помощью вспомогательных транзакций платформа удерживает участников на платформе и координирует их действия через инструменты, сервисы, правила и стандарты [Moazed, Johnson 2016].

Важным условием успеха интернет-платформы является способность построить передовые комплексные ИТ-системы, внедрить алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект [Evans, Gawer 2016], что позволяет компаниям создавать более сложные комбинации сетевых эффектов. Именно поэтому ведущие интернет-компании — это, прежде всего, высокотехнологичные компании, вкладывающие значительные средства в исследования и разработку.

175

Принцип «победитель-получает-все»

Динамика сетевых эффектов приводит к тому, что платформенные рынки устроены по принципу «winner-takes-all», или «победитель-получает-все», то есть платформа с наибольшей пользовательской базой перетянет рынок в свою пользу [Rysman 2009; Cennamo, Santalo 2013]. Наличие большой базы пользователей дает важное конкурентное преимущество фирмам сетевых индустрий [Fuentelsaz, Garrido, Maicas 2015], поэтому компании стремятся удержать участников, укрепляя их лояльность путем специальных предложений, рекламы, удобного интерфейса и релевантных сервисов. Поскольку интернет-фирмы создают ценность за счет того, что обеспечивают пользователей информацией о продуктах и сервисах, репутация и бренд — одни из наиболее важных факторов, определяющих успех компаний на продуктовых и финансовых рынках [Kotha 1998; Kotha, Rajgopal, Rindova 2001]. Репутация позволяет пользователям судить о качестве информационных товаров [Shapiro, Varian 1999], снижает риски и неопределенность. Сильные бренды дают возможность интернет-компаниям расширяться в смежные рынки и создавать портфолио пользовательских сервисов, как, например, в случае компании Яндекс в России.

Платформы стремятся выйти на рынок первыми, чтобы привлечь критическую массу пользователей, необходимую для создания позитивной динамики сетевых эффектов до того, как это сделают конкуренты. Ранний выход на рынок позволяет поставить пользователей в зависимость от своего сервиса. Например, многие американские интернет-фирмы, которые появились во время бума интернета в США в 90-е годы, стремились выйти на рынки Европы, Азии, Латинской Америки первыми до появления местных конкурентов [Kotha, Rindova, Rothaermel 2001]. Компании прилагают усилия, чтобы стать стандартами отрасли [Farrell, Saloner 1985; Besen, Farrell 1994]. Стандартизация не всегда следует принципу выбора наиболее эффективного сценария. На процесс могут повлиять исторические события, как в случае стандартизации клавиатуры QWERTY [Arthur 1989], и решения на национальном уровне, когда государство отдает предпочтение неэффективным технологиям¹.

Существуют исключения из принципа «победитель-получает-все», когда компании с меньшей пользовательской базой могут конкурировать с крупными компаниями. В работе [Shankar, Bayus 2003] идет речь о двух платформенных компаниях индустрии 16-битных домашних приставок — Nintendo и Sega, которые предлагали несовместимые продуктовые технологии. Несмотря на то что Sega вышла на рынок раньше и располагала большой пользовательской базой, Nintendo сумела обойти Sega в уровне прибыли за счет ценообразования и рекламы. Два технологических стандарта могут существовать, если найдут способ дифференцироваться друг от друга. Например, если платформы изначально ориентируются на разные потребительские группы или их продукты отличаются друг от друга [Liebowitz 2002]. Так, компании Microsoft и Apple дифференцировали свои операционные системы (далее ОС): если Windows позиционируется для бизнеса и гейминга, то MacOS — для медиа и развлечений [Rysman 2009].

176

1 Например, работа [Cabral, Kretschmer 2007] рассматривает несколько сценариев поведения регуляторов, в результате которых отрасли оказываются в зависимости от конкретных технологий. В отраслях телевидения высокой четкости (HDTV) и мобильных телекоммуникаций Европейская комиссия была заинтересована в ранней стандартизации отрасли, в то время как Федеральная комиссия связи США узаконила технологию, победившую в результате рыночной конкуренции. Подход регуляторов США, по убеждению авторов статьи, позволил стандартизировать технологию более высокого качества. Другой пример — это случай операционной системы Linux, которую стали использовать государственные структуры США, стран Европы и Азии. Преследуя цель снизить зависимость отрасли от одного поставщика программного обеспечения, регуляторы поддержали отстающую технологию.

Кроме числа пользователей следует говорить о качестве сетевых эффектов. Связь между покупателями, которые принадлежат к одному сообществу, разделяют интересы или личные характеристики, приводит к локальным сетевым эффектам, или «локальной предвзятости» («local bias») [Eocman, Jeho, Jongseok 2006], объясняющей популярность нишевых компаний. Недавно опубликованная работа [Stallkamp, Schotter 2021] дополняет классификацию сетевых эффектов, разграничивая эффекты локального, то есть национального (*within-country network externalities*) и межстранового (*cross-country network externalities*) уровней. Для некоторых платформ, например, службы доставки еды и продуктов, такси, интернет-рекрутмента, досок объявлений, критически важна связь с национальной средой, поскольку они зависимы от материальной инфраструктуры, платежных систем, национального регулирования или базы пользователей в конкретной локации. Платформы, находящиеся ближе к конечному пользователю, извлекают выгоду от культурной, социальной и языковой близости к своему пользователю и имеют преимущество создавать локально релевантные сервисы, разработанные с учетом местных предпочтений, потребностей и практик интернет-потребления контента [Ji, Choi, Ryu 2016]. В этом случае платформа получает преимущество за счет пользовательской базы конкретного местоположения, и сетевые эффекты, возникающие на национальном уровне, не могут быть перенесены в другие локации.

177

Другой тип платформ, напротив, не привязан к конкретному месту и извлекает выгоду из глобальной пользовательской базы. Так, база пользователей мессенджеров (WhatsApp, Facebook Messenger), социальных сетей (Instagram, Facebook), платформ программного обеспечения (мобильные ОС iOS, Android) выходит за пределы национальных границ. В этом случае фирмы используют прямые и кросс-групповые межстрановые сетевые эффекты в качестве ресурса для выхода на зарубежные рынки. На каждом из них платформа привлекает пользователей в глобальную сеть, нежели в локальную сеть пользователей.

В результате локальная и межстрановая природа появления сетевых эффектов позволяет переосмыслить принцип «победитель-получает-все»: на одних рынках преобладает глобальный лидер, а на других появляются местные лидеры, разнящиеся от страны к стране.

Архитектура платформы. Основа и комплементоры

Платформы могут создавать сетевые эффекты за счет архитектурных решений [Boudreau 2008; Adner, Karoog 2010; McIntyre,

Srinivasan 2017]. Платформа — это принцип организации системы, состоящей из основного компонента и модульной вариативной периферии [Baldwin, Clark 2000; Baldwin, Woodard 2009], или комплементоров. Комплементоры — это фирмы, которые производят дополняющие товары или услуги, влияют на положение основной компании и добавляют ценность для общих покупателей [Nalebuff, Brandenburger 1997]. Такая системная архитектура позволяет генерировать модульные продуктовые инновации и достичь масштабирования за счет сетевых эффектов [Meyer, Lehnerd 1997; Krishnan, Gupta 2001; Boudreau 2008; Adner, Kapoor 2010; McIntyre, Srinivasan 2017].

178 Платформу характеризует тесная взаимосвязь технологической архитектуры и организационной формы [Tiwana 2013]. Появление промышленной системы, основанной на платформе и комплементорах, связано с изменением принципов инновационной деятельности и конкуренции [Patrusso 2012]. Усложнение технологических инноваций, состоящих из большего числа элементов, и необходимость привлекать комплексную технологическую экспертизу для их разработки, привели компании к поиску новых организационных решений. В отличие от вертикально интегрированных фирм с централизованным управленческим контролем и фирм, выносящих на аутсорс часть бизнес-процессов, платформа представляет собой гибрид, основанный на коллаборативных сетях между комплементарными партнерами [Patrusso 2012]. Инновации стали возникать не внутри фирмы как таковой, а в обширной сети вне фирмы [Tiwana 2013]. Платформенный способ организации, охватывающий целые индустрии, стимулирует развитие инноваций вокруг элементов технологий, разработанных отдельно друг от друга [Cusumano, Gawer 2002]. Лидером индустрии становится компания, способная держать нейтралитет по отношению к бизнес-партнерам и выступать в роли «капитана» [Evans, Gawer 2016] или «дирижера инноваций» [Tiwana 2013], который направляет работу комплементоров для достижения взаимной выгоды [Gawer, Cusumano 2002; Nambisan, Sawhney 2011].

Показательный пример отраслевых платформ — компании телекоммуникаций и информационных технологий, где между 1980-ми и 2000-ми годами произошла принципиальная смена институциональной логики. Промышленная организация производственных цепочек сменилась с конкуренции между вертикально интегрированными фирмами в закрытой системе на конкуренцию между коалициями фирм, специализирующихся на совместимых компонентах, построенных вокруг технологической платформы [Gawer, Phillips 2013: 1041]. Аналогичные процессы происходили в автомобильной индустрии [Patrusso 2014; Steinberg 2019].

Принцип модульности ставит вопрос об отношениях, которые выстраивает собственник платформы со всей экосистемой комплементоров. С одной стороны, платформа заинтересована в привлечении третьих сторон, что позволяет наращивать инновационный потенциал [Gawer 2014]. Для этого платформа предлагает разработчикам стандарты и техническую документацию, например, пакеты программ для разработки приложений (SDK) и интерфейсы программирования приложений (API), правила размещения контента на платформе, что облегчают задачу для комплементоров [McIntyre, Sriniwasan 2017]. С другой стороны, собственник платформы должен регулировать деятельность третьих сторон и не допускать их перехода на другие платформы [Jacobides, Knudsen, Augier 2006; Pon, Serrälä, Kenney 2015]. Таким образом, платформа сочетает в себе логику генеративности, то есть способности порождать инновации, и логику инфраструктурного контроля [Eaton, Elaluf-Calderwood, Sorensen et al., 2015]. Привлекая комплементоров в свою систему, владелец платформы балансирует между конкуренцией и кооперацией [Hannah, Eisenhardt 2018], делает выбор между открытой или закрытой платформой, и степень открытости является стратегическим решением [Gawer, Cusumano 2008; Eisenmann, Parker, Van Alstyne 2006].

«Бутылочные горлышки»

Устройства в индустрии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) состоят из набора технологических слоев, или стека (англ. *stack* – стопка, слои). При платформенной организации индустрии технологические продукты становятся результатом отношений между комплементорами, каждый из которых создает ценность в разных слоях технологической архитектуры продукта¹. В отличие от сетевой организации фирм, где важна позиция фирмы относительно структуры сети, фирмы модульной организации технологически взаимозависимы [Hannah, Eisenhardt 2018]. Некоторые компании могут накладывать ограничения на рост всей сети, занимая позицию технического или стратегического «бутылочного горлышка» (англ. *bottleneck*), ограничивая доступ владельца платфор-

1 Например, в работе М. Кенни и Б. Пона [Kenney, Pon 2011] более подробно рассмотрена архитектура смартфонов. Нижний слой архитектуры состоит из телефонного аппарата и его специализированных компонентов (центральный и графический процессоры, камера, Bluetooth, GPS и т.д.), выше находится ОС с нативными приложениями. Подключенные к интернету устройства имеют еще один слой, состоящий из приложений (например, социальные сети, поиск, почта).

мы к ресурсам на разных слоях стека [Yoo, Henfridsson, Lyytinen 2010]. Для владельца платформы проблема заключается в том, каким образом извлечь выгоду из ценности, которая создается в разных слоях архитектуры продукта [Kenney, Pon 2011]. Для этого платформы стремятся создавать и держать под контролем «бутылочные горлышки», то есть критические элементы технологической инфраструктуры, которые позволяют создавать ценность и извлекать прибыль [Ballon 2009].

В индустрии персональных компьютеров «бутылочным горлышком» являлась ОС и приложения. Компания Microsoft закрепила за собой преимущество, поскольку в отличие от конкурентов стала лицензировать свою ОС Microsoft Windows производителям оборудования, обеспечив большое количество предустановок. В мобильном сегменте Apple и Microsoft также создают «бутылочные горлышки» в ОС [Jacobides, Knudsen, Augier 2006; Tee, Gawer 2009], которые обеспечивают интерфейс между устройствами и программными приложениями [Rysman 2009: 129].

180

Компания Google разработала более сложную стратегию конкуренции в мобильном сегменте. В 2008 г. Google выпустила открытую мобильную ОС Android, чтобы подорвать позиции своих конкурентов. Несмотря на то что в то время доминировала на рынке мобильная ОС Symbian компании Nokia и в 2007-м компания Apple успешно запустила iPhone с мобильной ОС iOS, целью запуска Android было составить конкуренцию компании Microsoft, которая начала лицензировать свою мобильную ОС Windows CE фирмам-изготовителям оборудования и разработчикам. Компания Microsoft намеревалась повторить стратегию, примененную в ПК-сегменте, что представляло для Google угрозу контроля сегментом мобильного интернета [Pon, Seppälä, Kenney 2014]. Открытый доступ к мобильной ОС Android изменил природу конкуренции, превратив ОС из горлышка в товар [Pon, Seppälä, Kenney 2015]. В то же время компания Google создала «бутылочные горлышки» выше в стеке, что позволило повлиять на природу конкуренции на рынке поисковиков. Мобильная ОС Android, установленная на дешевые смартфоны вместе с сервисами Google, позволяет удерживать пользователей в экосистеме Google. Возросшая популярность смартфонов на Android мотивирует разработчиков создавать приложения для магазина Google Play, для чего Google предоставил разработчикам необходимую техническую документацию. В 2008 г. Google выпустил кросс-платформенный веб-браузер Google Chrome, подходящий для разных ОС (Microsoft Windows, Linux, macOS, iOS), и в 2012-м запустил браузер для Android.

Высокая конкуренция, скорость технологических и стратегических инноваций, растущая популярность облачных сервисов

приводят к тому, что компании стали создавать «бутылочные горлышки» без привязки к ОС и оборудованию [Kenney, Pop 2011]. В ответ на монополистические позиции Google технологические фирмы Amazon и Xiaomi строят свои коммерческие, проприетарные платформы на ОС Android, перенося функцию «бутылочных горлышек» на другие элементы. В 2013 г. Amazon изменил версию ОС Android и запустил ОС Fire для планшетного компьютера Kindle Fire, интегрированного с сервисами Amazon. Для Amazon бутылочное горлышко находится в среде Amazon.com, облачных сервисах и в магазине приложений Amazon Appstore, связанных с аккаунтами пользователей. Китайская фирма-изготовитель смартфонов Xiaomi также работает с адаптированной версией Android. Поскольку сервисы Google заблокированы в Китае, это открывает возможности для замещения ниши мобильного магазина приложений местными компаниями. Xiaomi создает бутылочное горлышко через магазин приложений мобильной ОС MIUI. Таким образом, платформы, созданные на Android, удерживают своих пользователей через облачные сервисы, включая маркетплейсы, сервисы для общения и облачные сервисы хранения данных [Pop, Serrälä, Kenney 2015].

181

Инженерно-технологический подход наглядно демонстрирует роль технической архитектуры платформ для достижения конкурентного преимущества. Он дает представление, как именно происходят инновации в фирмах, цепочках поставок и отраслевых инновационных системах [Gawer 2009; 2014], следующих платформенному принципу организации.

Платформы как экосистемы

Следуя необходимости привлекать все больше пользователей и увеличивать число данных, интернет-фирмы принимают стратегические решения относительно развития экосистемы: платформы и совокупности характерных для нее приложений [Tiwana 2013].

Интернет-фирмы отличаются по способу создания ценности и механизмам генерации сетевых эффектов. П. Эванс и А. Гавер [Evans, Gawer 2016] предлагают четыре типа платформ: транзакционные, инновационные, интегрированные и инвестиционные. Транзакционные платформы (такие как Uber, eBay, Amazon marketplace) опосредуют транзакции между группами пользователей и организациями. Инновационные платформы (компании Intel, Microsoft, SAP, Oracle) получают выгоду сетевых эффектов за счет сети комплементоров. Интегрированные платформы — это комбинация транзакционной и инновационной платформ. При-

мерами можно назвать Google, Facebook, Alibaba, Amazon, Xiaomi, которые сумели спроектировать сложные технологические решения для привлечения пользователей и разработчиков приложений. Компании, которые развиваются как холдинги платформ, или платформенные инвесторы, относятся к инвестиционным платформам. Каждый из этих типов предполагает свою вариацию организационной структуры, механизмы управления и принципы формирования экосистемы.

В своей работе П. Эванс и А. Гавер [Ibid.] предлагают три универсальных способа роста экосистемы, которые приводят к усилению сетевых эффектов. Первый — это «естественный» способ создания дополнительной платформы, которая привлекает комплементоров. Такой платформой становится магазин приложений. Второй вариант — это слияние нескольких компаний с целью объединения пользовательских баз, поглощения конкурента или получения доступа к новым технологиям. Третий заключается в интеграции с другими компаниями для получения взаимной выгоды, например интеграция сервисов, продуктов и устройств с аккаунтами пользователей социальной сети Facebook.

182

Поскольку платформы основаны на программном обеспечении и данных, существует определенный тип роста, который позволяет компании расширяться в разных направлениях [Zittrain 2008]. Это означает, что платформы могут расширяться, создавая синергии — расширения, связанные одной базой данных (см. анализ экспансии Amazon в работе [Kenney, Bearson, Zysman 2021]). Например, поисковые сервисы добавляют новые возможности в виде карт, навигации, платежных систем и строят портфолио сервисов на основе данных поиска [Etro 2013].

Экспансия может происходить как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, однако часто обе стратегии преследуются одновременно [Jia, Kenney 2016]. Под вертикальной экспансией понимается расширение в смежные части цепочки создания ценности, где задача компании — закрепить позиции на рынке поставщиков, изготовителей компонентов и провайдеров инфраструктуры [Tiwana 2013]. Компании принимают решение, будут ли они полагаться на поставщиков — третью сторону, или будут разрабатывать компоненты своими силами [Eisenmann, Parker, Van Alstyne 2008]. В этом случае показателен пример компании Apple, которая производит как программные продукты, так и устройства. Горизонтальная экспансия направлена на компоненты, непосредственно связанные с конечным потребителем. Платформа добавляет новые сервисы, создает продукты и расширяет функционал с целью перенаправить трафик от конкурентов к сервисам своей платформы.

Именно здесь происходит основная конкуренция платформенных компаний [Tiwana 2013].

Направление экспансии и роль среды

Выбор направления экспансии зависит как от внутренних возможностей, так и от внешних для компании факторов, которые влияют на эволюционную динамику экосистем и модулей [Tiwana, Konsynski, Bush 2010]. Во-первых, речь идет об антимонопольном регулировании, которое определяет правила конкуренции и рыночного доминирования. Активное регулирование слияний и поглощений — одна из причин, почему интернет-индустрия в США организована по принципу вертикально организованных структур [Walton 2014]. В Китае антимонопольное регулирование выборочное, поэтому фирмы более свободны в выборе стратегии экспансии, которые включают органический рост, слияния и участие в акционерном капитале других компаний [Jia, Kenney 2016].

Во-вторых, на направление роста платформы влияет развитие индустрии, меняющееся в результате быстрого и зачастую непредсказуемого развития комплементарных технологий [Tiwana, Konsynski, Bush 2010]. Постепенная интеграция данных, видео, аудио и устройств позволяет расширяться в смежные рынки. Например, недавний переход от десктопного к мобильному интернету трансформировал отрасль и стал для многих компаний решающим [Kenney, Pon 2011]. В то время как компания Nokia пропустила конвергенцию программного обеспечения и устройств [Moazed, Johnson 2016], стратегия Google в мобильном сегменте подорвала функционал конкурентных платформ, связала продукты со своей поисковой платформой и позволила выйти на новые рынки [Eisenmann, Parker, Van Alstyne 2006, 2011; Kenney, Pon 2011].

В-третьих, направления роста платформ зависят от практик пользователей и паттернов медиапотребления. Большую популярность на азиатских рынках получила бизнес-модель «супер-приложения» (super app), основанная на горизонтальной экспансии. В отличие от традиционных приложений, предоставляющих один сервис, супер-приложение служит точкой входа в экосистему сервисов (мессенджер, социальные сети, магазины, платежная система, доставка еды, заказ такси и проч.). В качестве примеров можно назвать индонезийский GoJek, южнокорейский KakaoTalk, индийский Flipkart, вьетнамский Zalo, сингапурский Grab, китайский WeChat. Супер-приложения позволяют не сегментировать аудиторию по разным сервисам, а удерживать пользователя внутри системы и максимально использовать платформу как рекламную площадку.

Модель супер-приложения стала успешной на развивающихся рынках по нескольким причинам. Наличие виртуальных, а не установленных на телефон приложений, позволяет экономить память и заряд батареи устройства на рынках, где доступ в интернет происходит с помощью недорогих и менее мощных смартфонов¹. Супер-приложения проще в навигации для поколения пользователей, для которых смартфоны стали первым устройством, чтобы использовать интернет. Популярность супер-приложений WeChat (Tencent) и AliPay (Alibaba Group) в Китае объясняется тем, что массовые практики пользования интернетом складывались в 2000-е, когда для доступа в интернет уже использовался смартфон².

На других рынках, прежде всего на американском и европейском, эта модель не получила развития. Одно из возможных объяснений заключается в том, что на Западе смартфонам предшествовал период навигации в веб-сегменте, в результате чего пользователи привыкли обращаться к отдельным интернет-ресурсам ради получения информации и услуг. Кроме того, западные пользователи негативно относятся к сбору и накоплению личных данных одной платформой, и недавние скандалы нанесли ущерб пользовательскому доверию. Это приводит к тому, что платформенные компании состоят из дезинтегрированных приложений. Например, Facebook разделил Facebook Messenger и социальную сеть Facebook, IGTV (приложение для просмотра видео длительностью до 60 минут) и Instagram. Однако все это не мешает Facebook экспериментировать с моделью супер-приложения на развивающихся рынках. В результате партнерства с китайским сервисом Didi пользователи мессенджера WhatsApp в Бразилии могут заказывать такси с помощью сервиса обмена информацией о локации, а в Индии WhatsApp запускает сервис платежей³.

184

- 1 Galani U. Breakingviews — Breakdown: The scramble to secure super-app status. (<https://www.reuters.com/article/us-india-companies-breakingviews/breakingviews-breakdown-the-scramble-to-secure-super-app-status-idUKKBN26Y0AN>), Ponnappa S. What is a 'Super App'? Lessons in building an ecosystem — it's always about thinking ahead for the long haul (<https://blog.gojekengineering.com/what-is-a-super-app-4f2d889451e6>)
- 2 С помощью супер-приложения региональные интернет-компании в том числе конкурируют с монополистами Google и Apple. Супер-приложения становятся заменой магазинам приложений мобильных ОС Android или iOS. Сформировав базу лояльных пользователей, владелец супер-приложения дает возможность третьим сторонам размещать мобильные приложения и пользоваться преимуществом в виде существующей базы и сильного бренда.
- 3 Galani U. Breakingviews — Breakdown: The scramble to secure super-app status. (<https://www.reuters.com/article/us-india-companies-breakingviews/>)

Таким образом, экспансия платформ зависит от внутренних возможностей компании и механизмов работы с данными, которые свойственны конкретному типу платформы. При выборе стратегии также учитываются аудитория сервиса со свойственными ей практиками интернет-потребления, текущая законодательная база, регулирующая деятельность, и природа конкуренции в сегменте.

География платформ. Направления для будущих исследований

Академическая литература о платформенных компаниях преимущественно ориентирована на историю американского интернета и рассматривает кейсы американских интернет-фирм. За исключением нескольких работ, посвященных кейсу японской мобильной телефонии iMode [Funk 2009; Tee, Gawer 2009; Steinberg 2019] и популярности китайских интернет-компаний [Jia, Kenney 2016; Jia, Kenney, Zysman 2018], интерес к которой возник в контексте китайско-американских отношений [Cartwright 2020], другие географические контексты находятся вне изучения.

Интерес к географии интернет-компаний продиктован все возрастающим влиянием платформ на социальную и экономическую жизнь и связанной с ним неравномерностью распределения и накопления капитала. На данный момент интернет-платформы США (Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix) доминируют на многих национальных рынках. В результате американские платформы диктуют логику экономики платформ [Kenney, Zysman 2019], определяют практики медиапотребления и производства культуры [Steinberg 2019], структурируют социальные взаимодействия [Van Dijck 2013].

Одновременно с американскими глобальными платформами существуют региональные, возникающие в других экономических и социальных системах и имеющие меньший географический охват [Steinberg, Li 2017]. Например, российские сервисы ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники являются конкурентами глобальных платформ на домашнем рынке России и охватывают русскоязычных пользователей стран бывшего СНГ. Страны Азиатско-тихоокеанского региона также имеют свою популяцию сервисов, в которую входит, например, мессенджер Line, широко использующийся на рынках Таиланда, Тайваня, Японии и Малайзии.

Отличия стран в социальном, экономическом и политическом устройствах влияют на то, насколько они могут обеспечить условия

breakingviews-breakdown-the-scramble-to-secure-super-app-status-idUKKBN26Y0AN)

для появления интернет-компаний, что приводит к неравномерности их географического распределения. Успех платформенной бизнес-модели и развитие интернет-индустрии в США были исторически связаны с изменениями в экономике и ситуацией на финансовом рынке [Срничек 2019]. В Китае домашняя популяция компаний возникла в результате протекционистской государственной политики [Fannin 2019], однако ряд работ утверждает, что американские интернет-фирмы в Китае не были конкурентоспособными еще до государственного запрета, поскольку демонстрировали плохое понимание китайской бизнес-культуры и рынка [Wang, Ren 2012; Zeng, Glaister 2016]¹. В странах Европы исторически не сформировалась национальная среда, благоприятная для создания платформенных компаний [Hermes, Clemons, Schreieck et al. 2020]. За исключением нескольких местных платформ вроде шведского сервиса для стриминга музыки Spotify, европейские пользователи являются потребителями американских платформ. Платформы начали появляться в странах Африки и Латинской Америки, но пока их число и размеры не сравнимы с другими географическими контекстами [Evans, Gawer 2016].

186

Теория платформ до сих пор игнорировала вопросы национальной среды, которая способствует возникновению конкурентных региональных платформ. Исключение составляют работы, которые подчеркивают важность третьей стороны, к ней относятся разработчики, поставщики, органы национального регулирования и контроля [Tiwana, Konsynski, Bush 2010] и «архитектуры индустрий», то есть принятые отношения между фирмами-комплементорами [Jacobides, Knudsen, Augier 2006]. Недавно опубликованная работа [Stallkamp, Schotter 2021] позволяет проследить взаимосвязь между национальной средой и извлекаемых платформой сетевыми эффектами. Однако неравномерность географии платформенных компаний требует теоретического осмысления, почему одни национальные контексты становятся производителями, а другие — потребителями платформ [Evans, Gawer 2016]. Для этого необходимы дальнейшие теоретические исследования, отслеживающие более

1 Американские платформы приходили на китайский рынок с западными бизнес-моделями и переводами существующих сервисов на китайский язык. Подобный трансфер не учитывал практик местных пользователей и особенности культуры коммуникации, например, таких как механизмы формирования доверия между покупателями и продавцами на рынке электронной коммерции [Li 2019]. Более того, западные модели были по большому счету ориентированы на интернет-навигацию, осуществляемую с персонального компьютера, в то время как в Китае происходил переход на навигацию со смартфонов.

четкую связь между устройством сетевых рынков, платформенной архитектурой, стратегическим управлением и национальной средой. Учет исторического и географического разнообразия платформенных компаний позволит более комплексно подойти к осмыслению экономики платформ [Steinberg 2019] и платформенной теории.

Библиография/References

Срничек Н. (2019) *Капитализм платформ*, М.: ИД ВШЭ.

— Srnicek N. (2017) *Platform Capitalism*, Cambridge: Theory Redux. . — in Russ.

Adner R., Kapoor R. (2010) Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations. *Strategic Management Journal*, 31 (3): 306-333.

Arthur W.B. (1989) Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-in by Historical Events. *The Economic Journal*, 99 (394): 116-131.

Bajaj H., Jindal R. (2015) Thinking beyond WhatsApp. *2nd International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom); New Dheli, India, 11-13 March 2015*, New Dheli: IEEE: 1443-1447.

Baldwin C.Y., Clark K.B. (2000) *Design Rules: The Power of Modularity (Vol. 1)*, Cambridge, MA: MIT press.

Baldwin C.Y., Woodard C.J. (2009) The Architecture of Platforms: A Unified View. A. Gawer (ed.) *Platforms, Markets and Innovation*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing: 19-44.

Ballon P. (2009) The Platformisation of the European Mobile Industry. *Communications & Strategies*, 75, 3rd quarter. (<https://ssrn.com/abstract=1559101>)

Besen S.M., Farrell J. (1994) Choosing How to Compete: Strategies and Tactics in Standardization. *Journal of Economic Perspectives*, 8 (2): 117-131.

Boudreau K. (2008) *Opening the Platform vs Opening the Complementary Good? The Effect on Product Innovation in Handheld Computing*. (<https://ssrn.com/abstract=1251167>)

Cabral L.M., Kretschmer T. (2007) Standards Battles and Public Policy. S. Greenstein, V. Stango (eds) *Standards and Public Policy*, Cambridge, MA: Cambridge University Press: 329-344.

Caillaud B., Jullien B. (2003) Chicken & Egg: Competition among Intermediation Service Providers. *The RAND Journal of Economics*, 34 (2): 309-328.

Cartwright M. (2020) Internationalizing State Power Through the Internet: Google, Huawei and Geopolitical Struggle. *Internet Policy Review*, 9 (3): 1-18.

Cennamo C., Santalo J. (2013) Platform Competition: Strategic Trade-offs in Platform Markets. *Strategic Management Journal*, 34 (11): 1331-1350.

Cusumano M.A., Gawer A. (2002) The Elements of Platform Leadership. *MIT Sloan Management Review*, 43 (3): 51.

Cutolo D., Kenney M. (2019) Dependent Entrepreneurs in a Platform Economy: Playing in the Gardens of the Gods. *Berkeley Roundtable on the International Economy* (Working Paper No. 3).

- Dunleavy P., Margetts H.Z., Tinkler J., Bastow S. (2006) *Digital-era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government*, Oxford: Oxford University Press.
- Eisenmann T., Parker G., Van Alstyne M.W. (2006) Strategies for Two-sided Markets. *Harvard Business Review*, 84 (10): 92.
- Eisenmann T., Parker G., Van Alstyne M. (2008) Opening Platforms: How, When and Why? A. Gawer (ed.) *Platforms, Markets and Innovation*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing: 131-162.
- Eisenmann T., Parker G., Van Alstyne M. (2011) Platform Envelopment. *Strategic Management Journal*, 32 (12): 1270-1285.
- Eaton B., Elaluf-Calderwood S., Sorensen C., Yoo Y. (2015) Distributed Tuning of Boundary Resources: the Case of Apple's iOS Service System. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 39 (1): 217-243.
- Eocman L, Jeho L, Jongseok L. (2006) Reconsideration of the Winner-take-all Hypothesis: Complex Networks and Local Bias. *Management Science*, 52 (12): 1838-1848.
- Etro F. (2013) Advertising and Search Engines. A Model of Leadership in Search Advertising. *Research in Economics*, 67 (1): 25-38.
- Evans P. C., Gawer A. (2016) The Rise of the Platform Enterprise: a Global Survey. *The Center for Global Enterprise*. (<https://www.thecege.net/archived-papers/the-rise-of-the-platform-enterprise-a-global-survey/>)
- Farrell J., Saloner G. (1985) Standardization, Compatibility, and Innovation. *The RAND Journal of Economics*, 16 (1): 70-83.
- Fuentelsaz L., Garrido E., Maicas J.P. (2015) Incumbents, Technological Change and Institutions: How the Value of Complementary Resources Varies Across Markets. *Strategic Management Journal*, 36 (12): 1778-1801.
- Funk J.L. (2009) The Co-evolution of Technology and Methods of Standard Setting: the Case of the Mobile Phone Industry. *Journal of Evolutionary Economics*, 19 (1): 73.
- Gawer A. (2009) Platform Dynamics and Strategies: From Products to Services. A. Gawer (ed.) *Platforms, Markets and Innovation*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing: 45-76.
- Gawer A. (2014) Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework. *Research Policy*, 43 (7): 1239-1249.
- Gawer A., Cusumano M.A. (2002) *Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation*, Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Gawer A., Cusumano M. (2008) How Companies Become Platform Leaders. *MIT Sloan Management Review*, 49: 28-35.
- Gawer A., Phillips N. (2013) Institutional Work as Logics Shift: The Case of Intel's Transformation to Platform Leader. *Organization Studies*, 34 (8): 1035-1071.
- Greenstein S. (2015) *How the Internet Became Commercial: Innovation, Privatization, and the Birth of a New Network*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hagiu A., Wright J. (2011) Multi-Sided Platforms. *Harvard Business School* (Working Paper No. 12-024).

- Hannah D.P., Eisenhardt K.M. (2018) How Firms Navigate Cooperation and Competition in Nascent Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39 (12): 3163-3192.
- Hermes S., Clemons E., Schreieck M., Pfab S., Mitre M., Böhm M., Wiesche M., Krcmar H. (2020) Breeding Grounds of Digital Platforms: Exploring the Sources of American Platform Domination, China's Platform Self-Sufficiency, and Europe's Platform Gap. *Twenty-Eighth European Conference on Information System (ECIS2020); A Virtual AIS Conference Proceedings*. (https://aisel.aisnet.org/ecis2020_rp/132?utm_source=aisel.aisnet.org%2Fecis2020_rp%2F132&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages)
- Jacobides M.G., Cennamo C., Gawer A. (2018) Towards a Theory of Ecosystems. *Strategic Management Journal*, 39 (8): 2255-2276.
- Jacobides M. G., Knudsen T., Augier M. (2006) Benefiting from Innovation: Value Creation, Value Appropriation and the Role of Industry Architectures. *Research Policy*, 35 (8): 1200-1221.
- Ji S.W., Choi Y.J., Ryu M.H. (2016) The Economic Effects of Domestic Search Engines on the Development of the Online Advertising Market. *Telecommunications Policy*, 40 (10-11): 982-995.
- Jia K., Kenney M. (2016) Mobile Internet Business Models in China: Vertical Hierarchies, Horizontal Conglomerates, or Business Groups. *Berkeley Roundtable on the International Economy* (Working Paper No. 6).
- Jia K., Kenney M., Zysman J. (2018) Global Competitors? Mapping the Internationalization Strategies of Chinese Digital Platform Firms. R.V. Tulder, A. Verbeke, L. Piscitello (eds) *International Business in the Information and Digital Age*. Progress in International Business Research. Vol. 13, Bingley: Emerald Publishing Limited: 187-217.
- Katz M. L., Shapiro C. (1986) Technology Adoption in the Presence of Network Externalities. *Journal of Political Economy*, 94 (4): 822-841.
- Kenney M., Pon B. (2011) Structuring the Smartphone Industry: Is the Mobile Internet OS Platform the Key? *Journal of Industry, Competition, and Trade*, 11 (3): 239-261.
- Kenney M., Zysman J. (2016) The Rise of the Platform Economy. *Issues in Science and Technology*, 32 (3): 61.
- Kenney M., Zysman J. (2019) The Platform Economy and Geography: Restructuring the Space of Capitalist Accumulation. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497978)
- Kenney M., Bearson D., Zysman J. (2021) The Platform Economy Matures: Measuring Pervasiveness and Exploring Power. *Socio-Economic Review*, mwab014, <https://doi.org/10.1093/ser/mwab014>
- Kenney M., Rouvinen P., Seppälä T., Zysman J. (2019) Platforms and Industrial Change. *Industry and Innovation*, 26 (8): 871-879.
- Kotha S. (1998) Competing on the Internet: How Amazon.com is Rewriting the Rules of Competition. *Advances in Strategic Management*, 15: 237-268.
- Kotha S., Rajgopal S., Rindova V. (2001) Reputation Building and Performance: An Empirical Analysis of the Top-50 Pure Internet Firms. *European Management Journal*, 19 (6): 571-586.

Kotha S., Rindova V.P., Rothaermel F.T. (2001) Assets and Actions: Firm-specific Factors in the Internationalization of US Internet Firms. *Journal of International Business Studies*, 32 (4): 769-791.

Krishnan V., Gupta S. (2001) Appropriateness and Impact of Platform-based Product Development. *Management Science*, 47 (1): 52-68.

Li F. (2019) Why Have all Western Internet Firms (WIFs) Failed in China? A Phenomenon-based Study. *Academy of Management Discoveries*, 5 (1): 13-37.

Liebowitz S. (2002) Rethinking the Networked Economy: The True Forces Driving the Digital Marketplace. *AMACOM, American Management Association*. (https://www.researchgate.net/profile/Stan_Liebowitz/publication/265226712_Rethinking_the_Networked_Economy_The_True_Forces_Driving_the_Digital_Marketplace/links/56f02e8d08ae584badc92d54/Rethinking-the-Networked-Economy-The-True-Forces-Driving-the-Digital-Marketplace.pdf)

McIntyre D.P., Srinivasan A. (2017) Networks, Platforms, and Strategy: Emerging Views and Next Steps. *Strategic Management Journal*, 38 (1): 141-160.

Meyer M.H., Lehnerd A.P. (1997) *The Power of Product Platforms*, New York: Simon & Schuster.

Moazed A., Johnson N.L. (2016) *Modern Monopolies: What it Takes to Dominate the 21st Century Economy*, New York: St. Martin's Press.

190

Nalebuff B.J., Brandenburger A.M. (1997) Co-opetition: Competitive and Cooperative Business Strategies for the Digital Economy. *Strategy & Leadership*, 25 (6): 28-35.

Nambisan S., Sawhney M. (2011) Orchestration Processes in Network-centric Innovation: Evidence From the Field. *Academy of Management Perspectives*, 25 (3): 40-57.

Parker G.G., Van Alstyne M.W., Choudary S.P. (2016) *Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You*, New York: W.W. Norton & Company.

Pasquale F. (2016) Two Narratives of Platform Capitalism. *Yale Law & Policy Review*, 35 (1): 309-319.

Patrucco P.P. (2012) Innovative Platforms, Complexity and the Knowledge Intensive Firm. M. Dietrich, J. Kraft (eds) *Handbook on the Economics and Theory of the Firm*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing: 358-375.

Patrucco P.P. (2014) The Evolution of Knowledge Organization and the Emergence of a Platform for Innovation in the Car Industry. *Industry and Innovation*, 21 (3): 243-266.

Plantin J.C., Lagoze C., Edwards P.N., Sandvig C. (2018) Infrastructure Studies Meet Platform Studies in the Age of Google and Facebook. *New Media & Society*, 20 (1): 293-310.

Pon B., Seppälä T., Kenney M. (2014) Android and the Demise of Operating System-based Power: Firm Strategy and Platform Control in the Post-PC World. *Telecommunications Policy*, 38 (11): 979-991.

Pon B., Seppälä T., Kenney M. (2015) One Ring to Unite Them All: Convergence, the Smartphone, and the Cloud. *Journal of Industry, Competition, and Trade*, 15 (1): 21-33.

Porter M.E. (2001) The Value Chain and Competitive Advantage. D. Barnes (ed.) *Understanding Business: Processes*, London: Routledge: 50-66.

- Reuver de M., Sørensen C., Basole R. C. (2017) The Digital Platform: a Research Agenda. *Journal of Information Technology*, 33 (2): 124-135.
- Rochet J.C., Tirole J. (2003) Platform Competition in Two-Sided Markets. *Journal of the European Economic Association*, 1 (4): 990-1029.
- Rochet J.C., Tirole J. (2006) Two-Sided Markets: a Progress Report. *The RAND Journal of Economics*, 37 (3): 645-667.
- Rysman M. (2009) The Economics of Two-Sided markets. *Journal of Economic Perspectives*, 23 (3): 125-43.
- Shankar V., Bayus B. L. (2003) Network Effects and Competition: An Empirical Analysis of the Home Video Game Industry. *Strategic Management Journal*, 24 (4): 375-384.
- Shapiro C., Varian H.R. (1999) The Art of Standards Wars. *California Management Review*, 41 (2): 8-32.
- Stallkamp M., Schotter A.P. (2021) Platforms Without Borders? The International Strategies of Digital Platform Firms. *Global Strategy Journal*, 11 (1): 58-80.
- Steinberg M. (2019) *The Platform Economy: How Japan Transformed the Consumer Internet*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Steinberg M., Li J. (2017) Introduction: Regional Platforms. *Asiascape: Digital Asia*, 4 (3): 173-183.
- Täuscher K., Laudien S.M. (2018) Understanding Platform Business Models: A Mixed Methods Study of Marketplaces. *European Management Journal*, 36 (3): 319-329.
- Tee R., Gawer A. (2009) Industry Architecture as a Determinant of Successful Platform Strategies: A case Study of the I-Mode Mobile Internet Service. *European Management Review*, 6 (4): 217-232.
- Tiwana A. (2013) *Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy*, Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Tiwana A., Konsynski B., Bush A.A. (2010) Research Commentary — Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics. *Information Systems Research*, 21 (4): 675-687.
- Van Dijck J. (2013) *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*, New York: Oxford University Press.
- Walton N. (2014) New Conglomerates and the Ecosystem Advantage. *China-USA Business Review*, 13 (7): 431-443.
- Wang X., Ren Z.J. (2012) How to Compete in China's E-Commerce Market. *MIT Sloan Management Review*, 54 (1): 17-19.
- Yoo Y., Henfridsson O., Lyytinen K. (2010) Research Commentary — the New Organizing Logic of Digital Innovation: an Agenda for Information Systems Research. *Information Systems Research*, 21 (4): 724-735.
- Zeng J., Glaister K.W. (2016) Competitive Dynamics Between Multinational Enterprises and Local Internet Platform Companies in the Virtual Market in China. *British Journal of Management*, 27 (3): 479-496.
- Zittrain J. (2008) *The Future of the Internet — And How to Stop it*, New Haven, CT: Yale University Press.

Рекомендация для цитирования:

Контарева А.Ю. (2021) Платформы как рынки, архитектуры, экосистемы: обзор основных подходов к изучению интернет-компаний. *Социология власти*, 33 (1): 169-192.

For citations:

Kontareva A.Yu. (2021) Platforms as Markets, Architectures, and Ecosystems: A Review of the Dominant Approaches in the Platform Literature. *Sociology of Power*, 33 (1): 169-192.

Поступила в редакцию: 16.01.2021; принята в печать: 21.01.2021

Received: 16.01.2021; Accepted for publication: 21.01.2021

JEREMY MORRIS

Aarhus University, Denmark

ORCID: 0000-0002-8861-9929

From Prefix Capitalism to Neoliberal Economism: Russia as a Laboratory in Capitalist Realism

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-193-221

Abstract:

This exploratory and review essay views Russia as a particular state-capital accommodation-assemblage characterized by neoliberal subjectivization of the population in a particularly stark manner. This argument is a departure from perspectives on Russia as a semi-periphery, instead proposing its thorough incorporation into the current moment of global capitalism. While 'state capitalism' has analytical purchase, 'authoritarian neoliberalism' is proposed as a more sharply focussed lens in examining Russia in the global context. This is important too in reorienting political economy to accommodate more grounded methodologies, including ethnography and other empirically subjective accounts. While beyond the scope of the essay, existing ethnographic accounts and empirical materials — particularly relating to Special Economic Zones in Russia are incorporated in the argument. In making its argument, the essay reviews the contribution of Foucauldian approaches to neoliberalism and neomarxian political economy. Then it reviews the varieties of capitalism approaches and their critics as well as the debates on state capitalism pertaining to Russia by Ilya Matveev, and as pertaining to state capitalism in general. Further the essay reviews recent work on Eastern Europe as providing examples of vanguard authoritarian neoliberal governance. Finally, this approach allows the essay to argue that Russia is not only a 'normal country', but that it anticipates contemporary developments towards more post-democratic capitalist futures, along with their counter-currents.

Keywords: Russia, Neoliberalism, State capitalism, conjunctural analysis, everyday political economy

193

Jeremy Morris — associate professor of Aarhus University, Denmark. Research interests: informal economy, precariat, labor research, post-socialism, ethnographic methods. E-mail: jmorris@cas.au.dk

Джереми Моррис — доцент Орхусского университета, Дания. Научные интересы: неформальная экономика, прекариат, исследования труда, постсоциализм, этнографические методы. E-mail: jmorris@cas.au.dk

One of the barriers to substantive analysis via ‘prefix’ capitalisms is their tendency to temporal and spatial delimitation. ‘Cognitive’, ‘platform’ and ‘digital’ capitalisms foreground real technological and social change but can equally be contextualized as part of a broad neoliberalizing episteme of the quantified, entrepreneurialized self [Mirowski 2019]. Neoliberalization can be seen a dynamic patterning process of regulatory transformation rather than a bounded construct [Peck et al. 2009]. Spatially, prefix capitalism has the tendency to reproduce unidirectional logics — from core to periphery, from retrograde to postmodernity. This is particularly true of attempts to situate Russia’s political economy within global capitalism. Accordingly, Russia is variously seen as a ‘resister state’, partly outside the governance structure of ‘Atlantic capitalism’ [Callinicos 2010, Van der Pijl 2006] which is reflected in definitions like ‘state capitalism’. In a related manner, it is merely seen as a semi-periphery supplying the core. While both perspectives have merit, they potentially obscure Russia’s more thorough incorporation into a ‘conjunctural’ capitalism characterized by transnational ‘neoliberal “economism”’ [Kalb 2013].

194

‘Conjuncture’ describes the joining together (albeit unevenly but still in a recognisable pattern) of *global* processes in a historical moment that can be overlaid on top of state and political differences. Conjunctural phenomena express a particular temporal moment in capitalism, but also invite enquiry into the sources that brought that moment about and that sustain them. ‘Late’ capitalism may have a firm analytic and historical purchase to describe a period after the 1970s: Fordist and alternative economic models offered by the socialist experiment are both replaced by flexible accumulation via deregulation [Harvey 1989], ‘dispossession’ and recurring spatiotemporal capital ‘fixes’ [Harvey 2003], financialization [Fine 2010; Friedman 2015: 191],¹ enclosure and exclusion [Sassen 2014] and precarization [Standing 2011]. However, with the exception of Fordism, these processes are cyclically inherent to capitalism itself. ‘State capitalism’, ‘neofeudalism’, and ‘kleptocracy’ may all describe ‘features’ of the Russian case rather than ‘bugs’. They are to varying degrees part of conjunctural phenomena. In other words, they are like the potholes of uneven spatial development in an otherwise expansive road that carries the vehicle of socio-economic transformation of Russia into another ‘normal country’ — as Andrei Shleifer and Daniel Treisman [2005] memorably wrote when they described Russia as a ‘typical middle-income capitalist

1 Fine argues that today’s financialization moves beyond social generalization of usury, as argued by other scholars. Instead, Fine argues that financialization underpins the persistence of neoliberalism and is not merely one of its consequences.

democracy'. Instead of seeing state 'activism' as somehow antithetical to common global patterns of accumulation, it is important to see how it is incorporated within broader trends. My argument is that focussing on distinctions in state-capital accommodations overlooks the degree of integration, and that, fundamentally, the 'neoliberal tide' is so overdetermined (particularly in the political and social domains) that Callincos's argument [2005] — that cases like Russia are examples of semi-peripheral 'economic statism' — lacks explanatory power.

Everyday Political Economy

In this essay, on the basis of my long-term fieldwork in Russia [Morris 2016], I discuss the Russian case study as neither peripheral nor politically retrograde in the production of 'capitalist realism' [Fisher 2008] and neoliberal economism. 'Everyday political economy' is necessary to this task because it draws into discussion the exploration of lived experience. This is proposed via the spatial, temporal and violent framework approach of Elias and Ria [2019: 218] who as part of a current in feminist scholarship, see 'everyday political economy' as integrating 'autonomous agency' with landscapes of structural violence. This in turn demands not only the ethnographic, but the biographical tracing — of the long-term underemployed and informal workers in former monotowns; of white-collar women's upward social and physical mobility — a corollary of Russia's de-industrialisation. While these are projects beyond the scope of this essay, giving voice to the political-economic content of biographical memory has been my long-term research aim that in turn informs my approach now. Tracing the social action of residual classes, from the technical intelligentsia and labour aristocracy of former Soviet times in particular, to the lumpenized working-class and small entrepreneurial middle class, is an exercise in interrogating and problematizing the transformation of Soviet subjecthood into liberal, neoliberal or 'authoritarian' identity [Morris 2012, 2016]. Biographical agents are not understood as 'autonomous universes of meaning, but as mediators between social structures and human agency' [Kiossev 2018]. For the purposes of this theoretically weighted essay, I rely mainly on asides to my previously published work.

195

Capitalist Realism — Russian Style

The 'everyday', biographical experience of capitalism fits with Mark Fisher's noun-term 'capitalism realism' because of what it says about the *internalization* of particular political-economic relations and their *externalization* in bodily practices pertaining to the violence of such relations. Taking note of the long debate on Stalinist man (sic), we should also be mindful of Anna Krylova's [2000: 27] injunction that internaliza-

tion of ideology is not the same as belief or identification. Capitalist realism proposes the inevitable and inescapable internalization of normative economic relations typified by increasing exploitation and despair. Fisher calls the effect of this a 'preemptive formatting' [2008: 9] via the recuperation of all cultural and social production to make capitalism experienced as both ineffably incorporated in everyday life, but also as an impersonal entity. Taking neoliberal precarization as an example — I show in my research that workers in former Russian monotowns take seriously governmentality — the necessity to become flexible subjects for reincorporation into the reserve army of labour at the same time as failing to imagine any structural limits or remedies. This is despite them simultaneously experiencing trauma and humiliation because they, correctly, apprise that there is no object external to their 'realism' to appeal to [Morris 2016]. This is an 'everyday' internalization of 'TINA' ('there is no alternative') — the political slogan of Margaret Thatcher and an example of what Philip Mirowski [2019: 7] calls neoliberalism as 'engine for epistemic truth' rather than just a market-centric version of neoclassical economics. In a different theoretical direction based on a Foucauldian framing of neoliberalism, Maurizio Lazzarato has explored social subjectivation beyond the discursive realm as 'machinic enslavement' even in forms of labour that are post-material. This is an objective process, rather than an ideological distortion of reality [Maidan 2014]. Authoritarian governance, according to Lazzarato, is the result of this 'subjective impasse' in the current conjuncture [2014: 21]. If we accept the significance of increasingly authoritarian neoliberalism, then shouldn't we look to regimes like those in Russia as at the 'vanguard'? However, the purpose of this essay is *not* to once more create another prefix or orientalize the Russian experience, but on the contrary to highlight points of similarity in the normalization and coercive imposition of economic subordination and flexible accumulation.

Fisher's term plays off an association with socialist realism — that perceived reality is malleable through ideology and its projection of universalism elides a present-future distinction. Russia as a *laboratory* seems to me an equally apt metaphor. In the past, given the brutality of economic transition other metaphors have been employed — such as a weapons proving ground — or *poligon* [Pokrovskii, Bobylev 2003]. Cetina [1999] argues that the laboratory environment comes to be identified as a space of work on the malleability of objects, the refitting of pre-existing states to new orders. The laboratory does not have to 'put up with an object *as it is*'. It is an authoritarian space of material throughput, and a lot of discarded, mutated waste. At the risk of simplification, one can say that Russian history offers plenty of examples of visions of a totalizing structuring of the organisation of socio-economic matter, as well as a willingness for abrupt 'experimental' shifts. Russia as a laboratory in

capitalist realism also resonates with existing critiques of 'prefix' capitalism such as Peck and Theodore's [2007]. Their approach acknowledges that while territorial differences remain, we should focus on similarities in governance, governmentality and gradations of dispossession. At the same time, exploring authoritarian neoliberalism in places like Russia as a 'spectrum' of practices and politics [Bruff, Tansel 2019] helps us anticipate the capitalist futures of what we still think of as the global 'core'. While long-term currents are important, there are also recent noteworthy recent developments in Russia — from a sudden adoption of an open discourse of biopolitical waste, to, like in China, the development of technologically enhanced biopolicing, noteworthy because it takes place in a more culturally familiar context where at least lip service is paid to individual rights. A third development is the final eradication of the vestiges of social paternalism that somehow survived after 1991. The Hobbesian mode of authoritarian neoliberalism in Russia allows us to touch the future for other 'postenlightenment' states even as we 'westerners' reassure ourselves with misplaced analysis about 'populist authoritarianism' being the East European or Latin American problem.

Peck and Tickell [2002] see globalisation as a process whereby capitalist rhetorics 'make themselves true', in the words of Bourdieu, not as exogenous forms of thinking, but as domesticated (forms) beyond the core. While the extralocal is important (as diffusion and contagion, see [Larner 2000, Biebricher 2018]) genealogically, in the current conjunction, it is increasingly surpassed by domesticated recombination. Tobias Rupprecht [2020] proposes for Russia a 'peripheral' variety of neoliberalism with both domestic and transnational roots, and a decidedly undemocratic and state-sovereign preference. This can be seen in three intertwined moments in Russia today that act as gears, each propelling forward each other in capitalist realist logic: 1. Hegemonic neoliberal economism; 2. The rhetorical retreat of the social state where social reproduction is delegated to the private sphere and zones of biopolitical waste are designated in the population. 3. Increasing state support for corporate infrastructure that would remake the former redistributive commons as private commodities [Fine, Saad-Filho 2017: 688-9]; However, in the Russian case, governance in provisioning functions is incoherently devolved, delegated or improvised — a current example is observed in the privatisation of garbage collection that creates rent-seeking opportunities, but whose 'service' is dysfunctional and profit subject to continual 'renegotiation'. State incoherence is a logical strategy, albeit a 'contingent necessity' as Jessop puts it [2007], because of the particularly truncated arm's reach of the Russian state — strong at the shoulder, but weak at the finger. Incoherence 'enforces' the previous moments — forces people to rely on their own resources and embrace internalization of governmentality as their only option to survive. 4. Recombinant populism reserves politics for libidinal expres-

sion – ‘bad’ elites or enemies are blocking access to the desired social state, which populism promises to fix. In practice it merely results in reproducing elites by rotating internal/external foes, reproducing befuddlement and docility [Mirowski 2019: 24]¹.

More concretely and in dialogue with Peck and Tickell [2002], we can focus on a broad neoliberal politics that is ‘undisguised’ in the Russian authoritarian context. The obvious relegation of social welfare concerns to the lowest rung in the ladder of state priorities – facilitated in part by the power of the security ministries; naturalization of social Darwinism, a lock-in of public sector austerity – the leanest fiscal regime possible, also facilitated by the absence of a public sphere. Also important are a lack of opportunities for political mobilization, an overweening security state and an exhausted population. At the same time, aggressive elite formations act as predatory forms – accelerating accumulation and the shake out of less ‘competitive’ actors in the stakes of elite-crony networking. Formerly fragmented markets are rendered increasingly monopolistic through the redistribution of entire sectors through state power and coercion. However, on the public policy front there is the acknowledgement of only a narrow repertoire of economic tools – everything is a nail with a supply-side hammer. Fittingly an ‘incoherent’ state engages in de facto ‘anti-regulation’. In other words, incomplete rule of law substitutes a ‘market’ in enforcement, with ‘violent entrepreneurs’ [Volkov 2002] increasingly giving way to state-corporate formations. Similarly on a micro-level, ordinary people are incorporated into webs of corrupt ‘markets’ in diplomas, medical services, and other semi-formalized systems of kick-back, such as ‘*otkat*’. These add to incoherence, as alongside economistic reasoning they imply a caste-based order [Kordonsky 2016]. While it is true that there are rhetorical policy flourishes that may seem to herald the return of the social state, the very inconsistency and inadequacy of such measures – from postnatal grants, to state caps on food prices – points to them as plasters covering over-sized wounds on the body social-politic.²

198

1 A thorough discussion of Shield’s [2019] term ‘conjunctural recombinant populism’ and neoliberalism (state intervention via seemingly progressive pro-family welfare and social policy which serve to entrench and intensify the notion of reprivatized social reproduction – then packaged as part of political populism) is beyond the scope of the essay. Shields though may be read alongside Mirowski [2019: 17-25] who touches directly on the Russian case in the context of ‘post-truth’ as serving the normalization of ignorance and the creation of demand for falsehood as a primary instrument of neoliberalism.

2 Indeed, the field of social benefits only gets more byzantine in its complexity, conditionality, and, indeed incoherence: <https://www.mk.ru/economics/2021/03/24/mnimym-tuneyadcam-prigotovili-novye-ogranicheniya-podetskim-posobiyam.html>

The conclusion of this paper takes up again the issue of ‘contingent necessity’ contained within authoritarian neoliberalism, arguing that just as incoherence facilitates ‘looting’ and dispossession, so too does it open up new ‘holes’ in the fabric of economic relations. Lines of flight by the dispossessed continually present new challenges to the state-capital formation. This allows us to present the other side of the ‘*avante la lettre*’ — the expansion of everyday resistance. Examples are the increasing possibilities to hack the biopolitical state’s informational base using low-tech tools, the withdrawal by individuals and communities into grey zones of informality and reciprocity, and an everyday politics that undermines the recombinant authoritarian populism by its very ‘apoliticism’ and superficial compliance.

State capitalists, or activist states serving neoliberal economism?

In the comparative study of varieties of capitalism, Russia is an instructive case of the limitations, of ‘prefixing’. Similarly, searches for suitable political definitions such as neopatrimonialism, competitive authoritarianism or managed democracy reflect a problematic continuation of a Cold War perspective on Russian exceptionalism. In reality, Russian politics is no more ‘managed’ than in many democracies. It may be more corrupt and in the grip of a dominant elite, but no more so than Italy on the former count, and South Africa or Japan on the latter. More popular typologies of political economy, such as ‘kleptocracy’ [Dawisha 2014], or the more sober ‘state capitalism’, are either polemical, or lacking sufficient scholarly agreement on the basis for evaluation.

Neomaxxian approaches [Callinicos 2010, Van der Pijl 2006] also tend to highlight differences rather than similarities, which is unfortunate. Capitalism in the East is supposedly ‘parasitic’ and unproductive; the inability to enforce property rights leads to predatory yet unstable formations that impede development that would allow ‘normal’ relations of production to arise. Centralization of economic assets in the hands of elite players and a weakly, ‘decaying’, hegemonic project of national modernisation hide high levels of offshoring of capital in what appear to be quite different *politics* — Ukraine and Russia. In short, there is extraction, but not surplus in the domestic economy. There is no long-term interest of ‘capital-in-general’ as a hegemonic system of coordination and control [Merlingen n.d]. However, what this picture tends to discount is the ever-increasing weight of the internal service sector, despite continuing reliance on raw materials and petro-chemicals export, and the ongoing salience of FDI [Connolly 2018: 186]. Despite the post-Crimea sanctions and counter-sanctions regime, Russia’s position

in terms of economic complexity is better than one would expect for a petro-economy — a little more complex than Turkey, Brazil, or Bulgaria, and a little less complex than Romania, Thailand or Malaysia — all comparable countries in terms of GDP/capita.¹ While Russia's financial sector is relatively small and state-dominated (especially after 2014 — see Connolly [2018], its integration with global capital is evidenced by the continuing relevance of round-tripping capital investment, rather than permanent off-shoring [see Ledyeva et al. 2015], integration via secondary markets of sovereign debt — again despite sanctions (a majority of Euro-denominated debt is held by foreign investors)², and the increasing salience of special economic zones (SEZs) dominated by transnational corporations serving the consumer sector [Gurkov & Saidov 2017]. This last example is discussed below. Finally, there is the transformation of the service sector into a major contributor to GDP and productivity growth, in contrast to China and in contrast to the interpretation that natural resources crowd out all else [Zhao, Tang 2018].

200 Ilya Matveev's typologization of Russia as an example of 'state capitalism' [2019a] provides a more nuanced perspective than generalist neomarxians. Matveev proposes an elective affinity between neoliberal economics and elements of dirigiste industrial policy that maintain the position of economic elites and provide political stability, but which are uncoordinated with the private sector. Notably while the primitive accumulation associated with the 1990s privatisation processes and subsequent political conflict gets oversized attention, the relative security of property rights for 'winning' elites, and the longer term development of 'normal' forms of market accumulation, are overlooked [Matveev 2019b]. Notably, banking, oil and gas, and some industrial monopolies are directly or indirectly state owned. Experiments in pronatal social benefits and elements of autarkic developmentalist policy since 2014 run against market philosophy underpinning a classic neoliberal positioning. However, Matveev argues that despite these seeming divergences, Russia nonetheless maintains orthodox neoliberal policies such as a strong

1 The Economic Complexity Rankings is an open source project by MIT based on geographical distributions of diverse economic activities. <https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs12>. Notably, Russia comes in around the bottom of the top quartile for complexity, but well ahead of many countries whose lack of complexity is not normally interpreted as pushing them outside of the global core, or at least the global north — e.g. Australia, New Zealand, Portugal, Greece. Connolly does note, however how state interference in the financial system results in significant distortions — particularly in investment (2018: 160-2) and that sanctions did impose significant costs on raising long-term capital (2018: 170) but that this was offset by participation in multilateral financial organisations among the BRICS.

2 <https://www.reuters.com/article/us-russia-eurobond-yield-idUSKBN27S13Y>

monetarist bias, fiscal consolidation, and marketized mechanisms of discipline and competition in the public sector [Cook 2013, Sigman 2013]. Matveev provides clues to my main argument: the need to make a distinction between clientelistic and patrimonial negotiations of relative power and access to capital resources within the elite, and a broad and deep set of policies that affect the lives of the majority of Russians in the private and public sectors. Objections to Matveev's characterization of authoritarian neoliberalism in Russia are striking for their misunderstanding and misrecognition of fundamental changes that align with core deregulatory and 'responsibilizing' principles, explored further below [Ovsyannikova 2016].

Translating the substance of this transformation into the language of popular politics, localized versions of terms like 'austerity', 'the 1%', 'one rule for the rich', 'work no longer has dignity', 'the callous state', 'we are a country of paupers', resonate for Russians, W. Europeans, and N. Americans alike. Indeed, for workers in SOEs in strategic industries, such as Gazprom, exploitative and intensified labour conditions are strikingly similar to experiences of corporate change elsewhere, when narrative accounts are examined. My long-term underemployed research participant, Igor, reflects on his experience as a seasonal [*na vakhtu*] construction contractor with Yamal LNG¹ in the far North, where 80% of Russia's gas reserves are found. What is important here is the presence of lay political-economic analysis that experience generates. In terms of everyday political economy, does it really matter that SOEs exist?

201

Like everywhere now a cleverly [*khitro*] designed small base 'white' [taxed] salary with bonuses that are impossible to earn. Again, like everywhere, there is a 'black' [unregistered, illegal] component of pay that is also withheld at will, as a kind of weapon over you. Terrible conditions, worse than a prison camp. I quit ahead of my term because I got neither the days off, nor the travelling expenses in the contract. As a result, they wrote a terrible recommendation letter – without which I will not get another contract. We are just another item of brittle or pliable '*inventar*' [equipment] to be used until it breaks (instead of a 12-hour shift we regularly worked 16). To me it's like Russia is a slave colony, we just don't use that term anymore. We 'manage' our slavery ourselves, with some help from machines and technology [interview in Kaluga Region, summer 2019].

While the polymorphism of state intervention in economies might justify the moniker 'state capitalism', critical geopolitics scholars caution

1 Yamal LNG is joint owned by Novatek, a private inheritor-firm of a Soviet pipe constructor, in which the Russian state has a 9% interest, other stakeholders are China's main energy SOE, the French TNC TOTAL SE, and Volga Group, Luxembourg registered private investment vehicle with Russian assets.

that this perspective tends to reinforce a discursive, or even ‘imaginary’ division of the world into ‘western’ type free-market capitalism, and ‘eastern’ type authoritarian models [Alami and Dixon 2020a]. A focus on illiberality, unfree functioning of markets and supposed ‘abnormality’ of state capital helps justify a more combative foreign policy towards Russia and China, reinvigorates epistemic purity ‘at home’, but most of all serves a powerful disciplinary and hierarchizing logic of space [Ibid]. This is symptomatic of two currents — the increasing ebb of western political and economic hegemony, thus ‘state capitalism’ becomes a self-conciliatory narrative to ‘explain’ failures at home at the same time as allowing continuing misrecognition of the very market-interventionist operations of core western states — not least the US. Alami and Dixon show how the bogeyman of state capitalism is essentially a form of psychological projection when critics accuse it of producing cronyism, inequality and discontent. While Alami and Dixon see the trope of state capitalism as partly symptomatic of a crisis in neoliberalism, they also note how it plays a role in legitimating renewed intervention at home ‘without challenging neoliberalism as a political form of market-led rule’ [2020a: 9]. If the Trump presidency has taught us anything, it is about the capacity for inter-elite learning: populist rhetoric as a cover for cronyism has come ‘home’ to the global core. Fundamentally though, elites have doubled down on neoliberal logic — as evidenced by Covid measures. Regardless of regime type, they mostly aimed at delegating responsibility for risk to the individual, provided only minimal support to the individual worker or entrepreneur. They further insisted that class positioning as previously decided by ‘market forces’, dictated economic and personal security, further ossifying inequality. Covid is an example of the instrumentalization of various crises to promote deepening neoliberalization and commodification of labour [van Apeldoorn et al. 2012, in Alami and Dixon 2020b: 80].

Matveev’s analysis, while underlining that a serious study of state capitalism has its place in any analysis of Russia, illustrates that salient features are present in large measure in ‘core’ democratic states. By the same token, strategic ownership by the state and elite corruption does not alter the fundamental division between capital concentration, cartels, financialization and the rise of a rentier-class on the one hand, and the erosion of labour’s position, the retreat of the social state, and economic neoliberalism for the majority on the other. ‘State capitalism’ may exacerbate distortions in capital allocation towards favoured producers in weapons, metals or energy, and lead to spill-over into high levels of elite corruption. However, in the ‘core’ states, capital interests also make ‘good’ use of the state to entrench and ‘enmoat’ themselves into cartels in what look like ‘new’ industries, but whose final services are eternal necessities — consumer durables, transport, and informa-

tion/entertainment (Amazon, Uber, Google). Where ‘disruptors’ arise, they rely, not only on financialization, but crucially, on tax subsidies and legislative capture or lag — Tesla being an example. Covid-19 is illustrative: it made these processes impossible to ignore, as one of the most deregulated of ‘free market’ states — the United Kingdom — engaged in some of the most corrupt practices of state-capital connivance — handing out production and service healthcare contracts without tender to crony insiders [Geoghegan 2020] who gouged both citizens and state organisations. Similarly, in supposedly solid democratic states, severe impositions on freedom of movement and assembly are imposed that focus on the individual and her economic positioning. The reader will already see where I am going with this argument: that the varieties of capitalism approach is less useful than the evaluation of the objective and subjective economic relations as dictated by a logic of ‘neoliberal’ subjectivation. Naturally, given the debate this term provokes as a ‘rascal concept’ [Peck et al. 2009] — particularly in relation to Russia — I expand on the term.

Neoliberalizing economism and authoritarianism

203

Neoliberalism refers to a way of thinking about organising social relations that emphasizes ‘market competition [as] the basis of economic coordination, social distribution, and personal motivation’ [Sparke 2013: 454-5]. Economic neoliberalism is a form of market rationality. Colin Hay [2004] provides a seven-point definition: the desirability of free capital mobility, the ‘market’ as an efficient mechanism for allocation, limited role for the state, supply-side economics, labour-market flexibility, conditionality of welfare based on incentivizing market participation, and private finance as more allocatively efficient in provision of public goods. Governmentality is key to the maintenance of these relations as it links social life to the logic of what Foucault called the ‘enterprise society’. Governmentality is a process whereby subjectivity becomes increasingly dominated by discourses of self-regulation — inducing people to ‘work upon themselves’ to become ever more flexible to the demands of post-Fordism. This is not a simple top-down process of domination, however. Social control is produced through the active participation of individuals and groups in the regimentation of their own discipline. We have already seen how Matveev argues that the neoliberalism in Russia entails state involvement in supporting highly exploitative relations between individuals, firms and sectors. Stephen Collier [2011] adds to the perspective by returning to Foucault’s lectures on biopolitics to argue that rather than a focus on freeing markets per se, neoliberalism is about rethinking government according to an over-determined form of economic reasoning. The social state remains, but its governance

'styles' are influenced by *'khoziaistvo'* — the legacy of Soviet integration of politics and economy based on a narrow, managerial conception of need fulfilment. For Collier, the present moment sees governmentality as a 'formal rationality' that privileges market thinking, while acknowledging the existence of the social enterprise and social state to a limited degree. To describe this he adopts the term 'assemblage' to trace the genealogy of Russian reform in the 1990s back to core neoliberal thinkers from the US. Moreover, the idea of biopolitics from which governmentality emerges has deep roots in Soviet planning — in 'incentivisation' at different scales of labour and production [Bockman, Eyal 2002].¹ Collier elsewhere [2012: 190] reiterates Hilgers' [2012] argument about the potential synergy between activist states and marketized relations, underlining how *neoliberalism* as distinct from *classical liberalism* imagines a key role for governments 'in creating the conditions for diffusion of markets and market-like mechanisms' and may contain highly illiberal measures.

204

Peck and Theodore [2007] trace the debate in the varieties of capitalism literature (particularly [Hall and Soskice 2001]) concerning the justification for believing in a 'global neoliberalism' of diffusion through institutions, financial markets and foreign competition in the early twenty-first century. The 'varieties' approach anticipated a profound erosion of the nation state as adequate coordinator of the economic sphere. It focussed on the strategic interaction of mechanisms of routinized regulation at trans- and sub-national levels of analysis: 'corporate governance, education and training, labor-market regulation' [Peck, Theodore 2007: 744]. Firm level and sector scales replace an overly broad-brush macro-economic institutional framing but are themselves prone to functionalism. In the final analysis, the 'varieties' model, in seeking to acknowledge real geographical differences, supposes an unrealistic coherence that closer analysis does not justify. For example it is problematic to clump together as 'coordinated' those market economies often synonymous with northern-European *ordo-liberal* types. Indeed, since the turn of the century, this criticism has been justified, as 'coordinated' models moved sharply towards their Anglo-Saxon 'liberal' brethren — especially in the spheres of labour market liberalization, and its corollary — welfare state residualization and retrenchment, two areas of interest in the Russian case [Oorschot, Gugushvili 2019]. Variegated neoliberal convergence has in part replaced the 'varieties' approach. Nonetheless, within these earlier analyses there are clear hints that coordinated market economies

1 While Rupprecht (2020) agrees that Russian neoliberal thought has indigenous roots he disagrees that the 1990s saw its implementation in any meaningful degree there.

would in any case fail to stem the tide of deregulation carried by global trends of financial liberalization.

Peck and Theodore [2007: 755] anticipate a tide rising over all developed economies, regardless of where they previously fell in the division ‘coordinated’/‘liberal’. This is revealed in the relative institutional weaknesses that failed to moderate or mitigate waves of neoliberal reforms when coordinated states face the entry of multilateral institutions who brought with them modes of rationalization and audit, self-monitoring and surveillance. These techniques are as important as any legislative or coherent ideological diktat. They then diffuse into new territories (such as state bureaucracies) via true ideologies such as New Public Management (NPM) (see [Romanov 2008] for a summary of its implementation in Russia). Today, international institutions themselves, ironically, cannot find a reverse gear when they need to because of their immanent neoliberal logic. For example the IMF stresses the need for slower adjustment and more progressive taxation in Russia because of Covid-19, but immediately reverts to ‘neoliberal type’ to suggest VAT rises and reduced payroll taxes as well as the need to ‘reduce the footprint of the state’ [IMF 2021]. Peck and Theodore [2007] are a scholarly bellwether of the need for more thorough acknowledgement of the multi-scalar and multi-register insinuation of neoliberal governmentality and rationality into the political-economic fabric of societies. Bruff [2014] expands the call for holism, suggesting that wider social relations require attention, not just because (meso and macro) institutionalism as a unit of analysis is inadequate, but because as social forms, institutions remain hollow and disembedded from their local contexts. Fishwick [2014] — using the example of Argentina — goes further, arguing that global production networks engender particular forms of firm-level transnational relations and at the same time produce particular working-class responses — both then are global-local phenomena.

205

SEZs as diffusion zones for neoliberal scales and registers

An example of applying this approach can be seen in research on Special Economic Zones (SEZs),¹ labour relations and transnational corporations in Russia (TNCs). The value is in identifying both uneven diffusion of neoliberal governmentality and its recombinant strength at a multi-scalar and multi-register level. SEZs (and the related geographical-juridical space of ‘Industrial Parks’) — were created supposedly to kick start diversification and higher-tech production — in reality they serve primarily as accelerated laboratories in deregulation, offering lower corporate tax-

¹ A good primer on SEZs in Russia [Sosnovskikh 2017].

es, more liberal juridical regulations, ease of transnational movement of goods, and lean 'sweated' labour regimes (on the latter see [Morris and Hinz 2017]). Taking Kaluga region as an example, SEZs' success has been in work intensification, the socialization of blue-collar locals in accepting downgraded labour terms and conditions *and* training white-collar workers in more effective coercive surveillance-managerialist methods. In terms of transnational state-capital collaboration to increase productivity, global connectivity (notably with the Silk Road rail system), and in providing a relatively low-tech domestic manufacturing base, SEZs are an outstanding success.¹ These effects are not contained by the zonal boundary — they 'scale' via further expansion of 'lean' enterprises beyond the zone as TNC infrastructure and human capital investment has an effect on the whole region. Indeed, the 'zone' is not a spatially contained territory, but an elastic administrative state of exception that has expanded throughout the region to encompass many clusters containing dozens of diverse foreign and domestic firms in urban, brownfield and greenfield sites [Invest Kaluga 2020]. In terms of 'register' too, the SEZs exercise a strong discursive effect, making new working relations 'common sense' beyond the zones themselves, affecting local politicians, employers and workers in other enterprises. Overall the 'register' effect multiplier is more important than any administrative-legal deregulation, or should be seen as part of neoliberal scaling itself. My prior research has documented the 'burn through' of the local labour force by this unstoppable force, and the devil's bargain facing blue-collar Russians in particular [Morris 2016].

206

The SEZs illustrate another important point — that 'variegated' capitalism is more suitable as a lens on the subnational scale than the classical state-comparative units of analysis. In my Kaluga case, as elsewhere in Russia we can observe processes similar to other subnational milieu in both global north and south contexts: the accelerating subdivision of populations into productive and structurally redundant 'surpluses' [Tyner 2013]. The latter — humans as a new form of waste that require forms of disposal in contemporary capitalism [Yates 2011] — is widely viewed as integral to an argument that the current conjuncture represents a globally-shared crisis of overproduction and social reproduction. The case of SEZs examined via scalar and register analysis is capacious enough to leave room for incorporation of a state-capital accommodation. Not only in Russia, scholars observe the frequently clientelist elite-capital negotiation of sites for SEZs, which may result in further scales of

1 Overall, the literature on SEZ sees them as failing to diversify the Russian economy. The broader literature on SEZs sees them as vulnerable to rent-seeking without robust legal institutions.

collusion between regulatory institutions and capital. This is observed, for example, in my Kaluga case where German-owned TNCs directly benefit from state authoritarianism to limit the effectiveness of labour activism. The point here is that granular perspectives can show the ‘happy’ coexistence of state and capital interests that in no way alters an overarching, and increasingly authoritarian, neoliberal governmentality. In addition, the contingent position of TNCs in Russia within SEZs reinforces general processes of precarization and insecurity of labour, given further relocation of capital is an ever-present threat [Lee 1999]. Finally, as seen with SEZs in general, wider economic and environmental externalities are borne entirely by the host state, once more belying the view that neoliberalism is about ‘small states’ but rather repurposing state functions to more effectively discipline subjects and corral institutions [Moberg 2014].

This can be acutely grasped in the Russian case because of the historical necessity of continual political work to re-embed the idea of *laissez-faire* in the social imaginary as ‘natural’ – something that has parallels with Polanyi’s work on early nineteenth century England. In the face of societal opposition, libertarian market ideologues need to ‘naturalize’ what is in fact a carefully constructed view of human economies in a set of epistemological precepts that serve politics [Mirowski 2019]. While the Polanyian perspective saw waves of disembedding and re-embedding of the economic from the social against a constant backdrop of liberalism and then social democracy – what of today? Can neoliberal economism thrive just as well in an authoritarian consensus? If we follow the anthropological focus on the reconceptualization of the person as a moral and rational agent [Venkatesan 2015], there is no reason to doubt that neoliberalism, whether considered as an economic politics or as a form of governmentality, can – through projecting ‘accountability’ onto the micro-social – operate just as effectively without the cover of democratic institutions. Indeed ‘democratic’ institutions have transformed in the neoliberal moment of the last 40 years in the West to accommodate not so much to a shrinking of the state as a change in its function to focus on discipline. On a macro level the disciplining function makes state institutions accountable to markets. On a micro level it shapes and controls individual behaviour.

In recent years, scholars have increasingly linked authoritarianism and neoliberalism [Bedirhanoglu, Yalman 2010, Bruff 2014, Bruff, Tansel 2019, Chacko 2018, Tansel 2017], taking up the themes of disciplining via the mobilization of ‘non-market’ institutional forms in new ways. Bruff [2014] sees this not as a temporal innovation, but a qualitative tendency towards coercion, exclusion and marginalization. Bruff draws on the earlier work of Poulantzas [1978] and others on authoritarian statism as a response to crisis. The result is intensification of

‘responsibilization’ and the delegation of social reproductive risks onto the individual. Intensified too, are the moral rhetorics of blame — both of individuals, but relating also to the ‘burden’ of social transfers and public debt. Later, Bruff and Tansel [2019] inject greater nuance into their analysis by proposing a stronger connection between authoritarian statism and neoliberal reforms, and the transformation of key societal sites in capitalism, including households, workplaces and urban spaces. This leaves analysis open to exploring the scalar aspects of domination, as I have attempted in relation to SEZs, but also contradictory aspects — which may well entail concessions and retreats. In addition, Bruff and Tansel highlight what I have called the importance of ‘register’ — in their words: the cultural buttressing of neoliberal ideology via hegemonic media and public discourse. Finally, they propose authoritarian neoliberalism as applicable in a variety of regime types, and state-capital constellations — from East and South Asia, to Latin America and the Middle East.

208

But what of the European East and Eurasia? Adam Fabry’s work ([2019a, 2019b], cf. [Geva 2021] for a related perspective) on Orban’s Hungarian regime is instructive on the seemingly contradictory fusing of authoritarianism and neoliberalism. Fabry allows us to reincorporate the experience of ordinary people in places like Russia into the mainstream of global processes of dispossession and exclusion while drawing attention to the authoritarian tendencies inherent in capitalism [2019b: 133]. Importantly, the Hungarian case alerts us to a centralizing state as reinforcing neoliberalism by making use of the perceived weakness of liberal democracy and increasing conflict in the globalized economy. While some of Hungary’s ‘constitutionalization’ of neoliberal economism appears different from Russian policy,¹ taken overall, the supply-side bias, regressive taxes, and highly contingent and conditional social rights (focussing on individual obligations over guarantees) look similar [2019b: 140]. Indeed, Fabry argues [2019a] that by interpreting these currents as somehow exceptional we ignore how similar they are to the response in the EU core. They actually serve as a ‘model’ for neoliberal austerity in Europe because they propose key mechanisms to co-opt, coerce and distract domestic opposition. Fabry’s reading is doubly instructive of the Russian case because he also points to the way a narrow focus on clientelism, ‘state capture’ and corruption as local aberrations obscures these as increasingly systemic features of widely variable, but consistently neoliberal polities. This is underlined by the acceleration towards ‘cartel political parties’ [Katz, Mair 1995] in democratic states after 2008. If neoliberalism

1 Hungary relies on EU FDI in place of hydrocarbon rents.

remains a devotedly ‘anti-political project’ [Davies 2016], then liberal handwringing at Russia’s ‘sins’ looks once more like so much psychological projection.

Discussion

In this final section, I want to draw attention to specific symptoms of authoritarian neoliberalism as they pertain to contemporary Russia and which serve as indicators, not of its exceptionalism, but its political economic incorporation and even vanguard operationalization. An overarching process is the increasing discourse, and accompanying biopolitics, of surplus or ‘waste’ population. If the ‘vanguard’ of early neoliberalism was the objectification of rustbelts in northern Europe and America as disposable people and places, the trajectory of Russian industrial, social and macro-economic policy over the course of the 2000s is instructive of how much further an embedded neoliberal orthodoxy can push the boundaries in a highly developed state. The failure of policy, especially during the more liberal ‘activist’ Medvedev years of 2008-12 in addressing the long deindustrialization renders swathes of urban Russia as a ‘worthless dowry’ of the Soviet period to be written off [Morris 2016]. It’s difficult to underestimate the deepening orthodox view of poverty as moral failure despite the rhetorically commitment to a social state in the amendments to the Russian constitution that purportedly provide social guarantees. Two discrete comments from very different political figures and times can help orientate us. The first is that of Anatoly Chubais, privatisation architect who remained a prominent liberal figure in the elite even up to 2020. In comments to a regional government audience in 2009 he said: ‘if you are a university professor and you don’t have a business then why the hell do I even need you’. The second comment is from Olga Glatskikh, a now ex-youth policy official from Sverdlovsk: ‘The state owes you nothing... the state did not ask you to give birth...it’s your life, you must make it yourselves’.¹

209

Rather than seeing in these pronouncements an expression of ‘amoral’ liberal thought distant from that of the current core elite [Golovchenko 2018], these are merely unguarded revelations of the division of the population into morally-worthy, adaptable, entrepreneurial selves, and the surplus ‘*bydlo*’. Instead of seeing these clear articulations as outliers, such statements of social sorting re-

¹ <https://www.ural.kp.ru/daily/26903.7/3948698/>. It is revealing that the addressees here are on the one hand a profession one might expect to have priorities quite far from the market, and on the other a ‘talented’ youth forum.

veal that a post-socialist ‘regime of subjectivity’ strongly delegates social reproduction and human thriving to the individual and methodically seeks to offer only the most threadbare programme of collective action [Shevchenko 2015]. Olga Shevchenko, in perhaps the most penetrating genealogical tracing of socially constructed post-Soviet personhood, notes how a neoliberal spirit aligns closely, or rather rhymes with the dominant standards of ‘practical competence’ in Russia that cut across class identities [Ibid: 59]. Roman Abramov [2019] and Suvi Salmenniemi [2015] also note that seemingly ‘new’ common-sense subject positions that contain strong overtones of self-work, and self-transformation, on closer inspection borrow or inflect earlier currents of self-improvement, ‘native’ to the Soviet and collective projects of twentieth-century Eurasia. Such recombined currents may intensify the internalization of such *moral* imperatives. In my own work [Morris 2012, 2016] I explore similar processes but from the perspectives of both relative winners and losers of economic transformation following 1991 in Russia. In particular, ‘losers’, such as blue-collar workers, are offered a stark choice — 1. wholly embrace a precarized and highly demanding flexibilization in new and newly-disciplining industrial spaces — including in SEZs; 2. accept under- and un-employment in the rust-belt zones of former monotowns and emptying rural Russia; 3. ‘choose’ what some interpret as resistance in the informal economy. Except that in the informal economy — whether as taxi-drivers, self-employed tradesmen, construction workers, or in the persisting sphere of market trading [Polese, Prigarin 2013], they cannot avoid an even more pressing imperative to entrepreneurialize themselves and to turn such a ‘choice’, or ‘exit’ in Albert Hirschman’s terms, into a neoliberal project. Regardless, such workers more often end up in the ranks of lumpen, surplus populations undertaking everyday ‘microproletarian economies’ [Gago 2017: 19]. In this sense, the most marginal part of the Russian population takes on the task of maintaining the dynamism of what Verónica Gago has called ‘neoliberalism from below’. There may be a space within this dynamic to resist exploitation and dispossession but this itself becomes a ‘foundation for an intensification of that exploitation and dispossession’ [Gago 2017: 11].

Ovsvyannikova [2016] criticizes the application of the term neoliberalism to Russia in part because she believes the social state trumps any deregulatory momentum. She cites labour protections and lack of pension reform as examples. However, empirical evidence shows that employment protection in Russia is ‘poorly observed’ [Gimpelson et al. 2010]. Pension reform did go head, despite enormous opposition, and prior commitments to indexation were diluted to the point

that in the future it is likely the universal element will be replaced by means-testing and financialization of ‘pension capital’ [Khmelnitskaya 2017]. Ovsyannikova argues that ‘monetisation of welfare benefits’ was overdue because of underfunding and piecemeal in execution. However she ignores how monetisation closely matches patterns of welfare residualization elsewhere which are key to the austerity politics of the World Bank and other international institutions (see [Wengle, Rasell 2008: 749]).¹ Monetisation also contains within itself the key logic of ‘choosing’ deserving groups and making them ‘responsible’ citizens [Kourachanis 2020]. As Shields [2019: 657] notes in the Polish case, family-focussed welfare reform can act as a form of ‘neoliberal social innovation’ by appropriating the micro-scale of social reproduction as a further space of responsabilization (of benefits linked to parenthood, upbringing, domestic work) and privatization (of former entitlements such as pre-school childcare). In addition, the diffusion through welfare states of conditionality is a key plank in neoliberal reform because it realises a critique of social rights on both a discursive and structural level [Pieterse 2003, in Bindman 2017]. Bindman also reminds us of the genealogy of responsabilization in social policy stretching back to Soviet ideas around welfare provision.² Hemment [2009] points out that in the Russian case rhetorical concessions to a social state are not matched by policy – if anything, they serve as a cover for accelerating change. While it is true that NPM in Russia began more as performance management than marketization [Romanov 2008], the expansion of state-favoured NGOs tasked with quasi-welfare functions who then compete for funding has introduced market elements to the Russian system. Meri Kulmala [2014] sees a mixture of statism and neoliberalism in Russia’s welfare policies, while Mikhail Chernysh argues that governmentalization in the public sphere led to an extreme narrowing of job autonomy and managerialism, and that Russia is pursuing neoliberal fundamentalism [2020: 54]. Even a generous interpretation of the remnants of the social state reveals extreme conditionality, narrow and patchy coverage, and tokenistic, piecemeal provision in cases of extreme social distress.³

211

1 It should be acknowledged that there is more diversity in the World Bank’s thinking nowadays.

2 See also Bockman and Eyal 2002 for a discussion of East Europe as its own ‘author’ of neoliberal policies.

3 For example, the one-time payments for families in 2020 during the Covid pandemic, and the varying levels of prenatal payments have not addressed Russians’ unwillingness to plug the demographic gap – itself a symptom of precarization. An example of the perniciousness of the logic of means-testing

Overall, it is important to acknowledge the psychological burden — which translates into real socio-economic, and political feedback effects — of what I have characterized as capitalist realism in Russia. But Russia is hardly an exception. The internalization of loser-status, the surplus populations and ‘reservations’, the temporal closing of horizons for betterment are all characteristic experiences of the present global conjunction as experienced by the newly proletarianized majorities. Whether we call them ‘multitude’ or precariat, or in the post-Soviet case ‘subproletarians’ [Derlugian 2005], is less important. Similarly, the retreat of the social state is nothing new and not peculiar to post-socialist states. However, as the thesis of authoritarian neoliberalism proposes, during periods of crisis, by contingent necessity it is useful to emphasise incoherence or heterogeneity of the state bureaucratic function, all the more to underline its punitive and delegative relations to the individual. The state’s response to Covid-19 in Russia and its similarities and differences to core states are instructive. First, a knee-jerk authoritarian lock-down followed by a hurry to delegate responsibility back to the individual and downplay both the social costs and state responsibility. Russia, like other neoliberal developed economies, offered very limited income support for livelihoods, especially among the self-employed and poor. This affected not only lumpenized informal workers like taxi-drivers and construction workers, but also the burgeoning ‘freelancer’-precariat white-collar workers — an important category in Russia, as elsewhere where there is high ‘human capital’¹ but structural barriers to SMEs beyond micro-entrepreneurialism. As Shevchuk [2020] points out — labour processes that are negotiated via digital platforms in the ‘gig’ economy emphasise tight algorithmic control and a loss of autonomy because the platforms actually disguise incorporation of workers into ‘shadow’ corporations. This also divides up labour into small parcels which has a wider influence as it spills over into other domains of work. For the purposes of our argument, work for ‘shadow corporations’ intensifies both punitive monitoring and self-exploitation at the point of production.

Covid-19 only accelerates this aspect of neoliberal authoritarianism; digital transformation enables a ‘control society’, long predicted by Gilles Deleuze [1990]. Alone among European nations, in early 2020,

is the evidence that a third of Russians do not know they are entitled to benefit payments of some kind. <https://www.gazeta.ru/social/2021/02/18/13483658.shtml>

1 Noting that the very concept is an elision of ‘labour processes’ and relations in service to neoliberal ideology (Mirowski 2019: 14). Freelancers as a proportion of working-age population in Russia is high by European standards at 14% compared to 4% in the UK. <https://www.kommersant.ru/doc/4730809>.

Moscow's government pioneered a technological system of surveillance quarantine [Orlova, Morris 2021]). While ultimately unsuccessful, and quickly giving way to broader (neoliberal) pressures to re-open the economy regardless of epidemiological risks, the Moscow experiment illustrated the tendency of control to shift from a focus on the disciplined, directly observed body, to a new order of domination. Personal data processing as a semi-autonomous system entails both the deactivation of agency and its reactivation through incorporation of the person in their own data flows (where choices about what images we view online and what products we buy are then fed back to us to reinforce existing behaviour). Of course digital governance *a priori* assumes a set of political values to be 'inputted' into any algorithm which can then make judgements as to the conduct and movement of real individuals, just as the data attached to persons themselves can become another 'fictitious commodity' to further marketize social domains that previously resisted incorporation [Haggart 2018]. The term 'surveillance capitalism' [Zuboff 2015] is often focussed on individual privacy rights, and monopoly capitalism in general, rather than the implications of data commodification for individual behaviours observable via the everyday political economy, hence my preference for the broader term authoritarian neoliberalism. The nascent Russian system (which will possibly develop along the lines of the Chinese 'social credit' system) illustrates the potential further reinforcement of self-monitoring and inscription in one's micro-social actions of neoliberal logics. Moscow serves as a suitable test bed for the further expansion of such technologically integrated systems of governmentality in the 'democratic' countries.

213

The Russian experience of Covid shows how authoritarian governance, increasingly the purview of all states, contributes to the accelerating implementation of surveillance practices which benefit corporations, including SOEs. Further pressures are brought to bear on groups and individuals to conform or internalize behaviours, practices and mindsets that entrench neoliberal thinking and allow the biopolitical to undermine any alternative 'mechanisms of accounting' [Hardt, Negri 2004: 148]. This conjunction of state and capital power can be observed everywhere, but I want to end this essay with two further brief examples of Russia as 'vanguard'. Russia offers a good example of the broad and deep roll-out of the surveillance state due to its particularly fruitful experience since the 2000s of aligned state and capital interests in extracting economic rents from populations. In just the most obvious example, the peppering of public (and increasingly private) highways with revenue-generating traffic enforcement cameras should be seen for what it is: an authoritarian technical solution to overcome limits on rent-seeking elsewhere. The plethora of these cameras puts every other

developed country's efforts to shame.¹ Truly, in linking the control society to rent-seeking it is as pure a public-private partnership you can wish for. A part of the proceeds goes to regional budgets, but the 'take' from private companies supporting the cameras' operation is 15-times greater than their real cost.² To move to a different scale — that of the individual, a similar process can be observed in the microproletarianization of workers such as food couriers and taxi-drivers. They, as elsewhere, are subject to algorithmic control for maximum extraction of surplus value within shadow corporations. This happens of their own 'volition', via internalization of the demands of maximal self-exploitation and the delegation of all externalities to the individual and wider society (health costs, accidents, insurance, pollution) by the platforms themselves. However, here again we observe the imbrication of state (which owns bonds in such companies, allows them to operate as quasi-monopolies, and sustains anti-labour legal environments) and financial and political elites who own such companies. The scaling effect of microproletarianization of swathes of economic activity in Russia via concentration of market share is unprecedented outside of China.³

214

In conclusion, we should view Russia as just another "normal" country, just not in the optimistic sense Daniel Treisman and Andrei Shleifer [2005] intended: a middle-income country facing typical developmental challenges. Instead, I would contend that Russia is 'normal' in a ways that reflect its peripheral-as-vanguard authoritarian neoliberalism. Its characteristics are the dominant politics of "austerity" (a continuously residualizing social state) accompanied by the other disciplining factor of real incomes falling over protracted time periods; limited social mobility and the privatizing of educational opportunity leading to a small plutocratic class or caste; the expansion of indebtedness and precarity in the population; social reproduction as largely responsabilized and privatized; the expansion of the horizons of the rentier alliance between state and capital interests and a relative strengthening of multinational corporations' clout and the intensification of their role in the economy (a

1 The world speed camera database records 15,000 control devices in Russia — likely an undercount — the GIBDD counts nearly 19,000 devices in 2020. This is 9000 more than the next highest European state and four times the number in the USA and 20 times the number in Canada. <https://www.scdb.info/en/stats/>

2 <http://lse-ikb.com/activities/blog/201-kuda-idut-shtrafy-gibdd>. See also https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60334c9f9a79475eb6162883?from=from_main_9. The road tax system known as Platon has some similar characteristics <https://www.forbes.ru/kompanii/344145-platon-mne-drug-no-istina-dorozhe-kuda-uhodyat-vznosy>

3 For example, the most popular search engine in Russia also owns the main social network, the most popular email service, and controls both the main ride-hailing app and an increasing share of the food courier business.

process actually accelerated by sanctions; see [Gurkov, Saidov 2017]). All watched over by the nascent digital control society.

Rogers [2016] cautions against ‘uniting things under the theoretical sign of the “neoliberal”’, but at the same time agrees with my core aim: a more serious ethnographic examination of how flexible labour regimes, SOEs and the neo-authoritarian state are linked. As I argue here these linkages intensify the politics of resignation on the part of ordinary people at the same time as they are further incorporated into neoliberal (self)governmentality. The only limits on incorporation are certain incoherences of the state-capital accommodation-assemblage. As Rogers [2016] noted in his study of the oil and gas industry in the Urals, capitalist ‘incorporation’ via privatisation after communism does not necessarily mean coherence or coordination in governance and corporate identity. In addition, the term ‘incoherence’ is distinct from ‘hybrid assemblages’ [Ong 2006] or ‘parasitical co-presences’ [Peck 2004]. ‘Deregulatory’ governance (in the sense that it lacks finality or fixity) inevitably and often unintentionally opens up holes in the fabric of economic and social relations. Emergent practices both reinforce but also undermine economistic and bureaucratic rationality [Molyarenko 2016; Morris 2019] in what Ananya Roy [2009: 80] calls ‘law as social process’. Conjuncturally, Russia is notable for the continuing expansion of the informal economy in tension with state and capital surveillance — even though, as I have argued, informality entails in part internalisation of neoliberal governmentality [Morris 2019]. As a space for autonomism, non-market orientated exchange and labour its potential is limited. Nonetheless for imagining non-capitalist alternatives, its sheer size means informality is important. Informality in Russia should be seen as offering similar counter-hegemonic potential as that of models that derive from ‘deregulated’ and informal systems from below in other global contexts — such as horizontalism [Sitrin 2012], baroque economics [Gago 2017], and ‘insurgent’ citizenship practices within the former socialist spaces [Polese et al. 2017]. These are beyond the scope of the current essay, but deserve equal attention in any approach that proposes an everyday political economy with a view to uncovering space for the emergence of ‘commons’ beyond state and market [Caffentzis, Federici 2014].

References

- Alami I., Dixon A.D. (2020) The strange geographies of the ‘new’ state capitalism. *Political Geography* 82: 1-12.
- Abramov R. (2019) Perevod. Ot Kommunizma k karnegizmu. *Neprikosnovennyi zapas*, 03(125): 52-168.

- van Apeldoorn B., de Graaff N., Overbeek H. (2012) The reconfiguration of the global state-capital nexus. *Globalizations* 9(4): 471-486.
- Bedirhanoglu P., Yalman, G.L. (2010) State, class and the discourse: Reflections on the neoliberal transformation in Turkey. A. Saad-Filho & G.L. Yalman (Eds.), *Economic transitions to neoliberalism in middle-income countries*. Abingdon: Routledge: 107-127.
- Biebricher Th. (2018) *The Political Theory of Neoliberalism*. Stanford University Press.
- Bindman E. (2017) *Social Rights in Russia: From Imperfect Past to Uncertain Future*. Routledge.
- Bockman J., Gil Eyal (2002) Eastern Europe as a Laboratory for Economic Knowledge: The Transnational Roots of Neoliberalism. *The American Journal of Sociology*, 108(2): 310-352.
- Bruff I. (2014) The Rise of Authoritarian Neoliberalism. *Rethinking Marxism*, 26(1): 113-129.
- Bruff I., Tansel C.B. (2019) "Authoritarian neoliberalism: trajectories of knowledge production and praxis", *Globalizations* 16:3, 233-244.
- Caffentzis G., Federici S. (2014) Commons against and beyond capitalism. *Community Development Journal* 49(1): 92-105.
- 216 Callinicos A. (2005) Epoch and Conjuncture in Marxist Political Economy, *International Politics* 42: 353-363.
- Callinicos A. (2010) *Bonfire of Illusions: The Twin Crises of the Liberal World*. Cambridge: Polity.
- Cetina K.K. (1999) *Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge*. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press.
- Chernysh M. (2020) The structure of the Russian middle class. *Social Distinctions in Contemporary Russia Waiting for the Middle-Class Society?* Ed. by Jouko Nikula, Mikhail Chernysh. Routledge: 51-64.
- Collier S.J. (2011) *Post-soviet social: biopolitics, neoliberalism, social modernity*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Collier S.J. (2012) Neoliberalism as big Leviathan, or ... ? A response to Wacquant and Hilgers. *Social Anthropology* 20(2): 186-195.
- Cook L.J. (2013) *Postcommunist Welfare States: Reform Politics in Russia and Eastern Europe*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Connolly R. (2018) *Russia's Response to Sanctions: How Western Economic Statecraft is Reshaping Political Economy in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davies W. (2016) *The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition*. Sage.
- Dawisha K. (2014) *Putin's Kleptocracy: who owns Russia?* New York: Simon and Schuster.
- Deleuze G. (1990) Society of control. *L'autre journal*, 1: 177-182.
- Derluigian G.M. (2005) *Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus*. Chicago University Press.

- Elias J., Rai S.M. (2018) Feminist everyday political economy: Space, time, and violence. *Review of International Studies* 45(2): 201-220.
- Fabry A. (2019a) Neoliberalism, crisis and authoritarian-ethnicist reaction: The ascendancy of the Orbán regime. *Competition & Change* 23(2): 165-191.
- Fabry A. (2019b) *The Political Economy of Hungary: From State Capitalism to Authoritarian Neoliberalism*. Palgrave Macmillan.
- Fine B. (2010) Locating Financialisation. *Historical Materialism*, 18: 97-116.
- Fisher M. (2008) *Capitalist Realism: Is There No Alternative?* Zero Books.
- Fishwick A. (2014) Beyond and beneath the hierarchical market economy: Global production and working-class conflict in Argentina's automobile industry. *Capital & Class*, 38(1): 115-127.
- Friedman J. (2015) Global system crisis, class and its representations. J. Carrier & D. Kalb (Eds.), *Anthropologies of Class: Power, Practice, and Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press: 183-200.
- Gago V. (2017) *Neoliberalism from Below: Popular Pragmatics and Baroque Economies*. Translated by Liz Mason-Deese, Durham and London: Duke University Press.
- Geoghegan P. (2020) Cronyism and Clientelism. *London Review of Books*, 42(21): 5 November. <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v42/n21/peter-geoghegan/cronyism-and-clientelism>.
- Geva D. (2021) Orbán's Ordonationalism as Post-Neoliberal Hegemony. *Theory, Culture & Society*. Online first. DOI: 10.1177/0263276421999435.
- Gimpelson V., Kapelyushnikov R., Lukyanova A. (2010) Employment Protection Legislation in Russia: Regional Enforcement and Labor Market Outcomes. *Comparative Economic Studies* 52: 611-636.
- Golovchenko A.V. (2018) Post-Soviet Liberal Politicians: Political Expediency or Moral Imperative? *Bulletin of the Moscow Region State University*, 3: 3-20.
- Gurkov I., Saidov Z. (2017) Current Strategic Actions of Russian Manufacturing Subsidiaries of Western Multinational Corporations. *Journal of East-West Business*, 23(2): 171-193.
- Haggart B. (2018) *The Government's Role in Constructing the Data-Driven Economy*. Centre for International Governance Innovation. 5 March 2018. <https://www.cigionline.org/articles/governments-role-constructing-data-driven-economy#:~:text=Data%20is%20what%20Polanyi%20would,conventions%20and%20human%2Dmade%20rules.&text=However%2C%20noted%20Polanyi%2C%20neither%20land,are%20actually%20created%20or%20produced>
- Hall P.A., Soskice D. (2001) An introduction to varieties of capitalism. Hall, P.A. and Soskice, D., editors, *Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage*. Oxford: Oxford University Press: 1-68.
- Hardt M., Negri A. (2004) *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: Penguin.
- Harvey D. (1989) *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Wiley-Blackwell.
- Harvey D. (2003) *The New Imperialism* (Oxford, Oxford University Press).

- Hay C. (2004) The normalizing role of rationalist assumptions in the institutional embedding of neoliberalism, *Economy and Society* 33(4): 500-527.
- Hement J. (2009) Soviet-Style Neoliberalism? Nashi, Youth Voluntarism, and the Restructuring of Social Welfare in Russia. *Problems of Post-Communism*, 56(6): 36-50.
- Hilgers M. (2012) The historicity of the neoliberal state. *Social Anthropology*, 20: 80-94.
- International Monetary Fund 2021. *IMF Country Report No.21/36 Russian Federation*. 26 February 2021. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/08/Russian-Federation-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-50068>
- Invest Kaluga 'Investitsionnyi portal'* <https://investkaluga.com/>
- Jessop B. (2007) *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Polity.
- Kalb (2013) Financialization and the capitalist moment: Marx versus Weber in the anthropology of global systems. *American Ethnologist* 40(2): 258-266.
- Katz R.S., Mair P. (1995) Changing Models of Party Organization and Party Democracy: the emergence of the cartel party. *Party Politics* 1(1): 5-31.
- Khmelnitskaya M. (2017) The social budget policy process in Russia at a time of crisis. *Post-Communist Economies*, 29(4): 457-475.
- Kiossev A. (2018) Narrating life: Approaches to studying life narratives in the humanities and social sciences. *Piron*, 15, <https://piron.culturecenter-su.org/alexander-kiossev-narration/>
- 218 Kordonsky S. (2016) *Socio-Economic Foundations of the Russian Post-Soviet Regime. The Resource-Based Economy and Estate-Based Social Structure of Contemporary Russia*. Stuttgart: Ibidem-Verlag.
- Kourachanis N. (2020) *Citizenship and Social Policy: From Post-War Development to Permanent Crisis*. Palgrave.
- Krylova A. (2000) The Tenacious Liberal Subject in Soviet Studies. *Kritika* 1(1): 119-46.
- Kulmala M., Kainu M. J., Nikula J., Kivinen M. (2014) Paradoxes of Agency: Democracy and Welfare in Russia. *Demokratizatsiya*, 22(4): 523-552.
- Larner W. (2000) Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality. *Studies in Political Economy*, 63: 5-25.
- Lazzarato M. (2014) *Signs and Machines: Capitalism and the Production of Subjectivity*. Semiotext(e), Los Angeles CA.
- Ledyaeva S., Karhunen P., Kosonen R., Whalley J. (2015) Offshore foreign direct investment, capital round-tripping, and corruption: Empirical analysis of Russian regions. *Economic Geography*, 91 (3): 305-341.
- Lee Y. (1999) Labor Shock and the Diversity of Transnational Corporate Strategy in Export Processing Zones. *Growth and Change*, 30(3): 337-365.
- Matveev I. (2019a) State, Capital, and the Transformation of the Neoliberal Policy

1 First published in Bulgarian in the electronic journal "Piron". English version from https://www.academia.edu/44965226/Alexander_Kiossev_Narrating_life_FINAL_222

- Paradigm in Putin's Russia. *International Review of Modern Sociology* 45(1): 27-48.
- Matveev I. (2019b) Крупный бизнес в путинской России: старые и новые источники влияния на власть, *Mir Rossii*, 28(1): 54-74.
- Merlingen M. (n.d.) *A Neo-Gramscian Perspective on War in and Over Ukraine*, unpublished paper. https://www.academia.edu/9677722/A_Neo_Gramscian_Perspective_on_War_in_and_Over_Ukraine?auto=download
- Maidan M. (2014) *Review of Maurizio Lazzarato Signs and Machines: Capitalism and the Production of Subjectivity Semiotext(e), Los Angeles CA, 2014*. https://marxandphilosophy.org.uk/reviews/7947_signs-and-machines-review-by-michael-maidan/
- Mirowski P. (2019) Hell Is Truth Seen Too Late. *Boundary 2* 46 (1): 1-53.
- Moberg, L. (2014) The political economy of special economic zones. *Journal of Institutional Economics* 11(1): 167-190.
- Molyarenko O. A. (2016) Shadow public administration. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, 3: 120-133.
- Morris J. (2012) Unruly Entrepreneurs: Russian Worker Responses to Insecure Formal Employment, *Global Labour Journal* 3.2.
- Morris J. (2016) *Everyday Post-Socialism: Working-Class Communities in the Russian Margins*. Palgrave.
- Morris J. (2019) The Informal Economy and Post-Socialism: Imbricated Perspectives on Labor, the State, and Social Embeddedness. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization* 27(1): 9-30.
- Morris J., Hinz S. (2017) Free automotive unions, industrial work and precariousness in provincial Russia. *Post-Communist Economies*, 29(3): 282-96.
- Otlova G., Morris J. (2021) Пандемия в (без)умном городе: цифровые протезы и аффордансы московской самоизоляции, in press, *Novoe literaturnoe obozrenie*.
- Ong A. (2006) *Neoliberalism as Exception*. Durham, NC: Duke University Press.
- Oorschot W. van, Gugushvili D. (2019) Retrenched, but Still Desired? Perceptions Regarding the Social Legitimacy of the Welfare State in Russia Compared with EU Countries. *Europe-Asia Studies*, 71(3): 345-364
- Ovsyannikova A. (2016) Is neoliberalism applicable to Russia? A response to Ilya Matveev. *Open Democracy*, 20 May. <https://www.opendemocracy.net/en/odr/is-neoliberalism-applicable-to-russia-response-to-ilya-matveev/>
- Peck J. (2004) Geography and public policy: Constructions of neoliberalism. *Progress in Human Geography*, 28(3):392-405.
- Peck J., Theodore N., Brenner N. (2009) Postneoliberalism and its Malcontents. *Antipode*, 41(1): 94-116.
- Peck J., Tickell A. (2002) Neoliberalizing Space. *Antipode*, 34(3): 380-404.
- Pieterse M. (2003) Beyond the Welfare State: Globalisation of Neo-Liberal Culture and the Constitutional Protection of Social and Economic Rights in South Africa. *Stellenbosch Law Review*, 14: 3-29.
- Pokrovskii N.E., Bobylev S. (2003) *Sovremennyyi rossiiskii sever. Ot kletochnoi globalizatsii k ochagovoi sotsial'noi strukture*. Moscow: GU-VShE.

Polese A., Kovács B., Jancsics D. (2017) Informality 'in spite of' or 'beyond' the state: some evidence from Hungary and Romania. *European Societies*, 20(2): 207-235.

Polese A., Prigarin A. (2013) On the persistence of bazaars in the newly capitalist world: reflections from Odessa. *Anthropology of East Europe Review*, 31(1): 110-136.

Poulantzas N. (1978) *State, power, socialism*. Trans. P. Camiller. London: New Left Books.

Rogers D. (2016) *The Depths of Russia : Oil, Power, and Culture after Socialism*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Romanov P. (2008) Quality Evaluation in Social Services: Challenges for New Public Management in Russia. Peters, B. Guy (ed). *Mixes, Matches, and Mistakes : New Public Management in Russia and the Former Soviet Republics*. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute.

Roy A. (2009) Why India Cannot Plan Its Cities: Informality, Insurgence and the Idiom of Urbanization. *Planning Theory*, 8(1): 83.

Rupprecht T. (2020) Global Varieties of Neoliberalism: Ideas on Free Markets and Strong States in Late Twentieth-Century Chile and Russia. *Global Perspectives*, 1 (1).

Fine B., Saad-Filho A. (2017) Thirteen Things You Need to Know About Neoliberalism. *Critical Sociology*, 43(4-5): 685-706.

Salmenniemi S., Adamson M. (2015) New Heroines of Labour: Domesticating Post-feminism and Neoliberal Capitalism in Russia. *Sociology*, 49(1): 88-105.

Sassen S. (2014) *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy*. Cambridge, MA: Harvard University Press/Belknap Book.

Shields S. (2019) The paradoxes of necessity: Fail forwards neoliberalism, social reproduction, recombinant populism and Poland's 500Plus policy. *Capital and Class*, 43(4): 653-669.

Shleifer A., Triesman D. (2005) A Normal Country: Russia After Communism. *Journal of Economic Perspectives*, 19(1): 151-174.

Sosnovkikh S. (2017) Peculiarities in the Development of Special Economic Zones and Industrial Parks in Russia. *European Journal of Geography*, 8(4): 82-102.

Shevchuk A.V. (2020) From Factory to Platform: Autonomy and Control in the Digital Economy. *Sociology of Power*, 32(1): 30-54.

Sigman C. (2013) The "new public management" in Russia. The tribulations of a transposition. *Government and public action*, 2(3): 441-460.

Sitrin M.A. (2012) *Everyday Revolutions: Horizontalism and Autonomy in Argentina*. London: Zed Books.

Sparke M. (2013) *Introducing Globalization: Ties, Tensions, and Uneven Integration*. Wiley-Blackwell.

Standing G. (2011) *The Precariat. The New Dangerous Class*. London: Bloomsbury Academic.

Tansel C.B. (ed.) (2017) *States of Discipline: Authoritarian Neoliberalism and the Contested Reproduction of Capitalism Order*. Rowman and Littlefield: Lanham Maryland.

Tyner J.A. (2013) Population geography I: Surplus populations. *Progress in Human Geography* 37(5): 701-711.

Wengle S., Rasell M. (2008) The monetisation of l'goty: Changing patterns of welfare politics and provision in Russia. *Europe-Asia Studies*, 60(5): 739-756.

Van der Pijl K. (2006) *Global Rivalries From The Cold War To Iraq*. London: Pluto Press.

Venkatesan S., Laidlaw J., Eriksen T.H., Martin K., Mair J. (2015) The concept of neo-liberalism has become an obstacle to the anthropological understanding of the twenty-first century: 2012 debate of the Group for Debates in Anthropological Theory. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 21(4): 911.

Volkov V. (2002) *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. Cornell University Press.

Yates M. (2011) The Human-As-Waste, the Labor Theory of Value and Disposability in Contemporary Capitalism. *Antipode*, 43(5): 1679-1695.

Zhao J., Tang J. (2018) Industrial structure change and economic growth: A China-Russia comparison. *China Economic Review*, 47: 219-233.

Zuboff S. (2015) Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. *Journal of Information Technology*, 30: 75-89.

Рекомендация для цитирования:

221

Morris J. (2021) From Prefix Capitalism to Neoliberal Economism: Russia as a Laboratory in Capitalist Realism. *Социология власти*, 33 (1): 193-221.

For citations:

Morris J. (2021) From Prefix Capitalism to Neoliberal Economism: Russia as a Laboratory in Capitalist Realism. *Sociology of Power*, 33 (1): 193-221.

Поступила в редакцию: 09.03.2021; принята в печать: 22.03.2021

Received: 09.03.2021; Accepted for publication: 22.03.2021

Обзоры и рецензии

ВАСИЛИСА В. ШПОТЬ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-1431-5778

Коммуникативный капитализм Джоди Дин: эволюция одной социальной теории

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-222-239

222

Резюме:

Обзор посвящен анализу концепции новейшего коммуникативного капитализма, которую американский социальный теоретик и левая активистка Джоди Дин предложила в 2002 г. и последовательно развивает до сих пор. Коммуникативный капитализм — это экономико-идеологическая формация, при которой происходит конвергенция демократии, капитализма, сетевых технологий и медиа. В новых условиях основные демократические ценности материализуются в сетевых коммуникационных технологиях, поэтому коммуникативный капитализм полагается на эксплуатацию коммуникации. Это вызывает кардинальные изменения в характере сетевой коммуникации: теперь содержание сообщения не так важно, как сам факт «вклада» сообщения в постоянно «циркулирующий поток контента». В обзоре прослеживается эволюция концепции Дин, обозначаются ее ключевые положения и понятия, использованные для ее разработки: «интерпассивность» Славоя Жижека, лакановское «наслаждение» и «влечение», «любое» Джорджо Агамбена, «нулевой институт» Клода Леви-Стросса и другие. Автор приходит к выводу, что современные мировые события и тенденции в онлайн-коммуникации (твиттер- и фэйсбук-революции, рамки для аватарок на Facebook, онлайн петиции и опросы, хештеги, очень популярные аккаунты с большим числом подписчиков)

Шпоть Василиса Вителиевна — учебный ассистент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Научные интересы: исследования медиа, критическая теория медиа, социальная теория, марксизм, цифровой капитализм. E-mail: vvshpot@edu.hse.ru

позволяют разглядеть высокий потенциал концепции как актуальной междисциплинарной теоретической оптики и методологического инструмента.

Ключевые слова: теория медиа, коммуникация, сети, коммуникативный капитализм, цифровой капитализм, марксизм, Джоди Дин

Vasilisa V. Shpot¹

National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

Jody Dean's Communicative Capitalism: The Evolution of a Social Theory

Abstract:

This review is devoted to the recent concept of communicative capitalism introduced by American social theorist and left activist Jodi Dean in 2002. Communicative capitalism is a political-economic formation in which the convergence of democracy, capitalism, network technologies, and media occurs. Under these new conditions, the primary democratic values materialize in networked communication technologies, which leads to a reliance of communicative capitalism on the exploitation of communication. This causes a radical shift in network communication: now the fact of “contributions” to the “circulation of content” is more significant than the content of a message. The review traces the evolution of Dean's conceptual framework, outlines key aspects and ideas which were used for its elaboration (e.g. the Lacanian concepts of *jouissance* and *drive*, Slavoj Žižek's “*interpassivity*” and “*post-politics*”, “*whatever being*” by Giorgio Agamben, “*zero-institution*” by Claude Lévi-Strauss). The author concludes that modern world events and trends in online communication (Twitter and Facebook Revolutions, frames for profile pictures on Facebook, online petitions, surveys and hashtags, very popular accounts with large numbers of followers) make it possible to discern the high potential of the framework as an eminently applicable interdisciplinary theoretical lens and methodological tool.

223

Keywords: Media Theory, communication, networks, communicative capitalism, digital capitalism, Marxism, Jodi Dean

Американский философ Фредрик Джеймисон [2019] в начале 1980-х предположил, что поздний капитализм становится неотделим от культуры. Сегодня из-за быстрого развития техно-

1 Vasilisa V. Shpot — Teaching Assistant at the Communication, Media and Design Faculty, HSE University, Moscow. Research interests: media studies, critical media theory, social theory, Marxism, digital capitalism. E-mail: vvshpot@edu.hse.ru

логий новые медиа стали неотъемлемой частью как жизни каждого человека, так и культуры общества в целом, поэтому тезис Джеймисона только подтверждается. Из-за трансформации информационно-коммуникационных технологий и повсеместной медиатизации, диджитализации и датафикации общества изменяется и характер капитализма. Поэтому многие исследователи стали обращать внимание на изменение капитализма в новой реальности и пытаться описать его особенности [Вайсман 2019; Павлов 2019; Срничек, Уильямс 2019; Samuels 2009]. Появилось множество концепций новейшего капитализма. Например, «информационный капитализм» медиатеоретика Кристиана Фукса [Fuchs 2008], «капитализм платформ» социального теоретика Ника Срничека [2019], «надзорный капитализм» социального психолога Шошаны Зубофф [Zuboff 2019]. В ряду ученых, которые концептуализируют современное состояние капитализма, важное место занимает Джоди Дин — социальный теоретик, философ, левая активистка. В 2002 г. она предложила авторскую концепцию «коммуникативного капитализма» и последовательно развивает ее до сих пор.

224

Коммуникативный капитализм — это экономико-идеологическая формация, при которой происходит конвергенция демократии, капитализма, сетевых технологий и медиа: в новых условиях основные демократические ценности материализуются в сетевых коммуникационных технологиях, поэтому коммуникативный капитализм полагается на эксплуатацию коммуникации. Это вызывает изменения в самом характере сетевой коммуникации: теперь содержание сообщения отходит на второй план, и важным становится лишь сам факт «вклада» (contribution) сообщения в «циркулирующий поток контента». При этом капитал характеризуется усилением конкуренции и неравенством [Дин 2017].

Несмотря на то что Дин предложила данную концептуальную рамку объяснения цифрового капитализма более 15 лет назад, современные мировые события и тенденции в онлайн-коммуникации (онлайн-митинги, дискуссии в Twitter и Facebook, твиттер-и фэйсбук-революции, онлайн-петиции, опросы, хештеги, рамки для аватарок на Facebook и проч.) позволяют разглядеть высокий эвристический потенциал концепции коммуникативного капитализма для социальной, политической и медиатеорий. Кроме того, в более поздних работах Дин уделяет внимание коммунизму, обращается к опыту СССР и иногда выступает на конференциях в России, что усиливает актуальность ее исследований для российского академического и даже общественно-политического дискурса.

В статье, посвященной анализу концепции коммуникативного капитализма, ее позиционированию и возможному применению в рамках теории медиа, российские социологи Дмитрий Гавра и Владислав Декалов [2018] приводят массив зарубежной литературы, авторы которой развивают [Mumby 2016; Fuchs 2012, 2020; Galloway 2012 и др.] или критикуют [Schwartz 2011; Hassan 2013; Gabardi 2003 и др.] положения Дин в рамках социальной, политической и медиатеории, что указывает на востребованность ее идей на Западе. В последнее время идеи Дин набирают популярность и в отечественной науке. Так, исследователи медиа Илья Кирия и Анна Новикова [2017] упоминают Дин в учебнике по теории и истории медиа. Ученые Гавра и Декалов посвятили не одну статью комплексному анализу идей Дин [Гавра, Декалов 2018; Декалов 2017]. Кроме того, в 2020 г. социальный теоретик Эдуард Сафонов [2020] написал о коммуникативном капитализме, в котором предложил детальный анализ концепции. Наконец, переводятся и тексты самой Дин: кроме цитируемого материала в журнале «Communications. Media. Design» в 2019 г. в «Логосе» на русском языке была издана оригинальная статья Дин.

Цель настоящего обзора — оценить эвристический потенциал концепции коммуникативного капитализма для медиатеории. Наша гипотеза заключается в том, что несмотря на акселерацию жизни и наличие более современных подходов к описанию текущей социальной формации, концепция коммуникативного капитализма обладает большим эвристическим потенциалом и может быть использована исследователями как актуальный методологический и теоретический инструмент. Заметим, что коммуникативный капитализм является междисциплинарной концепцией, однако настоящее исследование в большей степени проводилось в парадигме media studies, поэтому некоторым концептам из области социальной и политической теории, а также философии уделялось меньше внимания.

225

Генезис концепции коммуникативного капитализма

Исследовательская карьера Дин началась в 1996 г. Тогда была издана ее первая книга «Солидарность незнакомцев: феминизм после политики идентичности» [Dean 1996], в которой Дин обратилась к феминистской теории и ключевым проблемам современной политики. В 1998 г. вышла вторая работа Дин «Инопланетяне в Америке: из открытого космоса в киберпространство» [Dean 1998], посвященная теориям заговора. Дин рассматривает взаимосвязь инопланетного пространства, его образов в популярной культу-

ре с городскими легендами об инопланетянах, с компьютерными и коммуникационными технологиями, с политической пассивностью граждан и конспирологическим «параноидальным» мышлением в современной Америке. Она описывает феномен инопланетян в популярной культуре как результат техно-информационной революции, из-за которой объем и скорость генерируемой информации стали превосходить способность общества к формированию общего консенсуса относительно истины. Работа важна тем, что в ней Дин впервые обращается к теме медиа, сетевых структур и информационных технологий, а также изучает их роль в социальных процессах. В этой книге мы можем встретить некоторые идеи, которые впоследствии будут развиты в рамках концепции коммуникативного капитализма. Например, Дин уверена, что понимание инопланетян в современной Америке требует внимания не только к отдельным нарративам и историям, но и к практикам и технологиям, которые позволяют рассказывать эти истории.

226

Обратимся к главному периоду исследовательского пути Дин, а именно к формированию и развитию концепции коммуникативного капитализма. Социологи Гавра и Декалов [2018: 28, 29] предлагают делить работу Дин на три этапа: 1999–2005 гг. — оформление концепции, 2005–2012 гг. — детализация концепции, с 2012-го по настоящее время — появление активистских интенций в развитии концепции. Взяв за основу эту периодизацию, мы уделим особое внимание первым двум этапам работы исследовательницы, которые Сафронов [2020: 237] условно называет «теоретическими».

Дин впервые упоминает «коммуникативный капитализм» в 2002 г. в книге «Секрет паблисити: как технологии капитализируют демократию» [Dean 2002]. Она исследует, как медиа и технические средства влияют на «публичную» демократию, а точнее, заменяют традиционные демократические идеалы на паблисити (publicity). По ее мнению, распространение и интенсификация коммуникационных и развлекательных сетей порождают не демократию, а нечто иное — коммуникативный капитализм, который обращает коммуникацию в идеологию и товар [Ibid.: 3, 4]. В данных условиях публичное (the public), по мнению Дин, является всего лишь симуляцией участия народа в политических процессах. Коммуникативный капитализм подрывает политические возможности людей, а телекоммуникационные сети способствуют концентрации богатства и неравному распределению благ. В результате она призывает отказаться от паблисити ради демократии, вернее, ради становления неodemократии (демократии без паблисити) [Ibid.: 170–175].

На этом же этапе Дин описывает важнейшее свойство коммуникативного капитализма: она утверждает, что интернет и сеть становятся «нулевым институтом» коммуникативного капитализма — институцией без позитивной функции, которая означает институциональность как таковую [Ibid.: 167-169]. Автор этого концепта — антрополог Клод Леви-Стросс, однако Дин обращается к его доработанному варианту, который можно обнаружить в текстах Славоя Жижека [Zizek 2001].

В 2005 г. в журнале «Cultural Politics» вышла программная статья Дин «Коммуникативный капитализм: циркуляция и отчуждение политики», посвященная коммуникативному капитализму [Dean 2005: 51-74]. Ее отредактированная и доработанная версия вошла в книгу «Демократия и другие неолиберальные фантазии» [Dean 2009: 19-48]. В этих текстах Дин определяет коммуникативный капитализм как форму позднего капитализма, в которой основные демократические ценности обретают материальное воплощение в сетевых коммуникационных технологиях. Помимо этого она объясняет, почему в эпоху, «прославленную коммуникациями», сети лишь деполитизируют общество, и описывает особенности коммуникативного капитализма через фантазии, которые его анимируют [Dean 2005: 55].

227

Почему сети являются глубоко деполитизирующими? Дин обращает внимание на то, что следует разделять политику как циркуляцию контента (блоги, телевизионные и радиопрограммы, в которых политики и активисты часто приходят с целью пиара и борются за гонорары и узнаваемость) и политику как официальную политическую стратегию (бюрократия, судебные процессы и проч.). Согласно идеалам либеральной демократии, коммуникация внутри публичной сферы (политика как циркуляция контента) должна влиять на официальную политику. Но в современной Америке наблюдается обратное: существенное расхождение между указанными направлениями. Кроме того, распространение средств массовой информации изменило сам характер политического участия: действия политиков стали более нацелены на паблисити и активное медийное присутствие, нежели на формирование партий и союзов [Ibid.: 52-55]. В такой ситуации распространение, ускорение и интенсификация коммуникативных возможностей не усиливает демократические права, а приводит к противоположному: постполитической формации коммуникативного капитализма. Дин делает оговорку, что не считает деполитизирующую функцию сетевых коммуникаций тотальной. По ее мнению, политическая эффективность сетевых медиа зависит от контекста, и иногда наш «вклад» может иметь существенное влияние [Ibid.: 53]. Дин предлагает авторский концепт для понимания коммуникативного капитализма. К нему относятся

фантазии, которые позволяют людям ощущать свои действия как политически важные: фантазия изобилия (abundance), активности или участия (activity or participation) и фантазия целостности (wholeness).

Фантазия изобилия возникла из-за роста возможностей обмена информацией. Фантазия изобилия подразумевает, что любое сообщение, которое передает коммуникатор, в совокупности с другими сообщениями становится большим потоком, из-за чего возникает переизбыток контента. Поэтому реципиент часто не может выделить необходимую информацию. Следовательно, коммуникационный акт в традиционном понимании становится невозможным. Таким образом, фантазия изобилия трансформирует сообщение (с его основными конститутивными чертами: контент, символическая форма, отправка адресатом, получение и декодирование реципиентом) во «вклад» (contribution) в бесконечную циркуляцию контента. Сам факт отправки сообщения в поток для поддержания круговорота информации — сделать репост, поставить реакцию на пост в Facebook, отметить друга в посте или оставить комментарий — становится важнее, чем смысл, качество и достоверность сообщения. В данных условиях циркуляция контента становится условием для принятия или отклонения этого вклада [Ibid.: 57-60]: некоторые публикации, например, инфлюенсеров и журналистов собирают большое количество лайков, репостов, в комментариях происходит активная дискуссия, иногда посты распространяются и в другие медиа, часто без указания авторства. Другие публикации, даже на резонансные темы, могут не получить отклик аудитории. Тем не менее намного важнее сделать их, внести вклад в циркуляцию контента. По мнению Дин, сообщения необходимо рассматривать с точки зрения потребительской стоимости, а вклады с точки зрения меновой стоимости: это позволит понять, почему одни сообщения (дебаты и дискуссии) все же бывают эффективными (что может показаться «асимметрией коммуникативного капитализма»). Дин объясняет: многие товары действительно нужны людям. Но товаром их делает не потребность людей в них, а их экономическая функция, роль в капиталистическом обмене. Так же и с сообщениями: система, коммуникативная сеть, через которую распространяются сообщения и воспроизводится коммуникативный капитализм, намного важнее, чем сами сообщения [Ibid.: 59].

Фантазия активности или участия заставляет людей верить, что их вклад в циркуляцию контента (комментарий, пост, участие в опросе) имеет «субъективный регистрационный эффект» — дает уверенность, что онлайн-действие значимо и способно повлиять на что-либо. Когда пользователь делает публикацию на Facebook

и просит поделиться мнением или же делится ссылкой на петицию на Change.org с просьбой подписать ее, он верит, что данное действие действительно имеет смысл. Но на самом деле это не так. Чтобы объяснить такую мнимую активность, Дин обращается к концепту «интерпассивности» Жижека [2005]. Интерпассивность заключается в фактическом бездействии человека, в то время как вместо него функционирует нечто другое — фетиш-объект [(Dean 2005: 60)].

Дин обращает внимание и на роль технологий в политической интерпассивности. Технологии работают как фетиш и помогают скрыть наше бессилие и ощутить себя активными гражданами: технология действует вместо нас и позволяет людям оставаться политически пассивными. Другая особенность технологического фетиша заключается в том, что он охватывает отсутствие или недостаток социального порядка, защищая иллюзию единства [Ibid.: 61-63]. Чтобы проиллюстрировать это, Дин ссылается на исследование Джошуа Гамсона [Gamson 2003], который рассматривает, как сайты для геев, «безопасные пространства» для данного сообщества, используются компаниями для продажи релевантных товаров и услуг. По такому же принципу коммерциализируются, например, и фанатские сообщества. Специализированные сайты и группы в социальных сетях являются фетишем, они скрывают коммерческий контекст и позволяют пользователям чувствовать связь с другими.

229

Технологический фетиш может действовать через три операции: конденсацию, смещение и форкклюзию. Говоря о конденсации, Дин имеет в виду сведение всех сложных политических аспектов (представительство, борьба, организация и т.д.) воедино, в одну проблему и одно технологическое решение. Например, если проблемой демократии является отсутствие информированности граждан, ее решением станут технологии, которые предоставят людям информацию (специализированные веб-сайты, блоги, аккаунты в Twitter, справочные боты и проч.) [Dean 2005: 63, 64].

Операция смещения олицетворяет сдвиг в понимании реальной политической активности: из-за технологий и широкого доступа к медийным практикам люди стали забывать, что настоящие политические изменения требуют большего, чем сетевое общение, создание сайтов и кликание по ссылкам [Ibid.: 64-66]. Последняя операция — форкклюзия. Из-за операции смещения пользователи привыкли считать, что онлайн-ресурсы и сетевые действия политизированы. Но на самом деле политический антагонизм заранее исключен из технологий. Согласно Дин, технологии только создают иллюзию пространства, где возможна политическая борьба. При этом они могут и должны быть политизированы, чтобы репрезен-

тировать что-то за пределами себя для борьбы с какой-либо оппозиционной силой. Только так возможно избежать фетишизации технологии [Ibid.: 65, 66].

Фантазия целостности укрепляет уверенность в том, что наши вклады в циркуляцию контента имеют значение, так как попадают в самое значимое из всех пространств — в глобальное пространство [Ibid.: 66, 67]. Дин не утверждает, будто весь мир является зоной коммуникативного капитализма. Напротив, «пространство коммуникативного капитализма — это интернет, а сетевые коммуникации материализуют фантазии единства и целостности под видом глобальных» [Ibid.: 67]. В этом пространстве нет политики, распространение контента никак не способно трансформировать процессы внутри него, так как там уже существует «соглашение» [Dean 2009: 69].

От коммуникативного капитализма к неофеодализму

230

В 2009 г. вышла книга «Демократия и другие неолиберальные фантазии». В этой работе Дин критикует левых интеллектуалов за то, что они (в оригинале «we», так как Дин идентифицирует себя с этой группой) не смогли предложить политическую альтернативу неолиберализму¹, которая защищала бы идеалы солидарности и равенства. Книга состоит из шести глав. Первая — отредактированный вариант статьи «Коммуникативный капитализм: циркуляция и отчуждение политики». Дин усиливает высказанные ранее тезисы, приводит более актуальные примеры и помещает размышления о коммуникативном капитализме в контекст неолиберальной идеологии и неудачах левых в политической борьбе.

Описывая фантазию изобилия, Дин делает дополнение относительно роли сети в условиях коммуникативного капитализма. Она отмечает, что иллюзия демократического участия не позволяет распознать виды неравенства, которые заложены в сложную сетевую структуру: сеть не имеет предсказуемую структуру. Напротив, в архитектуре сети встречаются «кластеры и хабы (концентраторы. — В.Ш.), в которых некоторые сайты являются узлами» [Dean 2009: 28]. Следовательно, сайты, блогеры и селебрити неравноцен-

1 Под неолиберализмом в широком смысле Дин подразумевает «философию, рассматривающую рыночный обмен как руководство для всех человеческих действий». В таких условиях свобода становится фундаментальной политической ценностью, а главная функция государства — обеспечить институциональную основу для рынка [Dean 2009: 51].

ны в силу разного числа подписчиков: скажем, одни могут иметь высокий индекс цитируемости, большое число подписчиков и быть источником информации для более мелких ресурсов с узкой аудиторией и небольшим числом пользователей.

Для подкрепления своего тезиса Дин обращается к работе исследователя в области теории сетей Альберта-Ласло Барабаши, посвященной анализу комплексных (сложных) сетей [Barabasi 2003]. Она рассматривает наработки ученого, чтобы подтвердить иерархическую структуру интернета и наличие концентраторов в сети. Здесь же Дин пересматривает операции, через которые функционирует технологический фетиш. Исследовательница заменяет «форкклюзию» на «отрицание» (denial). В концептуальном плане эта операция не изменилась, поменялось только название и способ концептуализации [Dean 2009: 41, 42]. Если ранее Дин использовала термин Лакана, то теперь она опирается на описание фетишизма Фрейдом.

В 2010 г. в книге «Теория блогов» Дин обратилась к критической теории медиа. Она проанализировала феномен блогинга и рассмотрела такие составляющие коммуникативного капитализма, как рефлексивность и влечение. В этой работе исследовательница описывает коммуникативный капитализм как объединение демократии и капитализма в сетевых коммуникациях и развлекательных медиа. По ее мнению, такое состояние медиатизированной коммуникации захватывает пользователей в сети наслаждения, производства и надзора [Dean 2010: 3, 4]. Данное определение не отличается от приведенной ранее концептуализации, однако для раскрытия сущности коммуникативного капитализма теперь Дин применяет новые концепции и подходы.

Например, она прибегает к механизму обратной связи медиатеоретика Стивена Джонсона для описания коммуникации, а также к концепции интегрированного спектакля Дебора. Дин адаптирует список отличительных черт общества, предложенный философом, к условиям коммуникативного капитализма. Напомним, что Дебор [2000 (1988)] указывает следующие характеристики общества: непрерывное технологическое развертывание, интеграция государства и экономики, тотальная скрытность и подозрительность, непровержимость лжи, царствование вечного настоящего. В обновленном варианте общество обретает следующие черты: непрерывное технологическое развертывание, неолиберализация управления, тотальное паблисити, крах символической эффективности, фокус на будущем [Dean 2010: 111, 112].

Итак, текущая формация характеризуется рефлексивностью и «влечением», эти понятия взаимосвязаны. Под рефлексивностью (термин заимствован у социолога Мануэля Кастельса) понимается

коммуникация ради коммуникации, бесконечное движение контента по кругу, вклады в поток информации внутри сетей с помощью разных устройств [Ibid.: 95]. Психодинамическая концепция «влечения» (drive) в версии Лакана выражает рефлексивную структуру сложных сетей. Дин объясняет, что для Лакана влечение описывает стремление к созданию с нуля [Ibid.: 30-32]. Это стремление к постоянной виртуальной активности мы замечаем при коммуникативном капитализме и на примере блогов в частности: мы становимся «захваченными» в «бесконечные петли» постинга и переходов по ссылкам, так как не можем достичь наслаждения [Ibid.: 121-123].

Еще одна важная особенность сетей — их аффективность. Эта характеристика говорит, что каждое онлайн-действие (твит, комментарий, пост) позволяет пользователю получить эмоции. Аффективные сети связывают людей и создают ощущение сообщества или «сообщество без сообщества»: блогеры существуют, блогосфера — нет [Ibid.: 95, 96]. Что касается самих блогов, то они появились во время коммуникативного капитализма, существуют до сих пор и обладают доступом к ключевым чертам коммуникативного капитализма: усилению коммуникации в рефлексивных сетях (коммуникации для коммуникации), циркуляции аффекта (сети создают и усиливают различные эффекты) и появлению «любого» (whatever beings) [Ibid.: 29]. Понятие «whatever beings» Дин заимствует у теоретика культуры Доминика Петтмана, который в свою очередь доработал концепцию Джорджо Агамбена. В их понимании «любое» (whatever being) — это «новая форма общества и существования, которые превосходят растворение социальных маркеров и распад идентичностей» [Ibid.: 66]. Кроме того, Дин обращает внимание на роль английского слова whatever (как угодно) в ответ на чье-либо сообщение. Она утверждает, что такой ответ просто регистрирует сам факт высказывания, он не предполагает принятия или отвержения реплики. Whatever препятствует коммуникативному обмену и пронизывает всю структуру новых медиа [Ibid.: 62-68].

Другой важный аспект коммуникативного капитализма — эксплуатация. Это одна из ключевых марксистских концепций, и Дин, будучи левой мыслительницей, подробно рассматривает типы эксплуатации, возникшие при коммуникативном капитализме. По ее мнению, из-за сетевых коммуникаций возникла эксплуатация данных, метаданных, сетей, внимания, возможностей и спектакля [Dean 2012]. Говоря о данных, Дин приводит в пример такие компании, как Facebook, Amazon и Google. Они, как и многие интернет-компании, претендуют на право владеть информацией, размещенной на их сайтах. Приватизируют данные и пользуются

неоплачиваемым добровольным трудом (посты, лайки, репосты), они распространяют эксплуатационные практики в обществе. Капитализм также эксплуатирует метаданные: наши пользовательские пути, друзей, историю поиска для продажи рекламы [Ibid.: 137].

Третья инстанция — сеть. Сетевая иерархическая структура (относительная популярность блогов, книг-бестселлеров, высокий индекс цитирования) разделяет людей, создает неравенства, но не исключает акторов из коммуникации. Это важно, потому что устройство сетей мотивирует людей становиться участниками капиталистических процессов [Ibid.: 137-142]. Используя разные приложения и сервисы, такие как Gmail, YouTube, Twitter, мы платим не деньгами, а своим вниманием, что является четвертым объектом для эксплуатации. Текущая политико-экономическая формация постоянно требует внимания, предписывает активно коммуницировать онлайн. Данный тип эксплуатации имеет психологический аспект, к чему обращается Дин: коммуникативные схемы капитализма — «петли влечения» (loops of drive). Оказываясь захваченными этими петлями, индивид постоянно находится в переменчивом состоянии: от эмоционального возбуждения до истощения. Чем больше мы должны выбирать, т.е. задействовать свое внимание, тем сильнее мы становимся «истощены» [Ibid.: 142-149].

Современный капитализм эксплуатирует возможности. Он конфискует наши знания и навыки: если раньше, например, при поломке техники люди чинили ее, то теперь они стремятся заменить компьютеры, машины, смартфоны. Дин пишет, что в сложившихся условиях образованный средний класс, как и высшее образование, теряют ценность, так как все наши знания сведены к данным, которые можно найти в Google. В том числе поэтому многие технические, интеллектуальные и творческие задачи переходят на аутсорсинг [Ibid.: 149-151]. Наконец, коммуникативный капитализм эксплуатирует и экспроприирует спектакль. Для объяснения Дин обращается к идеям Агамбена [2008], которые он высказал в книге «Грядущее сообщество». Экспроприация языка в спектакле открывает новый опыт языкового бытия: теперь важно не содержание высказывания, а сам факт его изречения [Dean 2012: 151-154].

Текущий этап работы Дин характеризуется усилением активистских интенций, что отражается и на ее концепции. В статье «Коммунизм или неофеодализм?» она выдвигает гипотезу о том, что сейчас наблюдается перерождение капиталистической формации в новый этап, который предварительно можно назвать неофеодализмом. Дин полагает, что «неофеодализм — это то, что нас ждет,

если мы не сумеем дать отпор», однако его опасные характеристики можно повернуть в другую сторону и сформировать международное коммунистическое государство [Дин 2019: 110-113], за что левым и стоит бороться. Эта позиция характеризует весь вектор ее нынешнего этапа работы. В одной из ее недавних статей мы замечаем революционные интенции: в статье «Коммуникативный капитализм и революционная форма» Дин заявляет, что партия — это форма, которую необходимо принять для организации революции [Ibid.: 326-340].

Заключение

234

С момента возникновения концепция коммуникативного капитализма развивалась и дополнялась в соответствии с трансформацией современности. Благодаря этому сегодня коммуникативный капитализм представляется актуальным методологическим и теоретическим инструментом для исследований в рамках политической, социальной и медиатеории. Исследования Дин находятся под пристальным вниманием политических, социальных и медиатеоретиков на Западе, а в последнее время набирают популярность и в отечественной науке. Поэтому Дин может считаться состоявшимся мыслителем, и нет ничего удивительного в том, что в 2016 г. в Лиссабонском университете прошла конференция «Переосмысление власти при коммуникативном капитализме: критический взгляд на СМИ, культуру и общество»¹, посвященная ее концепции, — Дин часто выступает со своими идеями на конференциях и проводит публичные лекции, в том числе и в России. В 2019 г. она выступала на конференции «Будущее по Марксу» [Ромашков 2019].

Позиционированию концепции в рамках других медиаисследований, например, уделяет внимание Кристиан Фукс, один из наиболее влиятельных левых исследователей медиа и коммуникации. В статье 2012 года он анализирует марксистские подходы к изучению интернета и среди них выделяет концепцию Дин [Fuchs 2012]. В этой концепции (наряду с другими) Фукс видит высокий эвристический потенциал, так как считает, что после экономического кризиса 2008 года марксистская парадигма становится как никогда актуальной для анализа интернета как доминирующей и эксплуатирующей структуры, а также его возможного потенциала для освобождения людей. Кроме того, в книге, посвященной критической теории коммуникации, Фукс [Fuchs 2020] регуляр-

1 См. <https://www.nordicom.gu.se/en/medieforskning/events/rethinking-power-communicative-capitalism-critical-perspectives-media-culture>

но обращается к коммуникативному капитализму, при этом уже не используя ссылку на Джоди Дин.

В исследовании, посвященном новейшему капитализму, медиатеоретик Деннис Мамби [Mumby 2016] описывает и критикует концепцию Дин, чтобы определить корпоративный брендинг как ключевую черту организации при современном капитализме. Критику и применение идей с позиций политической, социальной и медиатеории предлагают и множество других ученых, например, медиатеоретики Маккензи Уорк и Кэтлин Куэн, теоретик новых медиа Джусси Парикка, социолог Себастиан Севиньяни, политические теоретики Сэмюэл Чэмберс, Уэйн Габарди, Киран Лэрд, политик Марк Пак и др. [Wark 2015; Kuehn 2013; Parika 2011; Sevignani 2013; Chambers 2005; Gabardi 2003; Laird 2004; Pack 2010].

Эвристичность концепции для медиатеории подтверждается тенденциями распространения технологий, современными мировыми событиями и отдельными медиапрактиками, которые также могут быть изучены с применением оптики Дин или ее отдельных положений (например, с помощью применения концепта фантазий). К ним, в частности, относятся онлайн-митинги, которые мы наблюдали в том числе и в России во время пандемии коронавируса. 20 апреля 2020 г. жители Воронежа «вышли» на митинг с использованием «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» и с помощью комментариев высказывали свою позицию в отношении введения режима чрезвычайной ситуации. В этом же контексте могут быть рассмотрены и другие онлайн-действия: от лайков и постов, которые тут же обращаются в товар платформами, кликтивизм, создание популярных аккаунтов в социальных сетях, до таких акций, как Blackout Tuesday и размещение рамок на аватарках в Facebook в поддержку вакцины «Спутник V» или с надписью «I Love Vampires».

235

Библиография / References

Агамбен Дж. (2008) *Грядущее сообщество*, М.: Три квадрата.

— Agamben G. (2008) *The Coming Community*, Moscow: Three Squares. — in Russ.

Вайсман Д. (2019) *Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме*, М.: ИД «Дело» РАНХиГС.

— Wajcman D. (2019) *Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism*, Moscow: «Delo» Publishing House RANEPА. — in Russ.

Гавра Д.П., Декалов В.В. (2018) Коммуникативный капитализм: методологические предпосылки и парадигмальное позиционирование. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 21 (1): 27–43.

— Gavra D., Dekalov V. (2018) The concept of communicative capitalism: methodological premises and paradigmatic positioning. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, 21 (1): 27-43. — in Russ.

Декалов В.В. (2017) Внимание как базовый ресурс коммуникативного капитализма. *Российская школа связей с общественностью*, 10: 27-38.

— Dekalov V. (2017) “Attention” as Basic Resource of Communicative Capitalism. *Russian School of Public Relations*, 10: 27-38. — in Russ.

Декалов В.В. (2017) Коммуникативный капитал: концептуализация понятия. *Вестник СПбГУ. Социология*, 10 (4): 397-409.

— Dekalov V. (2017) Communicative Capital: Conceptualization of the Concept. *Vestnik SPbSU. Sociology*, 10 (4): 397-409. — in Russ.

Дебор Г. (2000) Комментарии к обществу спектакля. (<https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3512/3522>)

— Debord G. (2002) *Comment on Society on the Society of the Spectacle* (<https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3512/3522>) — in Russ.

Джеймисон Ф. (2019) *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма*, М.: Институт Гайдара.

— Jameson F. (2019) *Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism*, Moscow: Gaidar Institute Publishing. — in Russ.

236

Дин Д. (2017) Коммуникативный капитализм: от несогласия к разделению. *Communications. Media. Design*, 2 (3): 152-165.

— Dean D. (2017) Communcative Capitalism: from Dissent to Division. *Communications. Media. Design*, 2 (3): 152-165. — in Russ.

Дин Д. (2019) Коммунизм или неофеодализм? *Логос*, 29 (6): 85-114.

— Dean D. (2019) Communism or Neo-Feudalism? *Logos*, 29 (6): 85-114. — in Russ.

Жижек С. (2005) *Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм*, СПб.: Алетейя.

— Žižek S. (2005) *Interpassivity. Desire: Drive. Multiculturalism*, Saint Petersburg: Aletheia. — in Russ.

Кирия И.В., Новикова А.А. (2020) *История и теория медиа, 2-е изд*, М.: ИД ВШЭ.

— Kiriya I., Novikova A. (2020) *History and Theory of Media, 2nd ed.*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Павлов А.В. (2019) Постмодернистский ген: является ли посткапитализм пост-постмодернизмом? *Логос*, 29 (2): 1-24.

— Pavlov A. (2019) The Postmodern Gene: Does Post-capitalism Mean Post-postmodernism? *Logos*, 29 (2): 1-24. — in Russ.

Ромашков А. (2019) Комментируют ведущие исследователи марксизма «Будущее по Марксу». (<https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/mag/21590135.html>)

— Romashkov A. (2019) Leading Marxism Researches Comment on “Future According to Marx”. (<https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/mag/21590135.html>) — in Russ.

Сафронов Э. (2020) Концепция коммуникативного капитализма Джоди Дин. *Знание. Понимание. Умение*, 1: 236–247.

— Safronov E. (2020) Jodi Dean's Concept of Communicative Capitalism. *Knowledge Understanding. Skill*, 1: 236–247. — in Russ.

Срничек Н. (2019) *Капитализм платформ*, М.: ИД ВШЭ.

— Srnicek N. (2019) *Platform Capitalism*, Moscow: HSE Publishing House. — in Russ.

Срничек Н., Уильямс, А. (2019) *Изобретая будущее: постакапитализм и мир без труда*, М.: Strelka Press.

— Srnicek N., Williams A. (2019) *Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work*, Moscow: Strelka Press. — in Russ.

Barabasi A. (2003) *Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life*, N.Y.: Basic Books.

Bell D. (1999) *The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting*, N.Y.: Basic Books, Inc.

Chambers S.A. (2005) Democracy and (the) Public(s): Spatializing Politics in the Internet Age. *Political Theory*, 33 (1): 125–136.

Dean J. (1996) *Solidarity of Strangers: Feminism after Identity Politics*, Berkeley; Los Angeles: University of California Press.

Dean J. (1998) *Aliens in America: Conspiracy Cultures from Outerspace to Cyberspace*, Ithaca; N.Y.: Cornell University Press.

Dean J. (2002) *Publicity's Secret: How Technoculture Capitalizes on Democracy*, Ithaca; N.Y.: Cornell University Press.

Dean J. (2003) Why the Net is not a Public Sphere. *Constellations*, 10 (1): 95–112.

Dean J., Passavant P.A. (eds) (2004) *Empire's New Clothes: Reading Hardt and Negri*, N.Y.: Routledge.

Dean J. (2004) The Networked Empire: Communicative Capitalism and the Hope for Politics. J. Dean, P.A. Passavant (eds) *Empire's New Clothes: Reading Hardt and Negri*, N.Y.: Routledge: 267–289.

Dean J. (2005) Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics. *Cultural Politics*, 1 (1): 51–74.

Dean J. (2009) *Democracy and other neoliberal fantasies. Communicative capitalism and left politics*, Durham; London: Duke University Press.

Dean J. (2010) *Blog Theory*, Cambridge, Malden: Polity Press.

Dean J. (2019) Communicative Capitalism and Revolutionary Form. *Millennium*, 47 (3): 326–340.

Fuchs C. (2008) *Internet and Society. Social Theory in the Information Age*, N.Y.: Routledge.

Fuchs C. (2012) Towards Marxian Internet Studies. *TripleC*, 10 (2): 392–412.

Fuchs C. (2020) *Communication and Capitalism: A Critical Theory*, London: University of Westminster Press.

Gabardi W. (2003) *Publicity's Secret: How Technoculture Capitalizes on Democracy. Perspectives on Politics*, 1 (3): 584-586.

Galloway A. (2012) *The Interface Effect*, Cambridge: Polity.

Gamson J. (2003) *Gay Media, Inc.: Media Structures, the New Gay Conglomerates, and Collective Sexual Identities*. M. McCaughey, M.D. Ayers (eds) *Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice*, N.Y.: Routledge: 255-278.

Hassan R. (2013) Networked Time and the "Common Ruin of the Contending Classes". *TripleC*, 11 (2): 359-374.

Kuehn K.M. (2013) «There's God to be a Review Democracy»: Communicative Capitalism, Neoliberal Citizenship and the Politics of Participation on the Consumer Evaluation Website Yelp.com. *International Journal of Communication*, 7: 607-625.

Laird K. (2004) *Publicity's Secret: How Technoculture Capitalizes on Democracy. Contemporary Political Theory*, 3: 118-119.

Mumby D.K. (2016) Organizing beyond organization: Branding, discourse, and communicative capitalism. *Organization*, 23 (6): 884-907.

Pack M. (2010) *Blog Theory*. (<https://www.markpack.org.uk/12509/book-review-blog-theory-by-jodi-dean/>)

238

Parikka J. (2011) *Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive. Leonardo*, 44 (3): 274-275.

Rethinking Power in Communicative Capitalism: Critical Perspectives on Media, Culture and Society (2016) (<https://www.nordicom.gu.se/en/medieforskning/events/rethinking-power-communicative-capitalism-critical-perspectives-media-culture>)

Samuels R. (2009) *New Media, Cultural Studies, and Critical Theory after Postmodernism*, N.Y.: Palgrave Macmillan.

Sevignani S. (2013) Digital Labor: The Internet as Playground and Factory. *TripleC*, 11 (1): 127-35.

Schwartz J.M. (2011) Democracy and other neoliberal fantasies. Communicative capitalism and left politics. *Perspectives on Politics*, 9 (3): 700-702.

Toffler A. (1980) *The Third Wave*, N.Y.: Morrow.

Wark M. (2016) Communicative Capitalism. *Public Seminar* (<https://publicseminar.org/2015/03/communicative-capitalism/>)

Zizek S. (2001) *Enjoy Your Symptom!: Jacques Lacan in Hollywood and Out*, 2nd ed, N.Y.: Routledge.

Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism*, N.Y.: Public Affairs.

Рекомендация для цитирования:

Шпоть В.В. (2021) Коммуникативный капитализм Джоди Дин: эволюция одной социальной теории. *Социология власти*, 33 (1): 222-239.

For citations:

Shpot V.V. (2021) Jody Dean's Communicative Capitalism: The Evolution of a Social Theory. *Sociology of Power*, 33 (1): 222-239.

Поступила в редакцию: 10.01.2020; принята в печать: 14.03.2021

Received: 10.01.2020; Accepted for publication: 14.03.2021

АРТЕМ В. МОРОЗОВ

Институт философии РАН, Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-3671-9976

Пробовали перезагрузить?

Рецензия на книгу: Срничек Н., Уильямс А. (2019)

Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без
труда, М.: Strelka Press

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-240-250

240

Книга левых теоретиков Ника Срничека и Алекса Уильямса «Изобретая будущее» уже обозревалась на страницах «Социологии власти» (причем еще до выхода ее перевода на русский язык), однако вкратце и наряду с другими работами, в которых рассматривались перспективы посткапиталистического будущего [Матвеев 2018: 215, 216]. Работа успела подвергнуться тщательному разбору с разных ракурсов: экономического (в связи с поддерживаемой авторами идеей введения безусловного базового дохода) [Дьяконов 2019], социально-теоретического [Павлов 2019: 14–20; Сафронов 2019: 283, 284; Николаи 2020] и политико-онтологического [Шалагинов 2020].

Я бы хотел сосредоточиться на тех социально-философских аспектах проекта Срничека и Уильямса, которые разбирались не столь подробно. В первую очередь меня будут интересовать не образы посткапитализма, разворачиваемые авторами во второй половине книги, а социально-философские мотивы ее критической первой половины, представляющей обоснование для самого введения этих образов.

В начале книги выявляются признаки «народной политики», политического *sensus communis* современных левых: локализм, горизонтализм, ставку на прямое действие, стихийность и аутентичность, пораженческое настроение в отношении осуществления крупномасштабных перемен, т. е. их «трансцендентальный мизе-

Морозов Артем Владимирович — младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН. Научные интересы: социальная философия, современные онтологии, утопия и утопическое сознание. E-mail: morozov.socphil@yandex.ru

Artem V. Morozov — Junior Research Fellow, Social Philosophy Department at Institute of Philosophy, Russian Academy of Science (RAS), Moscow, Russia. Research interests: social philosophy, contemporary ontologies, utopia and utopian consciousness. E-mail: morozov.socphil@yandex.ru

рабилизм» (авторы используют выражение Ника Ланда¹), который привел к закату утопических нарративов. *Sensus communis* левых, согласно диагнозу авторов, «перестал соответствовать актуальным механизмам власти» [с. 21]. Итак, с одной стороны, представления, которые лежат в основании народной политики и легитимируют ее как жизненный уклад, оказываются трансцендентны бытийному порядку вещей. С другой стороны, в них начисто отсутствует утопический импульс, речь идет лишь о локальных корректировках статуса-кво. По этим двум признакам народная политика смыкается с идеологией в определении Мангейма [Вахштайн 2014: 27]. Срничек и Уильямс на примерах массовых протестных движений 2010-х годов показывают пределы народно-политических представлений.

Идеология сопротивления современных левых не желает принимать ориентиры гегемонной идеологии неолиберализма, прежде всего, «модерные» универсализм и глобализм. По мнению авторов, этим как раз и объясняется ее провальность как стратегии. В своем мизерабилизме народная политика оказывается продолжением гегемонной идеологии, ее тенью; выстраиваясь как полное отрицание неолиберализма, она оказывается им сформирована и в конечном счете утверждает его безальтернативность. Срничек и Уильямс полагают, что левым следует реабилитировать современные идеалы, избавив их от дурных наслоений, отринуть упаднические настроения и перейти к построению контргегемонии.

241

История демонстрирует, что такое построение может затянуться, ведь неолиберальная идеология, как отмечают авторы, шла к своему успеху сорок лет, и успех этот проистекал не из некоей логики развития капитализма, а из сочетания долгосрочного планирования и удачных стечений обстоятельств. Общество «Мон Пелерин», собранное Фридрихом фон Хайеком в 1947 году и объединившее ученых разных стран, открыто поставило задачу — противопоставить господствующим в то время кейнсианским представлениям «либеральную утопию» [с. 83]. Выработкой принципов этого альтернативного политического *sensus communis* занимались аналитические центры, чья пропаганда затрагивала не только элиты и университетские аудитории, но и массы. Ими издавались брошюры для широкой аудитории, причем «тексты писались в несколько утопической манере, без оглядки на то, могла ли такая политика быть реализована на практике» [с. 89].

1 В русском переводе мизерабилизм, однако, переведен как «абстрактный» [с. 204].

В конечном итоге неолиберализму удалось переломить кейнсианство в разгар кризиса 1970-х годов, который отличало сочетание высокой безработицы и высокой инфляции. Кейнсианцы предлагали взаимоисключающие решения для каждой из проблем, тогда как неолибералы предлагали единое решение — стагфляцию, что и принесло успех их идеологии. Однако неолиберальный подход вовсе не был единственной альтернативой, вопреки расхожим нарративам, которые описывают историю с точки зрения победителя; он оказался более предпочтительным лишь потому, что неолибералами уже была создана поддерживающая идеологическая инфраструктура.

Предлагая этот альтернативный исторический нарратив, авторы указывают, что левому движению стоит поучиться у «Мон Пелерина». Разумеется, смысл заключается не в том, чтобы полностью скопировать его стратегию. Речь о том, что народную политику следует перевести, говоря в терминах Мангейма, из идеологии в утопию, а затем добиться того, чтобы эта утопия превратилась в контргегемонию, которая в конечном итоге сформирует новый здравый политический смысл для всего человечества, причем «как в сфере идей, так и в сфере материальных платформ», выступающих в настоящее время «воплощением материального трансцендентального нашего общества» [Уильямс, Шрничек 2018: 15]. Иными словами, условиями наших возможных аффектов, мыслей и действий, а значит, и властных отношений с установками сопротивления. Раз уж вышло у неолибералов, а они в начале пути были «маргиналами» и «с трудом находили себе работу» [с. 79], то почему не может получиться у левых?

242

Срничек и Уильямс полагают, что альтернатива неолиберальной идеологии должна опираться на минимальную программу, которая состоит из четырех требований: полная автоматизация производства, сокращение рабочей недели, введение безусловного базового дохода (ББД) и отказ от трудовой этики. Следовательно, посткапиталистический мир — мир посттрудовой и предельно технологизированный. И пускай в нем сохраняются экономические отношения, они преобразуются из-за высвобождения времени, которое ранее отводилось на работу.

При капитализме человек получает ряд негативных свобод, а именно экономические свободы по продаже своей рабочей силы или же политическая свобода от вмешательства государства. Последняя, впрочем, становится все более призрачной при неолиберализме. Собственно, это причина, по которой Срничек и Уильямс убеждены, что «неолиберализм» — полезный, а не бессмысленный термин. Дело в том, что неолиберализм подразумевает не рынок за пределами государства и его контроля, а контроль рынка над

государством. Силы государства захватываются и перенаправляются на исполнение рыночных задач, так как в возникновении отдельных рынков нет ничего естественного: их создание, а зачастую и поддержание их существования, требует планирования.

Посткапитализм в свою очередь обещает максимизацию позитивной «синтетической» свободы, т.е. рост власти, которая определяется как способность воплощать желаемое. Предоставляемые капитализмом негативные свободы — лишь формальные права, а вовсе не материальные возможности действия. Можно быть формально свободным делать что-либо, вместе с тем не имея на это средств. Материальные возможности как раз и будут обеспечены ББД, которого хватит на удовлетворение основных потребностей, а также развитием технологий и вытекающим из него расширением общественных ресурсов. Ведь не будучи подчиненными капиталистической телеологии, которая опирается на императив максимизации прибыли, технологии могут раскрыть перед человечеством небывалые возможности.

Именно освобождение от капиталистической телеологии и составляет суть «ускорения», которое Срничек и Уильямс предлагают в качестве ориентира в написанном двумя годами ранее «Манифесте акселерационистской политики». Призыв к «ускорению процесса» был подхвачен ими от Ника Ланда, а тот цитировал Делёза с Гваттари, которые сами, в свою очередь, вспоминали фразу Ницше. Позднее я вернусь к этой игре цитат, а пока замечу, что куда в большей мере, чем на Ланда, Срничек и Уильямс опираются на «Капитализм и шизофрению» Делёза — Гваттари и на философский проект Делёза в целом. Это важно, так как Срничек и Уильямс унаследовали их проблемы. Срничек вносил в рецепцию Делёза коррективы исходя из ряда положений нефилозофии Ларюэля [Морозов 2019: 228–234], однако им не были раскрыты все возможности нефилозофской критики капитализма, что также окажется значимым обстоятельством.

Так, посткапитализм Срничека и Уильямса в универсальной истории «Анти-Эдипа» бесконечно стремился бы занять место «новой земли», открываемой шизофреническим процессом вслед за дикостью (т.е. первобытной социальной машиной), деспотизмом и капитализмом. Первобытное общество нельзя назвать властным, так как в нем власть не сосредотачивается в каком-то индивиду или в некоторой группе; его нельзя назвать и экономическим. Деспотизм — предельно властное, но неэкономическое общество, в то время как капитализм сочетает в себе как власть, так и экономику, между которыми устанавливаются напряженные отношения. «Новая земля», возникающая в гипотетическом конце истории, оказывается экономическим, но невластным обществом,

ведь власть в нем расплывается по всем индивидам перманентной революцией. Точно так же и посткапитализм стремится к построению экономики, которая бы рассеивала власть в обществе, т.е. увеличивала способности индивидов воплощать желаемое, устраняя зависимость их выживания от труда. Срничек и Уильямс тем не менее выступают против того, чтобы называть посттрудовое общество «концом истории», хотя и не отклоняют рамку «универсальной истории», подразумевающей движение от меньшей к большей степени социального прогресса (но движение это для них, как и для Делёза с Гваттари, оказывается нелинейным и контингентным).

В критике тени гегемонной идеологии — народной политики — узнается и делёзовская критика догматического образа мышления, по своему происхождению дофилософского и связанного с формой государства. Однако если Делёз в текстах, затрагивающих данную тему, преимущественно выступает за демонтаж образа мысли в пользу безобразности, то Срничек и Уильямс желают противопоставить ему новый, лучший образ: их «проект состоит в создании новой народной политики» [с. 274], обеспечивающей приход посткапиталистической гегемонии в сфере идей, которая образует идеологическую часть трансцендентального (чьей материальной частью выступают платформы).

244

Я полагаю, что причина отказа Срничека и Уильямса от «перманентной революции», которая бы поддерживала безобразность, заключается в том, что ранее Срничек вслед за Ларюэлем отождествил указанную идеологическую компоненту — образ мысли якобы «дофилософский» — с философией. Вполне в духе Маркса философия оказывается выражением гегемонной идеологии господствующего класса; сверх того, поскольку речь идет о трансцендентальном, т.е. о самих условиях наших возможных аффектов, мыслей, восприятий и действий, философия — сколь бы ни различались отдельные философии по своему содержанию — образует форму нашего «Мира», как пишет Ларюэль, и потому тождественна капитализму [Морозов 2019: 229].

Ларюэль, по мнению Срничека, занимает квиетистскую позицию — он не собирается ни поддерживать непрерывный переворот образов, ни учреждать образ, который положил бы перевороту конец. Сам Срничек, напротив, задачей некапитализма видел утверждение контргегемонии как формы лучшего мира, и субъектом, который претворил бы эту форму, стало бы препарированное «множество» Хардта и Негри [Там же: 232]. Препарация эта (производимая нефилософски, но в философских целях ради учреждения нового мира как философского Решения) заключается в формалистическом рассмотрении категории универсального, которое в дальнейшем

перейдет в «Изобретая будущее», однако уже в несколько ином виде¹. Универсальное окажется для Срничека и Уильямса полем битвы контргегемоний, неким пустым шаблоном, который подвергается постоянной ревизии, и поэтому универсальное в принципе нельзя исчерпать какими бы то ни было частными детерминациями, исходящими от контргегемоний.

Однако не стоит забывать, что трансцендентальное состоит не только из идеологии или философии, но и из техноматериальной базы: «Построение посткапиталистического мира является столь же технической, сколь и политической задачей...» [с. 209]. Но можем ли мы с легкостью отделить друг от друга эти два аспекта? Пускай сам Ларюэль подробно не обращался к экономике или же к технологиям в связи с экономикой, за него это проделал экономист Жак Фраден, который после ознакомления с «Капитализмом и шизофренией» и сочинениями Ларюэля стал «радикальным еретическим марксистом».

Как и Срничек с Уильямсом, Фраден убежден, что экономика представляет собой не что иное, как композит метафизического и технического. Он исходит из того, что план и рынок не противоположны, а подразумевают друг друга. Более того, для него они совпадают, причем с самого возникновения капитализма. Дело в том, что капитализм возникает как незапланированное последствие другого плана или даже других проектов человечества.

245

Живые человеческие индивиды, как выразился бы Маркс, планируют свои действия и пытаются просчитать их последствия, однако в конечном счете всегда сохраняется что-то непредсказуемое, которое накапливается как снежный ком. Спланированная деятельность требует средств, которые с необходимостью являются техническими. Институты «проистекают» из бессознательного результата сознательных действий, они порождаются действиями индивидов, но вопреки их намерениям, и за счет этого обретают относительную автономию. Социально-технические машины как раз

1 Формалистический подход к категории универсального получает в книге следующее наименование: «...гуманизм, никак не определенный заранее» [с. 171]. Оно вполне подошло бы как «негуманизму» Ларюэля, так и «ингуманизму» Резы Негарестани, чье влияние на концепцию универсалистского гуманизма Срничека и Уильямса [с. 298, прим. 72] перевесило влияние Ларюэля. Разница заключается в том, что ингуманизм все-таки определяет человека как непрерывный поиск и пересмотр своих определений [Негарестани 2021: 18, 19], тогда как негуманизм парадоксальным образом полагает человека определенным без определения. Негуманизм не превращает ревизию в сущность человека, да и вовсе отбрасывает строгую необходимость в ней. Далее я покажу важность этого различия.

составляют экономический Мир — надстраивающийся над реальной деятельностью трансцендентальный порядок, детерминирующий эмпирических субъектов и по большей части пребывающий вне их контроля [Fradin 2005b: 167-173].

Итак, экономика — это современная политическая и техническая рыночная сверхсистема, которая основывается на метафизике воли и планирования. Основывается в двух смыслах: она происходит из плана как его незапланированный результат, и в то же время императив для нее — попытка «все спланировать», т.е. все предсказать и просчитать, получить надо всем власть (пусть даже лишь как невинную «способность воплощать желаемое»), подвергнув гомогенизации. Это ни много ни мало европейская колонизация человечества, причем начинается она с колонизации «внутренней» — с порабощения Европы Европой [Fradin 2016]. «Всякий европеец в глубинном смысле является планировщиком» [Fradin 2005b: 169]. Даже если посмотреть на экономику как на научную дисциплину, а не уклад, этой дисциплиной описываемый, мы увидим технауку, поскольку экономика была придумана инженерами, предполагает инженерный подход и поддерживается инженерами.

246

Фраден прекрасно осознает, что оппозиция «модерность — неприятие модерности», характерная для противостояния неолиберальной гегемонии и народной политики, сама конститутивна для политического модернизма, причем со всеми его приставками. Скорее, нам требуется

...базис для критической теории современного общества, которая не была бы ни абстрактно универалистским, рационалистическим утверждением модерна, ни антирационалистической и антимодернистской критикой. Она стремится преодолеть обе позиции, рассматривая их противостояние как исторически детерминированное и укорененное в природе капиталистических общественных отношений [Fradin 2005a: 354].

Некапиталистическая экономика попросту невозможна; посткапитализм — или коммунизм, как его бесстрашно определяет Фраден, — является неэкономическим по своей сути, предполагает развитие неэкономических форм и укладов жизни. Представление об этих укладах может дать нефилософская утопия, развиваемая как «слабая» и «нищая» сила [Fradin 2005b: 22]. Проблема утопического воображения в настоящее время заключается не в том, что оно недостаточно богато, а в том, что оно как раз купается в представлениях, внушенных капиталистической экономикой, тогда как воображение должно быть, прежде всего, силой вычитания, а вовсе не (преу)множения. «Заниматься политикой ... значит принимать

участие в утопическом мышлении» [Ibid.: 93], причем мышление это негативно (по крайней мере поначалу). Вполне возможно, что в таком случае вопреки Мангейму и прочим авторам именно утопия окажется имманентной, соответствующей нашему реальному (а не конструируемому Миром) опыту, в отличие от трансцендентных образов мышления и идеологий. Вопрос только в том, чем конкретно «участие в утопическом мышлении» оборачивается на практике.

Даже если не принимать все выводы Фрадена, а большая часть из них чрезвычайно радикальна, очевидно, что проект Срничека и Уильямса сталкивается с серьезными затруднениями. «Все эти материальные платформы производства, финансов, логистики и потребления» оказывается сложнее представить в качестве нейтральных технологий, т.е. отдельно от властных, колонизаторских отношений господства, — технологий, которые «можно перепрограммировать и переформатировать так, чтобы они служили уже нуждам посткапитализма» [Уильямс, Шрничек 2018: 15]. Срничек и Уильямс как в «Манифесте акселерационистской политики», так и в «Изобретая будущее» прибегают к парафразу цитаты из Спинозы, столь любимой Делёзом и делезианцами: «Нам все еще неизвестно, на что способно социотехническое тело» [с. 254, курсив мой]. Авторы, явно ориентируясь на делёзовское прочтение цитаты (мы еще не знаем, на что тело способно в принципе; вместо сознания как модель мышления следует взять непознанное, бессознательное тело), по всей видимости, толкуют ее так: мы еще не знаем, на что способно техническое тело без тех ограничений, которые на него накладывает капиталистический «социус», внешний по отношению к этому телу. Однако цитата Делёзом была урезана; возможно, стоит обратиться к тексту Спинозы.

247

В самом деле, того, к чему способно тело, до сих пор никто еще не определил, т.е. опыт никого еще до сих пор не научил, к каким действиям тело является способным в силу одних только законов природы, рассматриваемой исключительно в качестве телесной, и к чему оно неспособно, если только не будет определяться душой [Спиноза 1999: 337, 338].

Далее Спиноза рассматривает различные явления или случаи поведения, относительно которых затруднительно сказать, направляются ли они одними только законами природы или детерминациями души. Хотя Спиноза действительно склонялся к тому, что тело само по себе без детерминаций души способно на гораздо большее, чем мы себе представляем, здесь важна мысль о неясности границ между двумя видами действий или явлений. Так и в случае инфраструктурного «техносоциального тела» не до конца понятно,

насколько перемешаны друг с другом технологии и капиталистические отношения и установки. Непонятно также, насколько в самом деле последние можно отделить от экономики, и так ли уж необходимо для преодоления пессимизма левых представление о том, что можно (и нужно) построить некапиталистическую экономику.

Вдобавок становится не совсем ясно, чем же новые левые модернность и универсализм отличаются от старых. По словам Срничека и Уильямса, предлагаемый ими универсализм «всегда преодолевает сам себя, у него есть внутренние ресурсы для порождения имманентной критики, которая утверждает и расширяет его собственные идеалы» [с. 254], но разве не таков капитализм в описании Делёза и Гваттари, способный к экспансии даже в самокритике? К тому же ревизионистская, самокритичная тенденция универсализма и сопровождающего его нового гуманизма, по сути, воплощает в себе инженерный идеал планирования. Что же выходит, человеком *par excellence* становится белый европеец? Никогда такого не было...

Но даже если европеец, то всякий ли? Я бы хотел, как и обещал, вспомнить цитату из Ницше, предпославшую название акселерационистскому движению, манифест которого Срничек и Уильямс написали и от которого в настоящее время активно отрешиваются (по всей видимости, из-за стремительной пролиферации правых форм акселерационизма и растущей дурной славы Ника Ланда). Делёз и Гваттари, приводя фразу Ницше, имели в виду под «ускорением процесса» интенсификацию рыночной экономики, коль скоро обетованная «новая земля» в их комбинаторике предполагала наличие экономики без власти. Но что имел в виду сам Ницше?

Выправление европейского человека — это грандиозный процесс, который не остановить: но его следует еще более ускорить. <...> Коль скоро этот выправленный человек будет выведен, потребуются оправдание для его существования: оно заключается в служении новому, суверенному человеческому виду, который на этом новом типе человека будет основываться и лишь через него сумеет возвыситься до своей миссии [Ницше 2005: 491].

Что ж, если выправление и подразумевало дальнейшее движение в сторону рынка, то цели у него были не самые благие. Спрашивается, что это за тип? Это раса, более сильная в том, в чем европейцы, да и человечество в целом якобы ослабели — таковы «воля, ответственность, знание себя, умение полагать себе цели» [Там же: 491], т.е. качества, наличие которых явно требуется для удачного планирования и воспевается в различного рода литературе по селфхелпу, тайм-менеджменту и иным интересным вещам. Пожалуй, если сейчас кто и принадлежит к подобному типу, так это всевозможные финансисты, программисты, компьютерные инженеры и т.д.,

и т.п. вместе со своими начальниками. «Причудливые и изысканные растения». Формалистический подход к категории человека, однако, необязательно подразумевает экономико-инженерный идеал, который закреплен уже в самом вопросе акселерационистского ингуманизма: «что мы должны делать, чтобы считаться людьми?» [Негарестани 2021: 20]. Быть может, в определенный момент стоит перестать считать.

Библиография / References

Вахштайн В. (2014) Архитектура утопического воображения: попытка концептуализации. *Социология власти*, 26 (4): 13–37.

— Vakhshayn V. (2014) Architecture of utopian imagination: conceptualisation attempt. *Sociology of Power*, 26 (4): 13–37. — in Russ.

Дьяконов В. (2019) Новые равные. *Strelka Mag.* (<https://bit.ly/33PetFG>)

— Diakonov V. (2019) New Equals. *Strelka Mag.* (<https://bit.ly/33PetFG>). — in Russ.

Матвеев И.А. (2018) Версии посткапитализма: борьба за будущее. Рецензия на книгу: Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. *Социология власти*, 30 (4): 207–218.

— Matveev I.A. (2018) Versions of Postcapitalism: Fighting for the Future. Books Review: Mason P. Postcapitalism: A Guide to Our Future. *Sociology of Power*, 30 (4): 207–218. — in Russ.

Морозов А. (2019) Навигация по акселерационизму: от некапитализма к посткапитализму через платформы. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 1 (2): 226–242.

— Morozov A. (2019) Navigating accelerationism: from non-capitalism to postcapitalism via platforms. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 1 (2): 226–242. — in Russ.

Негарестани Р. (2021) Работа нечеловеческого. *Логос*, 31 (3): 1–38.

— Negarestani R. (2021) Labor of the inhuman. *Logos*, 31 (3): 1–38. — in Russ.

Николай Ф. (2020) Назад в будущее: контррегемония и новый *sensus communis*. *Неприкосновенный запас*, (129): 153–160.

— Nikolai F. (2020) Back to the future: counterhegemony and the new *sensus communis*. *Emergency Reserve*, (129): 153–160. — in Russ.

Ницше Ф. (2005) *Воля к власти*, М.: Культурная революция.

— Nietzsche F. (2005) *Will to power*, Moscow: Cultural revolution. — in Russ.

Павлов А.В. (2020) Постмодернистский ген: является ли посткапитализм постпостмодернизмом? *Логос*, 29 (2): 1–24.

— Pavlov A.V. (2020) The postmodern gene: does post-capitalism mean post-postmodernism? *Logos*, 29 (2): 1–24. — in Russ.

Сафронов Э. (2019) Как акселерационизм превратился в платформенный капитализм. *Логос*, 29 (3): 279–289.

— Safronov E. (2019) How accelerationism became platform capitalism. *Logos*, 29 (3): 279–289. — in Russ.

Спиноза Б. (1999) *Этика. Сочинения*: в 2 т. Т. 1, СПб.: Наука: 251–478.

— Spinoza B. (1999) *Ethics. Works: in 2 vols*. Vol. 1, SPb.: Nauka: 251–478. — in Russ.

Уильямс А., Шрничек Н. (2018) Манифест акселерационистской политики. *Логос*, 28 (2): 7–20.

— Williams A., Srnichek N. (2018) Manifesto for an accelerationist politics. *Logos*, 28 (2): 7–20.

Шалагинов Д. (2020) Антипроизводство будущего (недовольство техноспинозизмом). *Неприкосновенный запас*, (129): 136–152.

— Shalaginov D. (2020) Antiproduction of the future (dissatisfaction with technospinozism). *Emergency Reserve*, (129): 136–152. — in Russ.

Fradin J. (2005a) *La science des pauvres: traité de la richesse*, Paris: L'Harmattan.

Fradin J. (2005b) *La voie pauvre de la rébellion*, Paris: L'Harmattan.

Fradin J. (2016) *Economy and technical systems*. (<https://no-new-ideas-press.tumblr.com/post/150934251041/the-exit-from-economy-has-nothing-to-do-with-a>)

250

Рекомендация для цитирования:

Морозов А.В. (2021) Пробовали перезагрузить? Рецензия на книгу: Срничек Н., Уильямс А. (2019) *Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда*, М.: Strelka Press. *Социология власти*, 33 (1): 240–250.

For citations:

Morozov A.V. (2021) Have you tried restarting? Book Review: Srnichek N., Williams A. (2019) *Inventing the Future. Post-capitalism and a world without labor*, Moscow: Strelka Press. *Sociology of Power*, 33 (1): 240–250.

Поступила в редакцию: 08.01.2021; принята в печать: 30.01.2021

Received: 08.01.2021; Accepted for publication: 30.01.2021

ЭДУАРД Е. САФРОНОВ

Институт философии РАН, Москва, Россия

ORCID: 0000-0003-3529-3862

(Не) Наши цифровые товары

Рецензия на книгу: Перзановски А., Шульц Д. (2019)

Конец владения: личная собственность в цифровой эпохе. пер. с англ. Е. Лебедевой, М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС

doi: 10.22394/2074-0492-2021-1-251-259

В 2019 г. Издательский дом «Дело» РАНХиГС выпустил книгу «Конец владения: личная собственность в цифровой экономике» двух профессоров права Аарона Перзановски и Джейсона Шульца. Работа, посвященная столкновению прав собственности и владения с цифровизацией, дополнила популярную серию «Технологии/инновации/дизайн», ключевой темой которой стало социальное и экономическое влияние современных технологий.

251

Исследование двух правоведов концентрируется на проблеме подмены права собственности правом пользования в эпоху цифровых товаров и программного обеспечения, которое управляет всем: от смартфонов до дверных звонков. Эта проблема гораздо глубже, чем конкретные судебные решения, и авторы, понимая ее масштаб, не злоупотребляют сухим юридическим языком, а стараются показать читателю ее истоки, к чему она может привести и рассматривают возможные пути решения. В данной рецензии мы постараемся рассмотреть «Конец владения» в широком социально-философском контексте, не концентрируясь исключительно на правовой составляющей книги.

Книга Перзановски и Шульца впервые вышла в 2016 г. в издательстве Массачусетского технологического института и подвела итог публикациям авторов с 2011 г., посвященным анализу «владения» в цифровой экономике. Работу можно условно разделить на три

Сафронов Эдуард Евгеньевич — младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН. Научные интересы: социальная теория, цифровой капитализм, популярная культура. E-mail: safronoveduard@gmail.com

Eduard E. Safronov — Junior Research Fellow, Sector of Social Philosophy, RAS Institute of Philosophy. Moscow, Russia. Research interests: social theory, digital capitalism, popular culture. E-mail: safronoveduard@gmail.com

ключевых тематических блока: введение в тему, анализ возникших проблем и пути их решения. Первые три главы (включая введение) знакомят читателя с положением дел, формулируя основную проблему и объясняя ключевые понятия, которые будут использоваться авторами в дальнейшем. Это в первую очередь «принцип исчерпания права — идея, согласно которой правообладатель отказывается от определенного контроля над продуктом, когда продает или передает его новому собственнику» [с. 51], виды собственности, лицензионная и патентная политика. Примеры и доступные формулировки позволяют даже неподкованному в праве читателю понять суть проблемы, а для юристов на протяжении всей книги есть ссылки на судебные решения (правда, по большей части судов США).

252

Кроме того, авторы вводят разделение на материальное и цифровое владения. Если с материальным владением, в том числе и объектами интеллектуальной собственности, человечество (учитывая различные правовые системы) сумело разобраться, то цифровое владение ставит перед нами множество уникальных проблем. Наиболее ярким и в то же время ироничным примером служит история, когда в 2009 г. компания Amazon удалила из своего интернет-магазина и с пользовательских электронных книг Amazon Kindle романы Джорджа Оруэлла «1984» и «Скотный двор»¹. Этот инцидент, получивший в прессе широкую огласку, продемонстрировал, что цифровое владение может быть бесконечно далеко от наших привычных представлений о собственности. Но если Amazon в попытке избежать скандала предложил читателям компенсацию, то банкротство поставщика высококачественного цифрового контента HDGiants привело к отключению серверов и потере доступа к покупкам. Риски облачного хранения приобретенных цифровых товаров сегодня во многом очевидны, однако цифровые копии, приобретенные за наши деньги и хранящиеся на наших личных устройствах, также далеки от классического понимания собственности. Зачастую мы не можем легально передавать их третьим лицам, делать резервные копии для личного пользования, перепродавать и совершать множество других операций, которые возможны со «своими» вещами.

Второй условный тематический блок, состоящий из глав с четвертой по девятую, раскрывает эти тезисы и показывает технологические и юридические ограничения, не позволяющие пользователям в полной мере владеть «цифрой». Четвертая глава «Право собственности и уведомления мелким шрифтом» раскрывает проблему под-

1 <https://www.theguardian.com/technology/2009/jul/17/amazon-kindle-1984>

мены права собственности на право пользования. На сегодняшний день почти любое взаимодействие с техникой обусловлено взаимодействием с информационными технологиями. Наши компьютеры, телевизоры, смартфоны, автомобили, чайники оснащены программным обеспечением. Приобретая любое из этих устройств, мы получаем лишь физическую оболочку, для использования которой нам необходимо согласиться с условиями лицензионного или пользовательского соглашения.

Уже здесь таится очевидный подвох: согласно исследованиям 2008 г. (за прошедшие тринадцать лет эта цифра увеличилась многократно), среднестатистическому пользователю необходимо семьдесят шесть рабочих дней в год для осмысленного прочтения пользовательских соглашений [McDonald, Cranog 2008]. Однако даже если мы выделим такое количество времени и ознакомимся со всеми положениями каждого цифрового договора, это ничего нам не гарантирует. Во-первых, в большинстве соглашений есть пункт, что компания может в любой момент изменить детали соглашения. Во-вторых, несогласие с условиями лицензионного соглашения оставит единичного сознательного потребителя без необходимого, а возможно, даже уникального товара или услуги, в то время как корпорация не понесет от этого никаких значительных финансовых потерь.

253

В книге 2019 г. «Эпоха надзорного капитализма» (которую, к слову, готовит к печати на русском языке издательство Института Гайдара) социальный психолог Шошана Зубофф [Zuboff 2019: 11] называет вслед за Эмилем Дюркгеймом этот феномен «асимметрией власти». Влияние и инфраструктурные возможности крупных цифровых платформ столь велики, что единичный пользователь, отказываясь от навязываемых условий, теряет доступ к передовым технологиям и практически исключает себя из социальной и профессиональной коммуникации. Суды в случае согласия пользователя с лицензионным договором почти всегда встают на сторону продавца, однако Перзановски и Шульц отмечают, что в случае с современными лицензионными соглашениями нарушается сама логика контракта как «совпадения двух волей» [с. 123]. Таким образом, проблема отсылает к основам договорного права, которое в идеале должно регулировать взаимоотношения, а не формально через «клик» мышки подтверждать юридическое доминирование продавца по всем пунктам.

Эта глава также посвящена нескольким важным экономическим проблемам, которые следуют из сложившихся юридических предпосылок. Авторы отмечают, что непрозрачность цифрового владения, объемность и сложность лицензионных соглашений приводят к увеличению «транзакционных издержек». Семьдесят шесть ра-

бочих дней на изучение пользовательских соглашений способны обрушить любую экономику, а слепое согласие всегда несет в себе риски потери приобретенного товара или услуги и судебных разбирательств из-за несоответствия цифрового владения нашим классическим представлениям.

Другой проблемой социально-экономического толка, усиливаемой лицензированием, является ценовая дискриминация. Шульц и Перзановски [с. 147] разбирают аргументы сторонников ценовой дискриминации и показывают, что в конечном счете все гуманистические разговоры о защите уязвимых групп населения и доступе к товарам для наименее обеспеченных слоев общества сводятся к максимизации прибыли за счет покупателя. В случае цифрового капитализма сбор и анализ пользовательских данных (зачастую легализованный через пользовательские соглашения) позволяет продавцу устанавливать максимальную цену, которую потребитель готов заплатить за тот или иной товар, при этом незначительные изменения в пользовательском соглашении в части прав и возможностей покупателя позволяют широко варьировать цену за один и тот же по сути товар.

254

В пятой главе показано, что кнопка «купить» в отношении цифрового владения вводит пользователей в заблуждение. Опираясь на данные социологических исследований, авторы демонстрируют, что покупатель по-прежнему закладывает в слово «купить» смыслы, свойственные в большей мере физическому владению. При этом Перзановски и Шульц [с. 177] отмечают, что эта проблема носит скорее этический характер и относится к недобросовестной рекламе и недостаточному информированию потребителя о свойствах приобретаемых им товаров.

Шестая глава посвящена библиотекам. Цифровые товары, такие как музыка, книги и фильмы, и невозможность их копировать, передавать и так далее, создают множество проблем для социальных институтов. На примере библиотек показано, как неопределенность в цифровых правах создает проблемы в этом секторе. Не углубляясь в рассмотрение конкретных кейсов, отметим, что в этой главе ставятся гораздо более концептуальные и глубокие проблемы, чем сложность общественного доступа к электронным версиям книг.

Первая проблема — это сохранение культурного наследия. С одной стороны, оцифровка культурных артефактов позволяет получить доступ к информации, которая хранится за тысячи километров. Однако у самого цифрового тренда есть и другая сторона. Издатели и правообладатели накладывают лицензионные и технологические ограничения на цифровые версии, поставляемые в библиотеки, при этом чаще всего они хранятся на серверах поставщика. Например, если книга не продается или издательство

обанкротилось, поставщик может отказаться от продления прав на ее дистрибуцию, книга исчезнет с платформы, следовательно, исчезнет и из библиотеки. Если с книгами эта проблема еще не настолько очевидна (большинство изданий по-прежнему имеет и физическое, и цифровое воплощение), то в случае с музыкой и кино, произведения, хранящиеся исключительно на серверах эксклюзивных дистрибьюторов, могут быть безвозвратно утеряны при банкротстве последних

Вторая проблема — защита персональных данных. Для нас связь библиотек и защиты персональных данных является не самой очевидной. Однако в Соединенных Штатах Америки библиотеки, согласно их внутренним этическим кодексам и четвертой поправке, гарантировали читателям конфиденциальность их истории чтения. В случае с использованием лицензий на электронные версии библиотека перестает быть владельцем книг и становится лишь посредником между платформой и читателем, тем самым передавая продавцам данные о читательских предпочтениях [с. 204].

Конечно, это не единственный пример, как упразднение права собственности влияет на нашу безопасность. Более подробно эта проблема рассматривается в седьмой и восьмой главах, посвященных управлению цифровыми правами (DRM) и интернету вещей. В седьмой главе подробно показан генезис возникновения DRM — «целого ряда технологий, применяемых правообладателями, производителями, продавцами и другими посредниками, чтобы контролировать, где, как и когда и могут ли вообще потребители пользоваться купленными у них книгами, фильмами, музыкой и другим контентом» [с. 221]. Шульц и Перзановски показывают, как правообладатели изначально боролись с возможностью копирования (начиная с видеокассет) и в конечном счете благодаря цифровизации победили, в принципе почти упразднив возможность владения.

Если изначально технологии DRM использовались производителями носителей и проигрывателей, чтобы предотвратить пиратское копирование и распространение видео- и аудиоконтента, то после принятия Конгрессом в 1998 г. Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) возможности DRM стали почти безграничны. DMCA сделал незаконным любые попытки обхода, взлома или модернизации DRM. Если в случае цифрового контента это чревато тем, что мы теоретически не сможем прочитать книгу, купленную на одной платформе на электронной читалке, выпущенной другой платформой, то в случае с техникой это создает куда более серьезные угрозы и неудобства. Напомним, что, покупая технику, например приставку для видеоигр известной фирмы, мы приобретаем корпус с его содержимым, но при этом,

чтобы приставка функционировала, нам необходимо согласиться с условиями пользовательского соглашения, подпадая под власть DRM. Это означает, что производитель может загружать на нашу приставку все что угодно, удалять с нее информацию, получать и обрабатывать пользовательские данные. При этом пользователь не имеет права доступа даже к самому коду DRM, чтобы оценить возможные уязвимости и т.д. Если в случае приставки это чревато потерей контроля над коллекцией любимых игр, то в случае кардиостимулятора, автомобиля, термостата это может привести к более печальным последствиям. Использование DRM в «интернете вещей» создает ряд других рисков кроме защиты персональных данных и уязвимости для атак, среди них повышение информационных издержек, уменьшение конкуренции и удар по инновациям. Совет от авторов использовать «свободное» программное обеспечение в качестве альтернативы корпоративным продуктам выглядит здесь как попытка заклеить пластырем пробоину под ватерлинией огромного линкора.

256

В заключительной главе авторы по традиции размышляют над будущим цифрового владения. В первую очередь рассматривается экономика совместного потребления как альтернатива цифровому владению. Несмотря на то что Аарон Перзановски и Джейсон Шульц отмечают социальные, политические и экономические риски в связи с переходом на совместное потребление, они гораздо позитивнее относятся к «продуктовым» и «бережливым» платформам [Срничек 2019: 47] вроде Airbnb, Netflix и Spotify, чем к продавцам цифровых товаров. Модель подписки для них гораздо этичнее, чем цифровое владение, вводящее потребителя в заблуждение. Кроме того, они предлагают ряд правовых реформ, которые позволят пользователю полноправно владеть цифровыми товарами. Авторы предлагают не допускать ложных обещаний о собственности в рекламе, ограничить возможности продавца в типовых контрактах и лицензионных договорах, освободить собственников от DRM и реформировать авторское право, которое перестало отвечать современным цифровым реалиям.

В целом это вполне ожидаемый вывод от двух профессоров права, однако, если отойти от юридической перспективы, то мы увидим (и это имплицитно содержится в тексте авторов), что инновации всегда опережают правовое регулирование, и до конца не понятно, смогут ли законодательные инициативы ограничить почти безграничное влияние цифровых платформ в эпоху столь стремительного технического и технологического развития. Тем не менее даже такой пессимистический взгляд не отменяет необходимости анализировать устройство «цифрового капитализма» с различных точек зрения, в том числе и с позиции права.

Книгу Шульца и Перзановски есть за что упрекнуть: претендуя на глобальный анализ права собственности в цифровой экономике, авторы обращаются в основном к североамериканской правовой практике, не беря в расчет не то что азиатские или ближневосточные кейсы, но даже европейские. Кроме того, многие попытки осмысления неюридических вопросов покажутся читателю, находящемуся в контексте социально-цифровой проблематики, поверхностными и вторичными. Однако работа авторов в юридическом поле существенно расширяет для потенциальных читателей, интересующихся темой цифровизации, горизонт осмысления и анализа этого феномена. Анализ правовых аспектов цифровизации долгое время был сосредоточен на данных пользователя, их сборе, отчуждении, надзоре, а исследователи изучали опыт Европейского Союза и «закона о забвении» в попытке защитить пользователей Сети. Шульц и Перзановски же показывают, что юридический фронт цифровизации сильно продвинулся вглубь личных прав и свобод человека, и пока активисты и исследователи пытаются обязать государства защитить личную жизнь своих граждан и другие базовые права, корпорации под эгидой «цифрового владения» лишают пользователей права владения на приобретенные ими товары.

257

Напомним, что книга вышла в серии «Технологии/инновации/дизайн» Издательского дома «Дело» РАНХиГС. За два года существования серии в ней вышли семь книг, посвященных различным темам, но связанных обращением к нашей цифровой действительности. Адам Гринфилд [2018] в «Радикальных технологиях» проводит масштабное исследование ключевых трендов и феноменов новейших цифровых технологий, опровергая многие тезисы как технооптимистов, так и технопессимистов. Экономист Ричард Болдуин [2018] переосмысляет влияние новых технологий на глобализацию. Социолог Джон Урри упраздняет футурологию, чтобы предсказать будущее в соответствии с методологией социальной науки [Урри 2018; Павлов 2019]. Наконец, Джуди Вайсман [2019] анализирует, как «цифровой капитализм» влияет на ускорение нашей жизни и заставляет нас чувствовать постоянную нехватку времени. Пример с книжной серией наглядно демонстрирует в целом интуитивно понятный тезис: невозможно полноценно обсуждать цифровизацию в рамках узкого предметного поля. Перечисленные выше работы исследуют цифровые технологии и их влияние на абсолютно разные аспекты социальной, политической, экономической жизни. Каждая из них и по отдельности будет интересна специалистам в конкретных областях, но вместе они образуют определенную интеллектуальную экосистему, которая именно в своей совокупности позволяет лучше понять и осмыслить, насколько глубоко наша

жизнь сегодня опосредована и подвержена влиянию цифровизации. Диаметрально противоположные исследовательские подходы и методологические рамки авторов серии позволят исследователям «цифрового капитализма» создать более полную и глубокую картину.

Библиография / References

Болдуин Р. (2018) *Великая конвергенция: информационные технологии и новая глобализация*, М.: ИД «Дело» РАНХиГС.

— Baldwin R. (2018) *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*, М.: Delo. — in Russ.

Вайсман Д. (2019) *Времени в обрз: ускорение жизни при цифровом капитализме*, М.: ИД «Дело» РАНХиГС.

— Wajcman J. (2019) *Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism*, М.: Delo. — in Russ.

Гринфилд А. (2018) *Радикальные технологии: устройство повседневной жизни*, М.: ИД «Дело» РАНХиГС.

258

— Greenfield A. (2018) *Radical Technologies. The Design of Everyday Life*, М.: Delo. — in Russ.

Павлов А. (2019) Будущее как предмет социальной теории. *Социологическое обозрение*, 18 (3): 328-344.

— Pavlov A. (2019) The Future as a Subject of Social Theory. *Russian Sociological Review*, 18 (3): 328-344. — in Russ.

Перзановски А., Шульц Д. (2019) *Конец владения: личная собственность в цифровой эпохе*. пер. с англ. Е. Лебедевой, М.: ИД «Дело» РАНХиГС.

— Perzanowski A., Schultz J. (2019) *The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy*, М.: Delo. — in Russ.

Срничек Н. (2019) *Капитализм платформ*, М.: ИД ВШЭ.

— Srnicek N. (2019) *Platform Capitalism*, М.: HSE. — in Russ.

Урри Д. (2018) *Как выглядит будущее?* М.: ИД ВШЭ.

— Urry J. (2018) *What is the Future?* М.: Delo. — in Russ.

McDonald A., Cranor L. (2008) The Cost of Reading Privacy Policies. *Journal of Policy for the Information Society*, 4 (3): 543-568.

Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism*, New York: Public Affairs.

Рекомендация для цитирования:

Сафронов Э.Е. (2021) (Не) Наши цифровые товары. Рецензия на книгу: Перзановски А., Шульц Д. (2019) *Конец владения: личная собственность в цифровой эпохе*. пер. с англ. Е. Лебедевой, М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. *Социология власти*, 33 (1): 251-259.

For citations:

Safronov E. (2021) (Not) Our digital products. Book Review: Perzanowski A., Schultz J. (2019) *The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy*, M.: Delo. *Sociology of Power*, 33 (1): 251-259.

Поступила в редакцию: 19.03.2021; принята в печать: 27.03.2021

Received: 19.03.2021; Accepted for publication: 27.03.2021

Авторы

Дмитрий Михайлович Жихаревич — PhD, научный сотрудник Центра STS, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Научные интересы: социальная теория, капитализм, исследования науки и технологий. E-mail: Dzhikharevich@eu.spb.ru

Вадим Григорьевич Квачев — доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Москва. Научные интересы: марксизм, исследования капитализма, теория стоимости, экономика труда, неолиберализм. E-mail: kvachevvg@mail.ru

Игорь Игоревич Кобылин — кандидат философских наук, доцент Приволжского исследовательского медицинского университета, Нижний Новгород; старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории ШАГИ ИОН РАНХиГС. Научные интересы: политическая философия, исследования биополитики и управления, советская философия, политика времени и мультитемпоральность. E-mail: kigor55@mail.ru

Алина Юрьевна Контарева — PhD Candidate, аспирантка Центра технологий, инноваций и культуры (ТИК), Университет Осло, Норвегия; научный сотрудник НОЦ «Социально-политические исследования технологий» (PAST-Центр) Научно-исследовательского Томского государственного университета. Научные интересы: стратегии и инновации, рынок телекоммуникаций, цифровая экономика, методы исследования. E-mail: alina.kontareva@tik.uio.no

Дмитрий Алексеевич Мазоренко — независимый исследователь, Алматы, Казахстан. Научные интересы: социальная теория, культурные исследования, политическая теория. E-mail: d.mazorenko@gmail.com

Артем Владимирович Морозов — младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН. Научные интересы: социальная философия, современные онтологии, утопия и утопическое сознание. E-mail: morozov.socphil@yandex.ru

Джереми Моррис — доцент Орхусского университета, Дания. Научные интересы: неформальная экономика, прекариат, исследования труда, постсоциализм, этнографические методы. E-mail: jmorris@cas.au.dk

Федор Владимирович Николаи — доктор философских наук, профессор кафедры всеобщей истории Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина; старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории ШАГИ ИОН РАН-ХиГС. Научные интересы: исследования памяти, интеллектуальная история, военно-историческая антропология, исследования культуры, политика времени. E-mail: fvnik@list.ru

Джеффри Т. Нилон — профессор английского языка и философии Университет штата Пенсильвания, США. Научные интересы: марксизм, биополитика, Фуко, cultural studies, современная литература. E-mail: jxn8@psu.edu

Александр Владимирович Павлов — доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт философии РАН, Москва, Россия. Научные интересы: социальная теория, марксизм, исследования культуры. E-mail: apavlov@hse.ru

261

Эдуард Евгеньевич Сафронов — младший научный сотрудник сектора социальной философии Института философии РАН. Научные интересы: социальная теория, цифровой капитализм, популярная культура. E-mail: safronoveduard@gmail.com

Василиса Вителиевна Шпоть — учебный ассистент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Научные интересы: исследования медиа, критическая теория медиа, социальная теория, марксизм, цифровой капитализм. E-mail: vvshpot@edu.hse.ru

Authors

Igor I. Kobylin — PhD, Associate Professor, Privolzhsky Research Medical University; Senior Research Officer, Centre for Studies in History and Culture, SPP, RANEPА. Research interests: political philosophy, studies of biopolitics and governmentality, Soviet philosophy, politics of time and multitemporality. E-mail: kigor55@mail.ru

Alina Yu. Kontareva — PhD Candidate at TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, Norway; researcher of Centre for the Policy Analysis and Studies of Technology (PAST-C), National Research Tomsk State University. Research interests: strategy and innovation, telecommunications market, digital economy, research methods. E-mail: alina.kontareva@tik.uio.no

262

Vadim G. Kvachev — Associate Professor at the Plekhanov Russian University of Economics, Moscow. Research interests: Marxism, studies of capitalism, theory of value, labour economics, neoliberalism. E-mail: kvachevvg@mail.ru

Dmitriy A. Mazorenko — independent researcher, Almaty, Kazakhstan. Research interests: social theory, cultural studies, and political theory. E-mail: d.mazorenko@gmail.com

Artem V. Morozov — Junior Research Fellow, Social Philosophy Department at Institute of Philosophy, Russian Academy of Science (RAS), Moscow, Russia. Research interests: social philosophy, contemporary ontologies, utopia and utopian consciousness. E-mail: morozov.socphil@yandex.ru

Jeremy Morris — associate professor of Aarhus University, Denmark. Research interests: informal economy, precariat, labor research, post-socialism, ethnographic methods. E-mail: jmorris@cas.au.dk

Jeffrey T. Nealon — Edwin Erle Sparks Professor of English and Philosophy, Penn State University, USA. Research interests: Marxism, biopolitics, Foucault, theory and cultural studies, contemporary literature. E-mail: jxn8@psu.edu

Feodor V. Nikolai — PhD, Senior Research Officer, Centre for Studies in History and Culture, SPP, RANEPА; Professor, Minin Nizhny Novgorod State

Pedagogical University (Minin University). Research interests: memory studies, intellectual history, military anthropology, cultural studies, politics of time. E-mail: fvnik@list.ru

Alexander V. Pavlov — DSc in Philosophy, Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, Higher School of Economics; Leading Researcher, RAS Institute of Philosophy, Moscow, Russia. Research interests: social theory, Marxism, cultural studies. E-mail: apavlov@hse.ru

Eduard E. Safronov — Junior Research Fellow, Sector of Social Philosophy, RAS Institute of Philosophy. Moscow, Russia. Research interests: social theory, digital capitalism, popular culture. E-mail: safronoveduard@gmail.com

Vasilisa V. Shpot — Teaching Assistant at the Communication, Media and Design Faculty, HSE University, Moscow. Research interests: media studies, critical media theory, social theory, Marxism, digital capitalism. E-mail: vvshpot@edu.hse.ru

Dmitrii M. Zhikharevich — PhD, research fellow, STS Centre, European University at St Petersburg. Research interests: social theory, capitalism, science and technology studies (STS). E-mail: Dzhikharevich@eu.spb.ru

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Том 33. № 1 (2021)

«КАПИТАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ»

Учредитель

Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

ISSN 2074-0492

e-ISSN 2413-144X

119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82
Редакция журнала «Социология власти»

<http://socofpower.ranepa.ru/>

E-mail: soc.of.power@gmail.com

Подписано в печать 31.03.2021

Формат 70×100/16

Тираж 500 экз.

1-й завод (1-50 экз.)

Отпечатано в типографии РАНХиГС

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82-84

Коммерческий отдел: тел. (495) 433-25-10, (495) 433-25-02